

ТЕТРАДИ ИН-ОКТАВО{2}

Первая тетрадь

1.1. Каждый человек носит в себе некую комнату. В этом можно удостовериться даже на слух. Если быстро идти и на ходу прислушиваться — скажем, ночью, когда вокруг тишина, — то услышишь, к примеру, дребезжанье какого-нибудь недостаточно надежно закрепленного стенового зеркала.{3}

1.2. Он стоит, выдвинув вперед плечи, у него впалая грудь, руки висят, ноги почти не отрываются от пола, взгляд устремлен в одну точку. Он кочегар. Он загребает лопатой уголь и швыряет его в отверстие печи, дышащее огнем. Ребенок пробирается через двадцать фабричных дворов и дергает его за фартук. «Отец, — говорит он, — я принес тебе суп».

1.3. Теплее ли здесь, чем на зимней земле? Вокруг белизна вершин, единственное темное пятно — мое ведро. Если раньше я был высоко, то теперь я глубоко, и взгляд на горы выгибает мне шею. Промерзшие до белизны ледяные поверхности, прорезанные пунктирными следами исчезнувших лыжников. Я иду по узким, меньше дюйма в ширину, глубоко вдавленным в снег следам маленьких арктических собак. Моя скачка утратила смысл, я спешился и нес ведро на плече.{4}

1.4. У. В.

Моя глубокая благодарность за Бетховенский том. Шопенгауэровский начинаю сегодня. Какой это труд — такая книга! Если бы Вы — с Вашими нежнейшими руками, Вашим абстрактнейшим взглядом на реальную действительность, с могучим и сдержанным подспудным огнем Вашего поэтического существа, с Вашими фантастически широкими познаниями, — если бы Вы только продолжили и дальше воздвигать такие памятники, к моей невыразимой радости!{5}

1.5. Старый, тучный, с легким сердечным недомоганием, я лежал после обеда на кушетке, спустив одну ногу на пол, и читал некое историческое сочинение. Вошла служанка и, прижимая два пальца к поджатым губам, доложила о приходе гостя.

— Кто это? — спросил я, раздосадованный тем, что именно когда я ожидаю послеобеденной чашки кофе, должен принимать какого-то гостя.

— Китаец, — сказала служанка и, судорожно сморщившись, подавила смех, чтобы его не услышал гость за дверью.

— Китаец? Ко мне? Он что, в китайской одежде?

Служанка кивнула, все еще борясь с приступом смеха.

— Назови ему мое имя и спроси, действительно ли ко мне он пришел; если уж меня не знают в соседнем доме, то как я должен быть неизвестен в Китае!

Служанка на цыпочках подошла ко мне и прошептала:

— У него только визитная карточка, и на ней написано, что он просит его принять. По-немецки он не умеет, говорит на каком-то непонятном языке, а брать у него карточку я побоялась.

— Пусть заходит! — крикнул я в раздражении, часто охватывающем меня вследствие моего сердечного недуга, швырнул книгу на пол и обругал служанку.

Встав и выпрямившись во весь мой гигантский рост, который в этой низкой комнате должен был напугать любого посетителя, я пошел к двери. И действительно, едва увидев меня, китаец тут же кинулся к выходу. Я догнал этого человека только в коридоре и, осторожно ухватив за шелковый пояс, подтянул к себе. Это явно был ученый: маленький, слабый, в роговых очках, с трясущейся, черной с проседью, жесткой козлиной бородкой. Человек дружелюбно склонял голову и улыбался с полузакрытыми глазами.

1.6. Однажды утром адвокат доктор Буцефал подозвал к своей кровати экономку и сказал ей:

— Сегодня начинаются большие прения по процессу моего брата Буцефала против фирмы Бестолетта. Я поддерживаю обвинение и, поскольку прения продлятся по меньшей мере несколько дней, причем без особых перерывов, в ближайшие дни домой вообще приходить не буду. Когда прения закончатся или появится надежда на их окончание, я вам позвоню. Большого я сейчас сказать не могу — так же, как и отвечать на какие бы то ни было вопросы, поскольку, естественно, должен заботиться о том, чтобы сохранить полную собранность. Поэтому и на завтрак принесите мне два сырых яйца и чай с медом.

Затем, медленно опустившись на подушки и прикрыв глаза рукой, он погрузился в молчание.

Болтливая, но умиравшая от страха перед своим господином экономка была страшно поражена. Такое необычное распоряжение — и так неожиданно. Еще накануне вечером господин разговаривал с ней, но не сделал ни малейшего намека на предстоящее. И не могут же эти прения назначаться на ночь? И разве бывают такие прения, которые длятся целыми днями без перерывов? И почему господин назвал ей участником процесса, ведь в разговорах с ней он этого еще никогда не делал? И что же это за чудовищный такой процесс должен быть у брата господина, у этого мелкого зеленщика Адольфа Буцефала, с которым, кстати, господин, кажется, давно уже не очень ладит? И как господин выдержит это невыносимое напряжение, когда он сейчас лежал в постели такой усталый и, если утренний свет не обманывал, прикрывал рукой уже осунувшееся лицо? И спросил себе только яиц и чаю, а не так, как обычно, винца и ветчинки — для полного пробуждения жизненных сил? С такими мыслями экономка возвратилась на кухню, присела — только на минуточку — на свое любимое

место у окошка, на котором стояли цветы и клетка с канарейкой, поглядела через двор на окно дома напротив, где за оконной решеткой боролись, играя, два полуголых малыша, затем, вздохнув, отвернувшись от окна, налила чаю, взяла из продуктового шкафчика два яйца, разместила все на подносе, прихватила, не в силах удержаться, в качестве благого соблазна и бутылочку вина и пошла со всем этим в спальню.

Спальня была пуста. Как же так, господин же не мог уже уйти? Не мог же он за одну минуту одеться. Но ни белья, ни платья тоже нигде не было видно. Да Господи, что же это с господином делается? В прихожую! И плаща, и шляпы, и трости тоже нет. К окну! Господи, спаси и помилуй! вот он, господин, выходит из ворот, шляпа на затылке, плащ распахнут, папка с бумагами прижата к груди, а трость болтается, зацепленная за карман плаща.{6}

1.7. Вы знаете дворец Трокадеро в Париже? В этом здании, о протяженности которого Вы не сможете составить себе даже приблизительного представления, если будете рассматривать его только на изображениях, как раз сейчас проходят заседания по одному большому процессу. Вы, может быть, подумали о том, как это удается достаточно протопить подобное здание в столь лютую зиму. А оно не отапливается. В таком случае, как этот, сразу же думать об отоплении можно только в том миленьком провинциальном городишке, в котором Вы влачите свои дни. Трокадеро не отапливается, но это не тормозит хода процесса, напротив, погруженный в этот со всех сторон, сверху и снизу льющийся холод, процесс идет в совершенно равномерном темпе, вдоль и поперек, вдаль и вширь.

1.8. Вчера ко мне пришла хандра. Она живет в соседнем доме, и я уже не раз видел, как вечерами она, пригнувшись, скрывается в тамошних низких воротах. Это высокая дама в длинном свободном платье и широкополой, украшенной перьями шляпе. С шелестящей поспешностью она вошла в мою дверь, словно врач, опасющийся, что слишком поздно пришел к угасающему больному.

— Антон! — воскликнула она глухим и в то же время гулким голосом, — я пришла, я здесь!

Ничего не говоря, я указал ей на стул, она упала на него.

— Высоко же ты забрался, ох высоко, — сказала она со стоном.

Я кивнул ей из глубины своего кресла. Бесчисленные ступени, которые вели к моей комнате, плыли у меня перед глазами одна за одной неутомимыми маленькими волнами.

— Почему так холодно? — спросила она, стянула свои длинные старые фехтовальные перчатки, бросила их на стол и, наклонив голову, понимающе посмотрела на меня.

Я казался себе воробьем, прыгающим по лестнице, и она ерошила мои мягкие пушистые серые перья.

— Мне до глубины души жаль, что ты измучилась со мной. Я ведь уже не раз с откровенной тоской смотрел в твое изможденное лицо, когда, стоя во дворе, ты поднимала взгляд к моим окнам. Так что теперь я ничего не имею против тебя, и если мое сердце еще не принадлежит тебе, то ты вполне можешь им завладеть.

1.9. До какого равнодушия могут дойти люди, до какого глубокого убеждения в том, что навсегда потеряли верный след.

1.10. Ошибка. Дверь в конце длинного коридора, которую я открыл, была не моя. «Ошибка», — сказал я, намереваясь выйти. И тут я увидел обитателя этой комнаты, худого безбородого мужчину с плотно сжатым ртом, сидевшего за столиком, на котором стояла только керосиновая лампа.

1.11. В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме... [см. прим.]{7}

1.12. Это было первое воззвание. Читать или, тем более, обдумывать... [см. прим.]{8}

1.13. Иногда я верю, что все мои прошлые и будущие грехи искуплены тем, что когда вечером — или даже утром, после ночной смены на машиностроительном заводе — я прихожу домой, у меня болят все кости.

Я недостаточно крепок для такой работы, уже давно это понял и все-таки ничего не меняю.

1.14. В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме, проросшем на окраине сквозь средневековую руину, в одном коридоре со мной в семье рабочего квартирует окружной писарь. Они, правда, называют его чиновником, но все же он может быть только каким-нибудь мелким писарем, ночующим на полу на соломенном тюфяке в гнезде чужой ему супружеской пары и в окружении их шестерых детей. А если он, таким образом, мелкий писарь, то что мне за дело до него? Даже в этом доме, в котором собралась выпаренная городом нищета, наверняка есть больше сотни людей...{9}

1.15. В одном коридоре со мной живет портной, занимающийся починкой одежды. Несмотря на все предосторожности, я слишком быстро изнашиваю платье, и недавно мне опять пришлось нести пиджак к этому портному. Был чудный, теплый летний вечер. Портной, имея жену и шестерых детей, занимает только одну комнату, служащую одновременно и кухней. Но кроме того, он держит у себя еще и жильца — писаря налогового управления. Такая плотность комнатного населения все же несколько превышает обычную, которая уж где-где, а в нашем доме и так достаточно велика. Впрочем, каждому — свое, экономность портного несомненно имела свои неопровержимые основания, и никому из чужих не приходило в голову заводить обсуждение этих оснований...{10}

1.16. 19 февраля 1917 г. Сегодня прочел «Германна и Доротю», кое-что из мемуаров Рихтера о картинах, которые он видел, и, наконец, сцену из «Гризельды» Гауптмана. В этот момент и на ближайший час я — другой человек. Хотя все перспективы так же туманны, как всегда, но туманные картины изменились. В эти тяжелые сапоги, которые я сегодня впервые надел (первоначально они предназначались для военной службы), всунут другой человек...{11}

1.17. Я живу у господина Круммхольца, деля комнату с писарем из налогового управления. Кроме того, в этой комнате спят в одной кровати две дочери Круммхольца, девочки шести и семи лет. С первого же дня, как появился этот писарь, — сам я живу у Круммхольца уже много лет — у меня возникло какое-то, поначалу совершенно неопределенное, подозрение в отношении него. Это человек ниже среднего роста, в серой мешковатой одежде, слабый, по-видимому, с не вполне здоровыми легкими, с морщинистым лицом, по которому не определишь возраста, с длинноватыми, зачесанными на уши светло-пепельными волосами, далеко сдвинутыми на нос очками и маленькой, тоже поседевшей, козлиной бородкой.{12}

1.18. Жизнь, которую я вел тогда на строительстве дороги в центральном Конго, была не легкой.

Я сидел на крытой веранде моей деревянной хижины. Вместо одной продольной стены была натянута чрезвычайно мелкаячеистая противомоскитная сетка, которую я выторговал у одного начальника рабочих, вождя племени, по территории которого должна была пройти наша дорога. Сетка была новенькая, такая прочная и в то же время мягкая, какой в Европе вообще не смогли бы изготовить. Моей сетке очень завидовали, это была моя гордость. Без такой сетки было бы вообще невозможно спокойно сесть вечером на веранде, выкрутить фитиль лампы так, как я это сейчас сделал, взять для изучения старую газету из Европы и вдобавок обильно дымить трубкой.{13}

1.19. У меня запястье старого неумолимого удачливого удильщика — кто же еще может так непринужденно говорить о своих способностях? Сижу я, к примеру, дома перед тем как пойти поудить и, внимательно наблюдая, верчу правой кистью попеременно туда и сюда.

Этого часто бывает достаточно для того, чтобы у меня появилось детальное видение и ощущение результатов будущей рыбалки. Какой-то дар провидения заключен в составе этого сустава, на который я во время отдыха, чтобы дать ему набраться сил, надеваю золотой браслет. В особые, по-особому текущие часы я вижу воду на месте моего ужения; мне является поперечное сечение реки, и в десяти, двадцати — даже ста различных местах к этой плоскости сечения придвигаются рыбы, однозначно определяемые по количеству и виду; теперь я знаю, как мне вести удочку; некоторые рыбы без опаски протыкают головами эту плоскость, тут я покачиваю перед ними удочкой — и они уже болтаются на ней, краткость этого мига судьбы приводит меня в экстаз даже за домашним столом; другие рыбы придвигаются уже прямо к моему животу, тут уж не зевай; многих я еще успеваю настичь, остальные проскальзывают эту опасную плоскость, успевая унести даже хвост, и на этот раз они для меня потеряны, но только на этот раз, ведь от настоящего удильщика не уйдет ни одна рыба.

Вторая тетрадь

2.1. [Непосредственно после рассказа «Химера»].

Один маленький мальчик получил в наследство от своего отца всего лишь кошку и стал благодаря ей мэром Лондона. Кем же благодаря моему зверю — моему наследству — стану я? Где он раскинулся, тот гигантский город?{14}

2.2. Писаная, дошедшая до нас в повествованиях мировая история о многом совершенно ничего не сообщает, в то время как дар провидения хоть часто и ведет человека не туда, но все-таки ведет, не покидает его. Так, например, повествование о семи чудесах света всегда было окутано слухами о том, что существовало еще некое восьмое чудо света, и об этом восьмом чуде ходили разные, может быть, и противоречившие друг другу, легенды, неопределенность которых объясняется темнотой древних времен.

2.3. Несомненно, дамы и господа, — примерно так звучало обращение по-европейски одетого араба к группе буквально съездившихся туристов, которые не столько слушали его, сколько обзоредали невероятную постройку, выраставшую перед ними из голой каменистой почвы, — несомненно, на этом месте вы согласитесь, что моя фирма намного превосходит все остальные, даже издавна и по праву прославленные туристические агентства. В то время как наши конкуренты по старой дешевой привычке возят своих клиентов к семи чудесам света, указанным в исторических трактатах, наша фирма показывает восьмое чудо света.

2.4. Нет, нет.

2.5. Некоторые говорят, что он ханжа, некоторые — что это только видимость. Мои родители знакомы с его отцом, и когда последний в минувшее воскресенье посетил нас, я прямо спросил его о сыне. Однако старик очень хитер, к нему трудно подступиться, а у меня совершенно отсутствует умение проводить такие атаки. Шел оживленный разговор, но стоило мне вбросить свой вопрос, как наступила тишина. Мой отец начал нервно тереть бороду, мать встала посмотреть, не готов ли чай, а этот старый господин с бледным морщинистым лицом, сильно заросшим седой щетиной, склонив голову набок, смотрел на меня своими голубыми глазами и улыбался.

— Да, молодой человек, — сказал он, перевел взгляд на настольную лампу, уже зажженную в этот ранний зимний вечер, и затем спросил: — Вы уже имели случай с ним поговорить?

— Нет, — сказал я, — но я уже много о нем слышал и с большим удовольствием поговорил бы с ним, если бы он как-нибудь пожелал меня принять.

2.6. «Что же? Что же?» — кричал я, еще удерживаемый в кровати сном, и простирали вверх руки. Потом я встал, но еще долго не осознавал происходящего, мне казалось, что я должен отстранить от себя людей, которые меня удерживают; я в самом деле произвел необходимые для этого движения руками и таким образом добрался наконец до раскрытого окна.

2.7. Беспомощность весеннего амбара, весеннего чахоточного.

2.8. Случается, что великие тореадоры, в силу причин, которые часто почти невозможно угадать, выбирают в качестве места проведения боя разрушенную арену какого-нибудь отдаленного городка, название которого мадридской публике до этого почти и не было известно. Какую-нибудь столетия назад заброшенную арену: здесь она поросла травой, и на ней играют дети — там блестит голыми камнями, и на них отдыхают змеи и ящерицы. Трибуны вокруг давно растасканы: это каменоломня для всей округи, — сохранилась лишь

малая их часть, где могут разместиться в лучшем случае человек пятисот. Рядом нет никаких строений, и в частности, никаких помещений для животных, но хуже всего то, что до этих мест еще не дошла железная дорога; до ближайшей станции на повозке — три часа, пешком — семь.

2.9. Мои руки вступили в борьбу друг с другом. Книгу, которую я читал, они захлопнули и отбросили в сторону, чтобы не мешала, а меня поприветствовали и назначили арбитром. И вот они уже скрестили пальцы и сцепились на краю стола; они смещаются то влево, то вправо, в зависимости от превосходства силы напора той или другой. Я не спускаю с них глаз. Поскольку это мои руки, я должен быть справедлив, иначе сам повешу себе на шею камень несправедного приговора. Однако должность моя не легка, в темноте ладони прибегают к разным уловкам, которые я не имею права оставлять без внимания, поэтому я прижимаюсь подбородком к столу: теперь уж от меня ничто не укроется. Всю свою жизнь я отдавал предпочтение правой руке, отнюдь не питая при этом никакого злого умысла против левой. И если бы левая когда-нибудь выказала неудовольствие, то я, будучи человеком покладистым и справедливым, немедленно прекратил бы такое злоупотребление. Но она, не протестуя, висела себе сбоку, и в то время как правая, допустим, на улице размахивала моей шляпой, левая пугливо прижималась к моему бедру. Что было плохой подготовкой к той борьбе, которая теперь происходила. Каким образом ты, левое запястье, собираешься оказывать длительное сопротивление этому мощному правому? Как твои дамские пальчики отстоят себя, стиснутые пятерней тех, других? Это, по-моему, уже и не борьба, а естественный конец левой. Она уже оттеснена на самый край, в левый угол стола, и на ней вверх и вниз, равномерно, как поршень какой-нибудь машины, ходит правая. И если бы при виде подобного насилия мне не пришла в голову спасительная мысль о том, что это мои собственные руки борются здесь и что я одним легким рывком могу разнять их, прекратив тем самым и борьбу, и насилие, — если бы мне не пришла в голову эта мысль, моя левая была бы выкручена из сустава и сброшена со стола, а тогда, быть может, моя правая, как пятиглавый адский пес, в победном разгуле въехала бы и мне самому в мое внимательное лицо. Вместо этого они лежат теперь друг на друге, и правая поглаживает левую с тыльной стороны, а я, судья несправедный, одобрительно киваю.

2.10. Нашим отрядам наконец удалось ворваться в город через южные ворота. Мой дивизион, расположившись в каком-то пригородном саду под полусгоревшими вишнями, ожидал приказа. Но когда мы услышали высокий звук трубы с южных ворот, уже ничто не могло нас удержать. Схватив первым движением оружие, мы без всякого порядка, в обнимку, завывая наш боевой клич «Каира Каира», длинными цепями рысью помчались через болото к городу. У южных ворот мы обнаружили уже только трупы и желтый дым, который клубился над землей и все закрывал. Но мы не хотели быть лишь арьергардом и сразу свернули в узкие боковые улочки, которые до сих пор щадила война. Дверь первого же дома разлетелась под ударом моего каблука, и мы так яростно ворвались в прихожую, что сначала нас закружило, словно вихрем. По длинному пустому коридору к нам приближался какой-то старик. Станный старик: у него были крылья. Широко расставленные крылья, их верхние края поднимались выше его головы.

— У него крылья! — крикнул я товарищам, и мы немного отступили — насколько позволили нам теснившиеся сзади.

— Вы удивлены, — сказал старик. — Да, у нас у всех крылья, но нам от них никакой пользы, и если бы мы могли их оборвать, мы сделали бы это.

— Почему же вы не улетели отсюда? — спросил я.

— Мы должны были улететь из нашего города? Бросив родину? наших мертвых и наших богов?

Третья тетрадь

3.1. 18 октября 1917 г. Страх перед немочью ночью. Страх перед не-очень-ночью[1].{15}

3.2. Бессмысленность (слишком сильное слово) деления на свое и чужое в духовной борьбе.

3.3. Вся наука применительно к абсолютному есть методика. Поэтому не нужно бояться однозначно методического. Это оболочка и не более того, но в ней всё, кроме Одного.

3.4. Мы все борцы в одной общей борьбе. (Когда меня осаждают проклятые вопросы и я шарю позади себя в поисках оружия, я не могу его выбрать, а если бы даже и мог, я вынужден был бы схватить «чужое», так как запас оружия у нас на всех один.) Я не могу вести какую-то собственную борьбу; если когда-нибудь я воображу себя самостоятельным, если когда-нибудь я не увижу никого вокруг себя, то вскоре выяснится, что ввиду сиюминутной — или принципиальной — недоступности окружающего я вынужден буду сам заполнить эту пустоту. [Унижение] тщеславия? Да, но в то же время необходимое и настоящее ободрение.

3.5. Я заблуждаюсь.

Истинный путь идет по канату, натянутому не на высоте, а над самой землей. Кажется, он предназначен не для того, чтобы на него вступали, а для того, чтобы об него спотыкались.{16}

3.6. Только и успеваешь переводить дыхание после приступов суетности и самодовольства. Вакханалия при чтении этого рассказа в «Юде». Как белка в колесе. Блаженство движения, отчаяние узости, безумие длительности, чувство собственного ничтожества перед покоем снаружи. Все это одновременно и поочередно — и еще в нечистотах исхода.{17}

3.7. Блаженство солнечного луча.

3.8. Слабая память на детали и на эволюцию собственного мировосприятия — очень дурной знак. Только какие-то осколки целого. Как ты собираешься хотя бы прикоснуться к самым большим задачам, хотя бы почувствовать их близость, хотя бы только во сне их увидеть, только сон о них выпросить, как ты посмеешь изучать буквы этой просьбы, когда ты не способен так сконцентрироваться, чтобы в решительный момент свое сплоченное целое легло в руку, как камень для броска, как нож для убоя. С другой стороны: не надо поплевывать на руки, пока они не сложены.

3.9. Можно ли думать о чем-то безутешном? Или это более безутешно без намека на утешение? По-видимому, решение в том, что познание само по себе есть утешение. Поэтому, наверное, можно было бы думать так: ты должен был устранить себя и, не фальсифицируя этого знания, сохранить сознание того, что познал это. Тогда это в самом деле значило бы вытащить себя из болота за собственные волосы. То, что в телесном мире смешно, в духовном возможно. Там не действует закон всемирного тяготения (ангелы не летают, им никакого тяготения преодолевать не надо, просто мы, наблюдатели земного мира, не умеем это иначе себе представить), что, конечно, для нас невообразимо, — или действует, но только на какой-то высшей ступени. Как бедно мое знание себя, по сравнению, допустим, с моим знанием этой комнаты. (Вечер.) Почему? Нельзя наблюдать внутренний мир так, как наблюдают внешний. По крайней мере описательная психология в целом, по всей видимости, есть антропоморфизм, некое обгрызание границ. Внутренний мир допускает только проживание, но не описание. Психология есть описание отражения земного мира в небесной плоскости — или, точнее, описание некоего отражения так, как мы, напоенные землей, его себе представляем, ибо отражения вообще не происходит, просто мы видим землю везде, куда бы ни посмотрели.

3.10. Психология есть нетерпение.

Все человеческие ошибки — от нетерпения, от преждевременной перебивки методического, от воображаемой расстановки всех точек над воображаемыми «1».{18}

3.11. Несчастье Дон Кихота — это не его фантазии, а Санчо Панса.

3.12. 20 октября. В постели.

У людей два главных греха, из которых вырастают все остальные: нетерпение и вялость. За свое нетерпение они были изгнаны из рая, а из-за своей вялости они не возвращаются туда. Но может быть, главный грех только один: нетерпение. За нетерпение были изгнаны, из-за нетерпения и не возвращаются.{19}

3.13. Если взглянуть сквозь пелену брэнной суеты, мы находимся в... [см. прим.]{20}

3.14. Многие тени усопших занимаются лишь тем, что лизут волны реки смерти, потому что она берет начало у нас и еще сохраняет соленый вкус наших морей. От брезгливости эта река начинает потом замедлять свое течение, поворачивает вспять и выбрасывает мертвых обратно в жизнь. Но они счастливы, поют благодарственные гимны и глядят возмущенную реку.

По достижении некоторого определенного пункта, возврата назад уже нет. Этого пункта надо достигнуть.

Решающий миг человеческого развития непреходящ. Поэтому революционные духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, правы, ибо ничего еще не произошло.{21}

3.15. Человеческая история — это секунда между двумя шагами путника.

3.16. Вечером прогулка в Оберклее.

3.17. Извне ты всегда победно расплющиваешь мир теориями — и тут же летишь вместе с ними в выгребную яму; только изнутри ты можешь сохранить покой и истинность в мире и в себе.

3.18. Один из самых действенных соблазнов зла — это вызов на борьбу. Борьба с ним — как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели.

Настоящие супружеские походы налево в истинном понимании никогда не радостны.{22}

3.19. 21 октября. В солнечном свете.

3.20. Затухание и затихание голосов мира.

3.21. Будничная путаница.

Будничное происшествие, которое выливается в будничную путаницу. А должен заключить важную сделку с Б из X. Он отправляется на предварительное обсуждение в X, затрачивает по десять минут на дорогу туда и обратно и хвалится дома такой исключительной быстротой. На следующий день он вновь отправляется в X, на этот раз для окончательного заключения сделки. Так как, предположительно, это должно занять много часов, А выходит ранним утром. Но хотя все привходящие обстоятельства — так, по крайней мере, считает А — совершенно те же, что и накануне, в этот раз на дорогу в X он затрачивает десять часов. Когда вечером, усталый, он появляется там, ему говорят, что Б, раздосадованный отсутствием А, с полчаса назад ушел к А в его деревню и что они, вообще говоря, должны были встретиться по дороге. А советуют подождать. Но А, испугавшись за сделку, тут же вскакивает и спешит домой.

На этот раз он проделывает тот же путь, не особенно обращая на это внимание, буквально в один миг. Придя домой, он узнаёт, что ведь и Б тоже пришел очень рано — сразу после ухода А; более того, он столкнулся с А в воротах и напомнил ему о сделке, но А сказал, что у него сейчас нет времени и что ему сейчас спешно нужно уходить.

Б, несмотря на это непонятное поведение А, все-таки остался здесь, чтобы подождать А. Он уже не раз спрашивал, не вернулся ли А, но тем не менее все еще находится наверху, в комнате А. Счастливый тем, что все-таки еще сможет поговорить теперь с Б и все ему объяснить, А устремляется вверх по лестнице. Вот он уже почти наверху, и тут он спотыкается. Получив растяжение связок, почти теряя сознание от боли, неспособный даже кричать и лишь тихо скуля в темноте, он слышит, как Б — то ли очень далеко, то ли совсем рядом с ним, ему не определить — яростно топая, спускается вниз по лестнице и исчезает навсегда.{23}

3.22. Дьявольское иногда надевает личину добра или даже полностью перевоплощается в него. Если это остается от меня сокрыто, я, естественно, поддаюсь ему, ибо такое добро привлекательнее настоящего. Но если это не остается от меня сокрыто — что тогда? Что если, затравленный дьявольской облавой, я буду загнан в добро? Что, если от сыплющихся на меня булавочных уколов я в качестве объекта презрения прикачусь, прилеплюсь, прицеплюсь к добру? Что, если будет видно, как когти этого добра впиваются в меня? Отступив на шаг назад, я податливо и печально повлекусь ко злу, которое все это время было за моей спиной и ожидало моего решения.

3.23. [Жизнь.] Какая-то местами уже гниющая вонючая сука, нарожавшая кучу щенков, которая, однако, в детстве была для меня всем, которая верно следует за мной повсюду, которую я не нахожу в себе сил прибить, от которой я пячусь спиной шаг за шагом и которая, если я не решусь на что-то иное, все-таки загонит меня по стенке в уже недалекий угол, чтобы там, на мне и со мной, разложиться полностью, до конца; не честь ли это — гниное, червивое мясо ее языка на моей руке?

3.24. Зло иногда преподносит сюрпризы. Вдруг оно оборачивается и говорит: «Ты меня неправильно понял» — и, возможно, это действительно так. Зло оборачивается твоими губами, позволяет обкусать себя твоим зубам, и вот, новыми губами — никакие прежние не подходили так хорошо к твоему прикусу — ты, к своему собственному удивлению, произносишь добрые слова.

3.25. Правда о Санчо Пансе.

Санчо Пансе, который, кстати, никогда этим не хвастался... [см. прим.]{24}

3.26. 22 октября. Пять часов утра.

3.27. Одно из важнейших действий Дон Кихота — более навязчивое, чем борьба с мельницами, — это самоубийство. Мертвый Дон Кихот хочет убить мертвого Дон Кихота, но для того, чтобы убить, ему нужно отыскать какое-то живое место, и он ищет его своим мечом, столь же неотступно, сколь и тщетно. Занятые этим, катятся два неразделимых мертвеца, буквально как живое перекаати-поле, сквозь времена.

3.28. До полудня в постели.

3.29. А. очень самодоволен: он полагает, что далеко продвинулся по стезе добра, поскольку, становясь, очевидно, все более соблазнительным объектом, чувствует, что подвергается все большим искушениям с разных сторон, до сих пор совершенно ему неизвестных. Правильное объяснение, однако, состоит в том, что в него вселился большой бес, и теперь приходит бесчисленное множество более мелких, чтобы служить этому Большому.{25}

3.30. Вечером — в лесу, новолуние, за спиной — сумбурный день. (Открытка от Макса.) Неважно с желудком.

3.31. Различие взглядов, которые можно иметь, к примеру, на яблоко: взгляд маленького мальчика, которому приходится вытягивать шею, чтобы только-только увидеть яблоко на столе, и взгляд хозяина дома, который берет это яблоко и легко передает соседу по столу.{26}

3.32. 23 октября. Рано лег.

3.33. Молчание сирен.

Доказательство того, что... [см. прим.]{27}

3.34. Вечер перед похоронами эпилептика, захлебнувшегося в источнике.

3.35. «Познай самого себя» не означает «сведи за собой». «Сведи за собой» — слова змея. Они означают: стань хозяином своих поступков. Следовательно, эти слова означают: «Не создавай себя! Разрушай себя!» — то есть нечто злое. И только если очень низко склониться, то услышишь в них и доброе, которое звучит так: «Чтобы стать тем, кто ты есть».

3.36. 25 октября. Печаль, нервы, телесное недомогание, страх перед Прагой; в постели.

3.37. Было когда-то такое общество мошенников... [см. прим.]{28}

3.38. Первым признаком начинающегося познания является желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, какая-то другая — недостижимой. И уже больше не стыдятся желанья умереть, и просят перевести из старой ненавистной камеры в какую-нибудь новую, которую еще только будут учиться ненавидеть. Способствует этому и остаток веры в то, что во время перевода случайно пройдет по коридору Господин, который посмотрит на заключенного и скажет: «Этого больше не запирайте. Я возьму его к себе».{29}

3.39. 3 ноября. Дорога в Оберклее. Вечером писать в комнате Оттлы и Т.

3.40. Если бы ты шел по равнине и, несмотря на свое желание двигаться вперед, все же отступал назад, ты оказался бы в отчаянном положении, но поскольку ты карабкаешься вверх по крутому склону — примерно такому крутому, какой ты сам видел снизу, — то твои отступления могут быть вызваны уже только рельефом поверхности, и тебе не надо отчаиваться.{30}

3.41. 6 ноября. Как дорожка осенью: только расчистил ее, а она уже снова покрылась палой листвой.

Клетка вышла на поиски птички.{31}

3.42. 7 ноября. (Рано лег, после «просвистанного» вечера){32}

3.43. Когда тебе в душу вонзается меч, твоя задача: смотреть спокойно, не кровоточить, принимать холод меча с холодностью камня. И благодаря этому удару стать после него неуязвимым.

3.44. В этом месте я еще никогда не бывал: иначе дышится, и рядом с солнцем, затмевая его, горит какая-то звезда.{33}

3.45. 9 ноября. В Оберклее.

3.46. Если бы было возможно построить Вавилонскую башню, не поднимаясь на нее, это было бы позволено.{34}

3.47. 10 ноября. Постель.

3.48. Не позволяй злу убедить тебя, что ты можешь иметь от него секреты.

Леопарды врываются в храм и, вылакав все из жертвенных сосудов, опустошают их; так повторяется снова и снова, в конце концов это уже можно предсказать заранее, и это становится частью церемонии.{35}

3.49. Волнения (Блюэр, Таггер){36}

3.50. 12 ноября. Долго валялся; защита.

3.51. Так же крепко, как рука сжимает камень. Но она так сжимает его только для того, чтобы забросить подальше. Однако дорога приведет и в эту даль.

Ты — задача. Но не видно, кому ее решать.

От настоящего противника заражаешься безграничным мужеством.

Счастье понимать, что основание, на котором ты стоишь, не может быть больше того, что покрывают две твои ступни.

Как можно радоваться этому миру — если только ты не убегаешь в него?{37}

3.52. 18 ноября.

3.53. Убежищ бесконечно много, спасение — только одно, но возможностей спасения вновь так же много, как и убежищ

Есть цель, но нет пути; то, что мы называем путем, это колебание.

Создавать негативное — эта задача еще возложена на нас; позитивное нам уже дано.{38}

3.54. Три крестьянина на повозке медленно въезжали в темноте на пригорок. Какой-то незнакомец вышел им навстречу и окликнул их. После короткого обмена репликами выяснилось, что незнакомец просит подвезти его. Седоки, подвинувшись, втащили его наверх. И, уже тронувшись дальше, спросили:

— Вы ведь шли с той стороны, а теперь, значит, едете обратно туда же?

— Да, — ответил незнакомец, — я двигался сначала в ту же сторону, что и вы, но потом повернул назад, так как стемнело раньше, чем я ожидал.

3.55. Ты жалуешься на молчание, на безнадежность этого молчания, этой стены добра.

3.56. Терновник — это древний шлагбаум, преграждающий путь; если ты хочешь идти дальше, он должен гореть огнем.

3.57. 21 ноября. За негодным объектом могут скрываться негодные средства.

3.58. Когда ты уже впустил к себе зло, оно больше не требует, чтобы ты ему верил.

Тайные мысли, с которыми ты впускаешь к себе зло, это не твоя тайна, это тайна зла.

Тварь вырывает у Господина плетку и хлещет себя сама, чтобы стать Господином, не зная, что это лишь фантазия, порожденная новым узлом на хвосте плетки Господина.{39}

3.59. Зло — это то, что отвлекает.

3.60. Зло знает добро, но добро зла не знает.

3.61. К самопознанию способно только зло.

3.62. Один из инструментов зла — диалог.

3.63. Основатель приносил от законодателя законы, а верующие должны эти законы оглашать законодателю.

3.64. Является ли факт существования религий доказательством того, что отдельный человек не может быть длительно привержен добру? Основатель отрывает себя от добра, воплощает себя. Делает ли он это во имя ближнего — или полагая, что сможет остаться с ближним только будучи таким же, как и тот, в то время как этот «мир» он должен разрушить, иначе ему пришлось бы его полюбить?

3.65. Добро в известном смысле безутешно.{40}

3.66. Тот, кто верит, не может увидеть чуда. Днем звезд не видно.

3.67. Творящий чудеса говорит: я не могу оставить эту землю.

3.68. Правильно распределить веру между своими собственными словами и убеждениями. Не дать убеждению испариться в тот миг, когда ты о нем узнаешь. Не перекладывать на слова ответственность, которую налагают убеждения. Не позволять словам красть убеждения; соответствие слов и убеждений — еще не решающее доказательство, в частности и добросовестности. Будут ли такие-то слова обнаруживать такие-то убеждения или хоронить их — это все еще зависит от обстоятельств.

3.69. Высказывание, в принципе, не означает некое ослабление убеждения — на это не надо сетовать, — но означает некую слабость убеждения.

3.70. К самообладанию я не стремлюсь. Самообладание означает желание действовать в каком-то случайном месте бесконечного диапазона моего духовного существования. Но если я должен очертить вокруг себя такой круг, то лучше я сделаю это пассивно, простым созерцанием чудовищных комплексов, и уйду домой, поддерживаемый лишь тем, что это зрелище вызовет во мне e contrario[2].

Вороны утверждают, что одна-единственная ворона может разрушить небо. Это не подлежит сомнению, но в отношении неба ничего не доказывает, ибо небо как раз и означает невозможность ворон.

Мученики не склонны недооценивать тело, они позволяют возвысить его на кресте. В этом они едины со своими противниками.

Его усталость — это усталость гладиатора после боя; его работой была побелка одного угла в одном присутственном месте.{41}

3.71. 24 ноября. Человеческое суждение о человеческих поступках истинно и ничтожно, и именно вначале истинно, а затем ничтожно.

Через правую дверь ближние врываются в комнату, где проходит семейный совет, подхватывают последнее слово последнего из выступавших, устремляются с этим словом через левую дверь в мир и выкрикивают свое суждение. Их суждение об этом слове истинно, их суждение как таковое ничтожно. Однако если бы они захотели, чтобы их суждения были окончательной истиной, им пришлось бы остаться в этой комнате навсегда, стать участниками этого семейного совета и тем самым, разумеется, опять-таки неспособными судить.

3.72. Действительно судить о деле может лишь участвующий в нем, но как соучастник в деле судить о нем он не может. Поэтому в мире существует не возможность суждения, а лишь ее проблески.

3.73. Нет никакого обладания, есть только бытие, — только это жаждущее последнего вздоха, жаждущее задохнуться бытие.

Раньше я не понимал, почему я не получаю ответов на свои вопросы; сегодня я не понимаю, как я мог думать, что можно спрашивать. Но я ведь и не думал, я просто спрашивал.

Его ответом на утверждение, что он, может быть, владеет, но не существует, было только содрогание и сердцебиение.{42}

3.74. Целибат и самоубийство находятся на сходных ступенях познания, самоубийство и мученическая смерть — нет; скорее, брак и мученическая смерть.

3.75. Некто удивлялся тому, как легко ему идти по пути вечности, а он просто неся по нему вниз.{43}

3.76. Добрые идут в ногу. Прочие, не зная о них, пляшут вокруг них в плясках времени.

3.77. Злу нельзя заплатить в рассрочку — и это без конца пытаются делать.

Можно было бы представить, что Александр Великий, несмотря на военные успехи своей юности, несмотря на отличную, обученную им армию, несмотря на силу, направленную на изменение мира, которую он в себе чувствовал, мог остановиться у Геллеспонта и никогда его не перейти — и не под действием страха, нерешительности, слабости, а под действием земной тяжести.{44}

3.78. Восторженный и пьяный оба взмахивают руками. Первый выражает этим единение со стихией, второй — спор с ней.

3.79.

Содержания я не знаю,

ключа я не имею,

слухам я не верю,

все это понятно,

ведь это — я сам.

3.80. 25 ноября.

3.81. Путь бесконечен, тут ничего не отнять и ничего не прибавить, и все-таки каждый прибавляет к нему еще свой детский аршин. «Разумеется, ты должен пройти еще и этот аршин пути, это тебе зачтется».

Страшный суд отделен от нас только нашим понятием времени, а ведь это, собственно говоря, военно-полевой суд.{45}

3.82. 26 ноября. Тщеславие уродует и, значит, вообще говоря, должно было бы умерщвлять себя; вместо этого оно лишь уязвляет себя и становится «уязвленным тщеславием».

3.83. Несоразмерности этого мира, кажется, носят лишь количественный характер; это утешительно.{46}

3.84. Вечер. Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти. Конечно, но что если тебя схватили за горло и душат?{47}

3.85. 27 ноября. Читать газеты.

3.86. Мессия придет, как только станет возможен самый необузданный индивидуализм веры, — никто такой возможности не уничтожит, никто такого уничтожения не потерпит, и, следовательно, могилы раскроются. Возможно, в этом и заключается христианское учение — как в фактической демонстрации (индивидуалистического) примера, которому надлежит следовать, так и в символической демонстрации воскресения посредника в отдельном человеке.

3.87. Верить значит: освободить в себе неразрушимое или, вернее: освободить себя, или, вернее: быть неразрушимым, или, вернее: быть.

3.88. Праздность — мать всех пороков и дочь всех добродетелей.

3.89. Гонимые еще играют во дворе, но дичи не уйти, как ни мчится она уже сейчас по лесам.

Смешно ты захомутился для этого мира.

Чем больше лошадей ты запряжешь, тем быстрее пойдет — не вырывание блоков из фундамента, что невозможно, а обрывание ремней и, вместе с тем, — пустая веселая поездка.{48}

3.90. Разные формы безнадежности при разных остановках в пути.

3.91. Слово «sein» имеет в немецком языке два значения: «быть» и «принадлежать ему».{49}

3.92. 2 декабря.

3.93. Они были поставлены перед выбором: стать королями или королевскими вестниками. Все по-детски захотели стать вестниками. Поэтому существуют одни только вестники, они носятся по свету и, поскольку королей нет, от себя выкрикивают друг другу ставшие бессмысленными известия. Они бы с удовольствием покончили с этой жалкой жизнью, но не решаются, поскольку давали присягу служить.{50}

3.94. 4 декабря. Бурная ночь, утром телеграмма от Макса, перемирие в России.

3.95. Мессия придет только тогда, когда уже не будет нужен; он придет только на следующий день после того, как будет возведен его приход; он придет не в последний день, а в самый последний.

3.96. Верить в прогресс не значит верить в то, что какой-то прогресс уже произошел. Это не было бы верой.

А. — виртуоз, чему свидетель — небо.{51}

3.97. 6 декабря. Забой свиней.

3.98. Три действия: посмотреть на себя как на что-то незнакомое, вид забыть, взгляд сохранить.

Или — только два, ибо третье включает второе.

3.99. Зло это звездное небо добра.

3.100. 7 декабря.

3.101. Человек не может жить без длительного доверия к чему-то неразрушимому в себе, причем как это неразрушимое, так и это доверие могут длительно оставаться скрытыми от него. Одно из возможных проявлений того, что они остаются скрыты, — вера в некоего персонального бога.{52}

3.102. Небо немо, оно — лишь эхо немоты.

3.103. Посредничество змея было необходимо: зло может соблазнить человека, но не может стать человеком.{53}

3.104. 8 декабря. Постель, запор, боль в спине, вечернее раздражение, кошка в комнате, разбитость.

3.105. В дуэли между тобой и миром будь секундантом мира.

Ни у кого нельзя красть победу — даже у мира.

Нет ничего, кроме духовного мира: то, что мы называем чувственным миром, — это зло в духовном мире, а то, что мы называем злом, — это лишь необходимость момента нашего вечного развития.

Самым сильным светом можно разъединить этот мир. Для слабых глаз он приобретает прочность, для слабейших у него появляются кулаки, а под взглядом еще более слабых он становится стыдлив и раздавливает того, кто смеет в него всматриваться.

Искать минимальную меру обмана, оставаться в пределах обычного, искать высшую меру — все предательство. В первом варианте предаешь добро, желая слишком легко его приобрести, и зло, предлагая ему слишком невыгодные условия для борьбы. Во втором варианте предаешь добро тем, что фактически не стремишься к нему даже в земном. В третьем варианте предаешь добро, удаляясь от него как можно дальше, и зло, надеясь предельным его увеличением сделать его бессильным. Таким образом, в силу вышеизложенного следует предпочесть второй вариант, поскольку добро предаешь всегда, зло же в этом варианте — по крайней мере внешне — не предаешь.

Есть проблемы, с которыми мы не смогли бы справиться, если бы природа не освободила нас от них.

В сравнениях, даже и приблизительных, язык может использоваться только в чувственном мире, а вне его — только в намеках, поскольку он, соответствуя чувственному миру, говорит только о владении и отношениях владения.

Лгут меньше всего только тогда, когда меньше всего лгут, а не тогда, когда имеют для этого меньше всего возможностей.{54}

3.106. Если я говорю ребенку: «Вытри рот и тогда получишь пирог», то это не значит, что пирог будет заслужен вытиранием рта, ибо вытирание рта несопоставимо с ценностью пирога; это также не делает вытирание рта предпосылкой съедания пирога, ибо, независимо от незначительности подобного условия, ребенок получит пирог в любом случае, поскольку пирог — неотъемлемая составная часть его обеда; мое замечание, таким образом, не затрудняет, а облегчает выдачу пирога; вытирание рта есть нечто полезное маленькое, предшествующее большому — поеданию пирога.

3.107. 9 декабря. Вчера пляска по случаю гуляний.

3.108. Ступенька лестницы, не истертая шагами, с ее собственной точки зрения, — просто нечто бессмысленно сколоченное деревянное.{55}

3.109. Наблюдающий за душой не может проникнуть в нее, но, очевидно, существует некая пограничная полоса, в которой он прикасается к ней. Сознание этого прикосновения таково, что и душа не знает самой себя. Она, таким образом, должна остаться неизвестной. Это было бы печально только в том случае, если бы было еще что-то другое, кроме души, но ничего другого нет.

3.110. Если ты отказываешься от мира, ты должен любить всех людей, ведь ты отказываешься и от их мира. И ты начинаешь догадываться об истинной человеческой природе, которую можно исключительно и только любить, в предположении, что она равна твоей.

Тот, кто в этом мире возлюбит своего ближнего, будет не более и не менее неправ, чем тот, кто в этом мире возлюбит самого себя. Если бы еще только оставался вопрос, возможно ли первое.

Тот факт, что не существует ничего, кроме духовного мира, отнимает у нас надежду и дает нам уверенность.{56}

3.111. 11 декабря. Вчера старший инспектор. Сегодня «Дер Юде». Штейн: Библия — Писание, мир — писание.

3.112. Наше искусство есть некое состояние ослепления истиной: свет на отстраняющемся сморщенном лице — это свет истины, и это всё.{57}

3.113. Не каждый способен увидеть истину и не умереть.

3.114. Изгнание из рая в главной своей части вечно; следовательно, хотя это изгнание окончательно и жизнь в этом мире неизбежна, но вечность процесса (или, во временном выражении: вечное повторение этого процесса) создает тем не менее возможность того, что мы не только могли бы долго оставаться в раю, но и действительно долго там пребываем, — не важно, знаем мы здесь об этом или нет.{58}

3.115. Каждому мгновению соответствует и нечто вневременное. За посюсторонним не может следовать потустороннее, ибо потустороннее вечно и, следовательно, не может соприкоснуться во времени с посюсторонним.

3.116. 13 декабря. Развлеченный журналом «Шёне Раритет» и газетами, начал Герцена.

3.117. Кто ищет, тот не находит, но кто не ищет, тот будет найден.

3.118. 14-е. Вчера, сегодня — наихудшие дни. Наполнение: Герцен, письмо д-ру Вайсу, прочее не поддается объяснению. Тошнотворная еда: вчера свиньячья нога, сегодня — хвост. Дорога в Михелоб через парк.{59}

3.119. Он — свободный и обеспеченный гражданин земли, потому что цепь, на которую он посажен, достаточно длинна, чтобы для него были доступны все земные пространства, и все же лишь настолько длинна, чтобы ничто не могло перетянуть его через границу земного. Но в то же время он — свободный и обеспеченный гражданин неба, потому что посажен и на аналогично рассчитанную небесную цепь. И теперь, когда он хочет на землю, его душит небесный ошейник, хочет на небо — его душит земной. Тем не менее он сохраняет все возможности и чувствует это; более того, он даже отказывается объяснять все это ошибкой первой посадки на цепь.{60}

3.120. 15 декабря. Письма от д-ра Кернера, от Вацлава Меля, от матери.{61}

3.121. Здесь ничего не решится, но испытать свою способность решать можно только здесь.

3.122. 17 декабря. Пустые дни. Письма Кернеру, Пфоллю, Пршибраму, Кайзеру, родителям.{62}

3.123. Негр, доставленный со всемирной выставки домой обезумевшим от тоски по дому, среди своей деревни, под причитания племени, с серьезнейшим лицом, словно выполняя свою миссию и свой долг, пересказывает те шутки, которые приводили в восхищение европейскую публику как свидетельства африканских нравов и обычаев.

3.124. Самозабвение и самосохранение искусства: бегство подается как прогулка или даже как наступление.

3.125. Письма Ван Гога.

3.126. Он бежит за фактами, как начинающий конькобежец, который к тому же упражняется в запретной зоне.{63}

3.127. 19 декабря. Вчера известие о визите Ф., сегодня один в моей комнате, на той стороне дымит печь; ходил с Натаном Штейном в Царх; как он толковал крестьянке, что мир это театр!{64}

3.128. Что может быть веселее веры в какого-нибудь домашнего бога!{65}

3.129. Это падение по отношению к истинному познанию, и это детски-счастливый подъем.

3.130. Теоретически возможность полного счастья существует: надо верить в неразрушимое в себе и не стремиться к нему.{66}

3.131. 21 декабря. Телеграфировал Ф.

3.132. Первым домашним животным Адама после изгнания из рая был змей.

3.133. 22 декабря. Прострел, ночные подсчеты.

3.134. 23 декабря. Удачная и отчасти пресная поездка. Много услышал.

3.135. Плохо спал, напряженный день.

3.136. Неразрушимое это единое; это каждый отдельный человек и в то же время это все вместе; поэтому столь беспримерно неразъединима связь людей.{67}

3.137. В раю, как везде: что порождает грех, то его и осуждает. Чистая совесть — это зло, которое так победительно, что даже не считает нужным этот перескок слева направо.

3.138. Заботы, под тяжестью которых привилегированный извиняется перед угнетенным, это именно заботы о сохранении привилегий.

3.139. В одном и том же человеке существуют знания, которые, полностью различаясь, имеют тем не менее один объект, так что вновь приходится делать вывод о существовании различных субъектов в одном и том же человеке.{68}

3.140. 25, 26, 27 декабря. Отъезд Ф. Плакал. Все тяжело, несправедливо и все-таки правильно.

3.141. Он подбирает объедки, упавшие с собственного стола; благодаря этому он, правда, в течение какого-то времени насыщается больше всех, однако отучается есть наверху, за столом, а из-за этого потом кончаются и объедки.{69}

3.142. 30 декабря. Не слишком разочарован.

3.143. Если то, что в раю должно было быть разрушено, было разрушено, то это не было определяющим, если же это было неразрушимо, то мы живем в ложной вере.{70}

3.144. 2 января. Несомненность учителя характеризуется истинностью, ученика — продолжительностью.

3.145. Испытай себя на человечестве. Сомневающегося оно заставит усомниться, верующего — поверить.{71}

3.146. Завтра уезжает Баум.{72}

3.147. Это чувство: «я здесь якорь не бросаю», — и тут же почувствовать себя в ревушем, несущем потоке.

Инверсия. Ожидая, с робкой надеждой, крадучись обходит вопрос ответ, заглядывает в отчаянии в его непроницаемое лицо и следует за ним самыми бессмысленными путями, то есть теми, которые уведут как можно дальше от ответа.

Общение с людьми соблазняет к самонаблюдению.

Дух становится свободным только тогда, когда перестает быть опорой.{73}

3.148. Под тем предлогом, что идет на охоту, он удаляется от дома; под тем предлогом, что не хочет терять дом из виду, он карабкается на самые труднодоступные вершины; не знай мы, что он идет на охоту, мы бы его удержали.

3.149. 13 января. Оскар уехал с Оттлой, дорога на Эйшвиц.

3.150. Чувственная любовь обманывает, являясь небесной; сама по себе она бы этого не смогла, но так как она, не сознавая того, несет в себе стихию небесной любви, то она это может.{74}

3.151. 14 января. Хмур, слаб, нетерпелив.

3.152. Есть только правда и ложь, третьего нет.

Правда неделима, следовательно, сама себя познать не может; тот, кто хочет ее познать, должен быть лжив.{75}

3.153. 15 января. Нетерпелив. Улучшение, ночная прогулка в Оберклее.

3.154. Никто не может желать того, что ему в конечном счете вредит. И если складывается впечатление, что отдельные люди все-таки это делают — а такое впечатление, по-видимому, складывается постоянно, — то объясняется это тем, что нечто в человеке желает чего-то такого, что этому Нечто хоть и полезно, но какому-то второму Нечто, отчасти привлекаемому для оценки данного случая, наносит серьезный вред. Если бы человек с самого начала, а не только уже при этой оценке, встал на сторону второго Нечто, первое Нечто исчезло бы, и с ним — само желание.{76}

3.155. 16 января. По собственной воле, как какой-то Фауст, он повернулся-обернулся — и избежал этого мира.

3.156. Ни одной капли не перелито и ни одной больше не влить.

3.157. То, что наша задача точно так же велика, как и наша жизнь, бросает на последнюю отблеск бесконечности.

3.158. Почему мы жалуемся по поводу грехопадения? Не из-за него мы были изгнаны из рая, а из-за древа жизни, — чтобы мы с него не ели.{77}

3.159. 17 января.

3.160. Прометей.

О Прометее есть четыре легенды. Согласно первой, он, предавший... [см. прим.]{78}

3.161. Закон кадрили ясен, его знают все танцоры, он действителен на все времена. Однако в силу каких-то случайностей жизни, которых вообще не должно было бы возникать, но которые возникают вновь и вновь, ты остаешься один между рядами. Возможно, это вносит сумятицу и в сами ряды, но ты этого не знаешь, ты знаешь только свое несчастье.

3.162. 17 января. Дорога в Оберклее. Ограничение.

3.163. В дьяволе все еще уважать дьявола.

3.164. 18 января. Вопль: если я буду вечным, каким я буду завтра?

3.165. Мы отделены от Бога с обеих сторон: грехопадение отделяет нас от Него, древо жизни отделяет Его от нас.

3.166. Мы грешны не только потому, что вкусили от древа познания, но еще и потому, что до сих пор не вкусили от древа жизни. Греховно состояние, в котором мы пребываем, — вне зависимости от вины.{79}

3.167. Древо жизни — владыка жизни.

3.168. Мы были изгнаны из рая, но он не был уничтожен. Изгнание из рая было в каком-то смысле счастьем, ибо если бы мы не были изгнаны, рай пришлось бы уничтожить.

3.169. Мы были созданы, чтобы жить в раю, и рай был предназначен служить нам. Наше предназначение было изменено, но о том, что это же произошло с предназначением рая, нигде не говорится.{80}

3.170. До самого конца сказания о грехопадении сохраняется возможность того, что вместе с человеком был проклят и сад Эдема... Прокляты только люди, сад Эдема — нет.

3.171. Бог сказал, что Адам должен умереть в тот день, когда вкусит от древа познания. То есть, согласно Богу, немедленным следствием вкушения от древа познания должна была стать смерть, согласно же змею (по крайней мере, так можно было его понять) — достижение богоравенства. Оба были сходным образом неправы. Люди не умерли, но стали смертны; они не стали богоравными, однако получили некую необходимую способность стать таковыми. Оба были сходным образом правы. Умер не человек, но человек рая; люди не стали как боги, но они стали божественным познанием.

3.172. Безутешный горизонт злого: уже в познании добра и зла ему видится богоравенство. Проклятие, кажется, ничего не ухудшило в его существе: длину пути он будет измерять брюхом.

3.173. Зло есть некое излучение человеческого сознания в определенных переходных состояниях. Видимость — это, собственно, не чувственный мир, а его зло, которое, правда, для наших глаз и образует чувственный мир.{81}

3.174. 22 января. Попытка сходить в Михелоб. Грязь.

3.175. В наших способностях познания добра и зла мы, собственно, те же, что и во времена грехопадения, тем не менее, именно здесь мы ищем наши особые преимущества. Однако истинные различия начинаются по ту сторону этого познания. Противоположное впечатление вызывается следующим:

Человек не может удовлетвориться только познанием, он должен стремиться и действовать соответственно. Но силы для этого не дано, поэтому он вынужден разрушать себя, даже рискуя тем, что необходимой силы все равно не получит, однако ничего другого, кроме этой последней попытки, ему не остается. (В этом и заключается смысл угрозы смерти при запрете вкушать от древа познания; возможно, в этом — и первоначальный смысл естественной смерти.) И вот такой попытки человек страшится, он предпочел бы вернуть назад это знание добра и зла (обозначение «грехопадение» восходит к этому страху)[3], но происшедшее вернуть назад нельзя, его можно только затуманить. Этой цели служат возникающие мотивации; весь мир заполнен ими. Более того, весь видимый мир — это, может быть, не что иное как некая мотивация человека, ищущего мгновения покоя. Попытка сфальсифицировать факт познания, сделав для начала познание целью.{82}

3.176. Под всяким дымом — огонь, но того, кто видит вокруг только темный дым, это не удержит на месте, если у него горят ноги.

3.177. Мы в изумлении смотрели на эту гигантскую лошадь. Головой она пробила крышу над нашей комнатой. Облачное небо лениво обтекало могучие контуры, и с шелестом развевалась на ветру грива.

3.178. Точки зрения искусства и жизни даже в самом художнике различны.

3.179. Искусство порхает вокруг истины, однако решительно не настроено на самосожжение. Художественное умение состоит в том, чтобы в темной пустоте отыскать, не зная его заранее, такое место, в котором можно цепко поймать луч света.

3.180. Вера — как нож гильотины: так же тяжела, так же легка.

Смерть стоит перед нашими глазами примерно так же, как картина с изображением битвы Александра на стене в школьном классе. Задача в том, чтобы нашими делами еще в этой жизни затемнить или совсем стереть эту картину.{83}

3.181. Утренние сумерки 25 января.

3.182. Самоубийца — это заключенный, который видит, как во дворе тюрьмы устанавливают виселицу, ошибочно решает, что она предназначена для него, выбирается ночью из своей камеры, спускается во двор и вешается сам.

3.183. Познание нам дано. И тот, кто слишком о нем печется, вызывает подозрения: уж не затевает ли он что-то против познания?

3.184. Перед тем, как вступить в святая святых, ты должен сбросить башмаки, но не только башмаки, а все: ношу, и походную одежду, и наготу под ней, и все то, что под наготой, и все, что спряталось уже под этим, и потом — твою сердцевину, и сердцевину сердцевины, и потом — все прочее, и потом — остатки, и потом еще — видимость неугасимого огня. Святая святых питается только самим огнем — и позволяет ему питаться собой: противостоять этому не может ни одна из сторон.

3.185. Не самоосвобождение, а самопоедание.

3.186. За грехопадение были возможны три наказания: самым мягким было осуществленное — изгнание из рая, другим — уничтожение рая, а третьим — и это было бы самым ужасным наказанием — запрет вечной жизни при оставлении без изменений всего остального.

3.187. 28 января. Суетность, самозабвение нескольких дней.

3.188. Две возможности: выставлять себя бесконечно ничтожным или быть таким. Второе — это завершение, значит, бездеятельность, первое — начало, значит, дело.

Во избежание путаницы в словах: то, что должно быть разрушено в работе, должно до этого сохраняться очень прочным, а то, что раскрошено, то раскрошено и уже не может быть разрушено.{84}

3.189. А. не мог ни дружно жить, ни [разойтись] с Г., поэтому он застрелился; он думал, что таким образом сможет соединить несоединимое, и именно «уединиться в беседке» с самим собой.

3.190. Слова «Если..., то ты должен будешь умереть» означают, что познание «обоюдоостро»: это и ступень к вечной жизни, и препятствие на пути к ней. Если после обретенного познания ты пожелаешь достичь вечной жизни — а ты и не сможешь не пожелать ее, ибо познание и есть это желание, — тебе придется разрушить препятствие, чтобы выстроить ступень, то есть само это разрушение. Таким образом, изгнание из рая было не деянием, а происшествием.

Четвертая тетрадь

4.1. Возлагая на себя слишком большую или даже всю ответственность, ты подавляешь себя. Первым поклонением идолам был, конечно, страх перед вещами — но и связанный с этим страх перед необходимостью вещей — и связанный с этим страх ответственности за вещи. Эта ответственность представлялась столь чудовишной, что ее даже не посмели возложить на нечто единственное нечеловеческое, потому что даже посредничество какого-то одного существа еще не достаточно облегчило бы человеческую ответственность, связь только с одним существом была бы еще слишком запятнана ответственностью, поэтому всем вещам приписали ответственность за самих себя, более того, этим вещам приписали еще и пропорциональную ответственность за человека. Создавались все новые и новые противовесы; этот наивный мир был самым сложным из всех, когда-либо существовавших, в полной мере его наивность проявлялась исключительно в его жестокой последовательности.{85}

4.2. Если вся ответственность возложена на тебя, ты можешь пожелать воспользоваться моментом, чтобы пасть под грузом этой ответственности, однако если ты предпримешь такую попытку, ты обнаружишь, что на тебя ничего не возложено, но что эта ответственность — ты сам.

4.3. Атлант мог придерживаться того мнения, что он вправе, когда захочет, сбросить эту землю и без шума уйти, но ему было позволено только иметь это мнение — и не более того.

4.4. Видимое спокойствие, с которым следуют друг за другом дни, времена года, поколения, века — это настороженность; так лошади трусят рысцой перед повозкой.

4.5. 31 января. Садовая работа, безнадежность.{86}

4.6. Борьба, в которой никоим образом и ни на какой стадии не получить поддержки. И хотя ты это знаешь, но постоянно забываешь об этом. И даже если не забываешь, все равно ищешь этой поддержки — только для того, чтобы отдохнуть во время поисков, хотя и знаешь, что заплатишься за это.

4.7. 1 февраля. Письма Ленца.{87}

4.8. Психология — в последний раз!

Две задачи начала жизни: все более ограничивать свой круг и все время перепроверять, не прячешься ли ты где-нибудь за пределами своего круга.{88}

4.9. 2 февраля. Письмо от Вольфа.{89}

4.10. Зло иногда лежит в руке, как инструмент, и, узнали его или не узнали, оно не возражает, чтобы его отложили, если есть желание, чтобы оно было под рукой.

Радости этой жизни суть не ее собственные, но наш страх перед восхождением в некую высшую жизнь; мучения этой жизни суть не ее собственные, но наше самомучительство из-за этого страха.{90}

4.11. 4 февраля. Долго валялся, бессонница, постепенное осознание борьбы.

4.12. В мире лжи ложь вытесняется из мира не своей противоположностью, а только миром правды.

4.13. Страдание есть позитивный элемент этого мира, более того, оно — единственное, что связывает этот мир с позитивным.

Только здесь страдание — страдание. Не в том смысле, что, якобы, те, кто здесь страдает, благодаря этому страданию где-то должны быть возвышены, а в том, что нечто, называемое в этом мире страданием, в каком-то другом мире — не претерпевшее изменений и лишь освобожденное от своей противоположности блаженство.{91}

4.14. 5 февраля. Хорошее утро, невозможно обо всем вспоминать.

4.15. Задача разрушения этого мира возникла бы лишь в том случае, если бы, во-первых, он был злом, то есть чем-то противоречащим нашему здравому смыслу, и, во-вторых, если бы мы были в состоянии его разрушить. Первое соответствует нашим представлениям, а второе мы не способны. Мы не можем разрушить этот мир, потому что не построили его как нечто самостоятельное, а попали в него, заблудившись; более того: сам этот мир и есть наше заблуждение и как таковое — нечто неразрушимое или, скорее, нечто такое, что может быть разрушено не отречением, а только доведением до конца, при том, правда, что и доведение до конца может быть только следствием разрушения, но — изнутри этого мира.

4.16. Для нас правда существует в двух видах — так, как она представлена древом познания и древом жизни. Правда деятельных и правда покоящихся. В первой разделяются добро и зло, вторая — это не что иное как само добро, она не знает ни добра, ни зла. Первая правда дана нам в действительности, вторая — как предчувствие. Это печальный взгляд. А вот веселый: первая правда принадлежит мгновению, вторая — вечности, поэтому первая и гаснет в свете второй.

4.17. 6 февраля. Был во Флехау.

4.18. Представление о бесконечной протяженности и наполненности космоса есть результат доведенного до крайних пределов смешения утомительного творения и свободного самоосознания.{92}

4.19. 7 февраля. Солдат с камнями, остров Рюген.

4.20. Усталость не обязательно означает слабость веры или обязательно? Во всяком случае, усталость означает недовольство. Мне слишком тесно во всем, что означает «Я», даже та вечность, которой я являюсь, мне тесна. Но если я читаю, к примеру, хорошую книгу, допустим, описание какого-нибудь путешествия, это пробуждает меня, освобождает меня, удовлетворяет меня. Вот доказательство того, что прежде я не включал эту книгу в мою вечность или не мог пробиться к предчувствию той вечности, которая с необходимостью охватывает также и эту книгу. — Усталость, недовольство, стеснение, презрение к самому себе должны исчезать, начиная с какой-то определенной ступени познания, и именно там, где я обрету способность познать как мое собственное существо то, что прежде как нечто чуждое освежало, удовлетворяло, освобождало и возвышало меня.

Но что, если оно оказывало такое воздействие лишь в своем мнимом качестве чуждого, и ты со своим новым познанием не только ничего в этом смысле не приобретаешь, но еще и лишишься всякого утешения? Конечно, оно оказывало такое воздействие лишь в качестве чуждого, но не только такое, — его воздействие было сильнее и подняло меня на эту более высокую ступень. Оно не перестало быть мне чуждым, но, помимо этого, оно начало быть моим «Я». — Но то чуждое, которое есть ты, уже более не чуждо. Таким образом, ты отрицаешь сотворение мира и противоречишь самому себе.

4.21. Я должен был бы приветствовать единство, а я, находя его, впадаю в тоску. Я должен был бы благодаря этому единству ощущать

себя совершенным, а я ощущаю себя придавленным?

Ты говоришь «я должен был бы ощущать», этим ты выражаешь какую-то заповедь, которая в тебе живет?

Да, я так полагаю.

Но ведь не может же быть, чтобы в тебя была вложена только одна заповедь — так, чтобы ты слышал одну только эту заповедь и больше ничего не происходило. Эта заповедь постоянная или только временная?

Этого я не могу решить, однако думаю, что она постоянная, но я слышу ее только временами.

Из чего ты это заключаешь?

Из того, что я в известном смысле слышу ее даже тогда, когда я ее не слышу, то есть таким образом, что она сама не слышна, но приглушает или постепенно отравляет противоречащий ей голос, именно тот, который внушает мне отвращение к единству.

А слышишь ты аналогичным образом этот голос противоречия тогда, когда в тебе звучит заповедь единства?

Да, и тогда тоже, временами мне даже кажется, что я вообще ничего не слышу, кроме этого голоса противоречия, а все остальное как бы только сон, и я позволяю ему примешиваться к звукам дня.

Почему ты сравниваешь внутреннюю заповедь с каким-то сном? Разве она кажется тебе такой же бессмысленной, бессвязной, неизбежной, возникающей один раз, беспричинно радующей или пугающей, полностью невыразимой и стремящейся к выражению?

Все так: она кажется бессмысленной, потому что я могу здесь выжить, только если я ей не следую; кажется бессвязной — я не знаю, кто дал эту заповедь и на что она направлена; кажется неизбежной — она застает меня неподготовленным и так же внезапно, как сны застают спящего, который все же должен быть готов к снам, раз он лег спать. Она возникает один раз — так, по крайней мере, кажется, поскольку я не могу ей последовать, — она не смешивается с действительностью и благодаря этому сохраняет свою неприкосновенную однократность; она беспричинно радуется и пугает — правда, первое случается намного реже, чем второе; ее нельзя выразить, потому что она неуловима, и она стремится к выражению по той же причине.

4.22. Христос, мгновение.{93}

4.23. 8 февраля. Скоро встал, возможность работы.

4.24. 9 февраля. Затишье иных дней, шум приближающегося, — и как все наши выбегают из домов его приветствовать, тут и там вывешиваются флаги, все бегут в подвалы за вином, из какого-то окна на мостовую летит роза, всеобщее нетерпение, лодки, разом схваченные сотней рук, врезаются в берег, незнакомые мужчины озираются по сторонам и поднимаются вверх, освещенные всеми местными огнями.

4.25. Почему эта легкость так тяжела? У меня соблазнов...

Да не перечисляй. Легкость тяжела. Именно так легка и так тяжела. Как потешная погоня, в которой единственное место отдыха — дерево по ту сторону мирового океана.

Но почему они оттуда уплыли? — На побережье самый сильный прибой, а границы их существования слишком узки, и им этого не преодолеть.

Если бы ты не задавал вопросов, тебя бы прибило обратно; вопросы унесут тебя еще за один мировой океан. — Так не они уплыли, а ты.

Эта узость будет тяготить меня постоянно.

4.26. Но вечность — это не остановившаяся временность. Что огорчительно в нашем представлении о вечности: непостижимое для нас оправдание, которому должно быть известно время в вечности, и вытекающее отсюда оправдание нас самих, таких, какие мы есть.

4.27. Насколько даже самое слабое убеждение в будущем вечном оправдании нашей временности тяжелее самого беспощадного убеждения в нашем нынешнем греховном состоянии. И только стойкостью, с которой мы переносим первое убеждение — а оно в своей чистоте целиком охватывает второе, — измеряется вера.

Некоторые считают, что, помимо великого перво-предательства, в каждом отдельном случае специально для них устраивается еще особое маленькое предательство, так что когда на сцене разыгрывают любовную интрижку, актриса, помимо лживой улыбки для своего любовника, изображает еще и некую особо коварную улыбку для совершенно определенного зрителя на последнем ярусе. Это называется заходить слишком далеко.{94}

4.28. 10 февраля. Воскресенье. Шум. Мир на Украине.

4.29. Рассеиваются туманы полководцев и художников, любовников и богачей, политиков и гимнастов, мореплавателей и...

4.30. Свобода и скованность — в существенном смысле одно и то же. В каком существенном смысле? Не в том, что раб не теряет свободу, то есть в известном отношении — свободнее, чем свободный.

4.31. Цепь поколений — это не цепь твоего существа, и тем не менее здесь имеются связи. — Какие? — Поколения уходят, как мгновения твоей жизни. — А в чем различие?

4.32. Это старая шутка: мы держим мир и жалуемся, что он держит нас.

4.33. Ты в известном смысле отрицаешь наличие этого мира. Ты объясняешь его наличное бытие отдыхом, — отдыхом в движении.

4.34. 11 февраля. Мир в России.

4.35. Не потому, что он свят, его дом остался нетронутым в охватившем все пожаре, а потому, что он постарался, чтобы его дом остался нетронутым.

4.36. Наблюдатель — это в известном смысле сожитель, он привязан к живущему, он старается не отстать от ветра. Таким быть я не хочу.

4.37. Жить означает: быть в гуще жизни, смотреть на жизнь тем взглядом, каким я творю ее.

4.38. Увидеть мир хорошим можно только с того места, с которого он сотворен, ибо только там было сказано: «И увидел Он, что это хорошо» — и только с этого места он может быть приговорен к разрушению.

4.39. Он всегда готов, его дом переносится, он всегда живет на родине.

4.40. Решающая характеристическая особенность этого мира — его бренность. В этом смысле века ничем не превосходят мгновенного мгновения. Так что непрерывность этой бренности не приносит ни малейшего утешения; то, что на руинах расцветает новая жизнь, доказывает упорство не столько жизни, сколько смерти. И если я теперь хочу побороться с этим миром, я должен бороться с его решающей характеристической особенностью, то есть с его бренностью. Способен ли я так бороться в этой жизни, причем реально, а не только надеждой и верой?

Итак, ты хочешь бороться с этим миром, причем бороться более реальным оружием, чем надежда и вера. Такое оружие, по всей видимости, существует, но узнать и использовать его можно лишь при наличии определенных предпосылок; я хочу вначале посмотреть, имеются ли у тебя эти предпосылки.

Смотри; но если даже их и нет, я, возможно, могу их создать.

Конечно, но в этом я не смогу тебе помочь.

Значит, ты можешь мне помочь, только если я уже создал эти предпосылки.

Да; точнее говоря, я вообще не могу тебе помочь, ибо когда у тебя имеются эти предпосылки, тебе уже ничего больше не нужно.

Но если это так, зачем ты хотел вначале меня испытать?

Не для того, чтобы показать, чего тебе не хватает, а для того, чтобы показать, что тебе чего-то не хватает. Этим я, пожалуй, мог бы принести тебе определенную пользу, ибо хоть ты и знаешь, что тебе чего-то не хватает, но ты в это не веришь.

То есть в ответ на мой первоначальный вопрос ты лишь представляешь мне доказательство того, что я должен задавать вопросы.

Я представляю все же нечто большее, — нечто такое, что ты, в силу своего положения, вообще не способен сейчас уточнить. Я представляю доказательство того, что свой первоначальный вопрос ты, собственно, должен был поставить иначе.

Другими словами, это значит: ты не хочешь или не можешь мне отвечать.

«Тебе не отвечать» — так оно и есть.

Но эту веру — ее ты можешь дать.

4.41. 19 февраля. Возвращение из Праги. Отгла в Цархе.

4.42. Лунная ночь ослепляла нас. Крики птиц перелетали с дерева на дерево. В полях слышалось пересвистывание.

Мы ползли в пыли, — мы, пара змей.

4.43. Интуиция и опыт.

Если «опыт» — это покой в абсолютном, то «интуиция» может быть лишь путем к абсолютному в обход мира. Ведь все стремится к цели, а цель только одна. Правда, это можно уравновесить тем, что разложение есть таковое только во времени, то есть только такое разложение, которое хоть и происходит в каждое мгновение, но фактически вообще не происходит. {95}

4.44. Может быть знание дьявольского, но не вера в него, так как большей дьявольщины, чем здесь, нет нигде.

Грех всегда приходит в открытую и может быть сразу же понят рассудком. Он уходит на своих плодоножках, и его не следует вырывать. {96}

4.45. Тот, кто заботится только о будущем, менее предусмотрителен, чем тот, кто заботится об этом мгновении, ибо последний заботится даже не об этом мгновении, а только о его длительности.

4.46. Все страдания, окружающие нас, должны выстрадать и мы. Христос пострадал за человечество, и человечество должно страдать за Христа. Тела у нас разные, но развиваемся мы одинаково и поэтому в той или иной форме проходим сквозь все боли. Как ребенок развивается, проходя все жизненные стадии вплоть до старости и смерти (причем каждая стадия, независимо от того, манит ли она или страшит, представляется в принципе недостижимой для предыдущей), точно так же развиваемся и мы (связанные с человечеством не менее глубоко, чем с самими собой), проходя сквозь все страдания этого мира. В этом смысле для справедливости здесь места нет — но также и для страха перед страданием или для представления страдания в качестве какой-то заслуги.{97}

4.47. 22 февраля.

И в созерцании, и в деятельности есть отблеск истины, но только из созерцания исходящая или, скорее даже, к нему возвращающаяся деятельность истинна.

4.48. Ты можешь держаться в стороне от страданий этого мира, это тебе позволено и этот выбор соответствует твоей натуре, но, быть может, именно такая отстраненность — это единственное страдание, которого ты мог бы избежать.{98}

4.49. Твоя воля свободна, это значит: она свободна, когда она хочет в пустыню, она свободна, поскольку может выбирать, по какому пути пересекать ее, она свободна, поскольку может выбирать стиль ходьбы, — но она и несвободна, поскольку идти через пустыню ты должен, и она несвободна, поскольку всякий путь ведет лабиринтом, проходящим через каждую пядь этой пустыни.

4.50. Человек обладает свободной волей, причем трояко: во-первых, он был свободен, когда захотел этой жизни; теперь, правда, вернуть ее назад он уже не может, ведь он уже не тот, кто тогда ее хотел, потому что иначе получилось бы, что, живя, он выполняет свою тогдашнюю волю.

Во-вторых, он свободен, потому что может выбирать путь этой жизни и свой стиль ходьбы.

В-третьих, он свободен, потому что хочет — как тот, кто когда-нибудь появится снова — при любых условиях пройти сквозь эту жизнь и таким образом прийти к себе, причем по пути, который хоть и можно выбирать, но который образует такой лабиринт, что не остается незатронутым ни одно пятнышко этой жизни.

Такова троякость свободной воли, однако, поскольку она синхронистична, она в то же время и однозначна, и эта однозначность, в сущности, так велика, что уже не оставляет места для какой-то воли — ни для свободной, ни для несвободной.{99}

4.51. 23 февраля. Ненаписанное письмо.

4.52. Женщина — а в еще более резком выражении, брак — представляет ту жизнь, с которой тебе следует разобраться.

4.53. Средство искушения этого мира, а также знак гарантии того, что этот мир — лишь некий переход, совпадают. Что оправданно, ибо лишь так может этот мир нас соблазнить, к тому же это соответствует истине. Самое худшее, однако, то, что после удавшегося искушения мы забываем о гарантии и, вообще говоря, таким образом добро увлекает нас во зло, как взгляд женщины — в ее постель.{100}

4.54. 24 февраля. Смирение дает каждому, в том числе и погруженному в одинокое отчаяние, прочнейшие отношения с ближним, причем сразу — разумеется, только при полном и постоянном смирении. Смирение может дать их потому, что оно — истинный язык молитвы, в нем одновременно и поклонение, и крепчайшая связь. Отношение к ближнему — это отношение молитвы, отношение к себе — отношение поиска; в молитве черпается сила для поиска.{101}

4.55. Разве ты можешь знать что-либо, кроме обмана? Если когда-нибудь обман будут уничтожать, тебе на это просто нельзя будет смотреть, чтобы не превратиться в соляной столб.{102}

4.56. Изобретения опережают нас так же, как побережье постоянно опережает непрестанно сотрясаемый своей машиной пароход. Изобретения осуществляют все, что можно осуществить. И если, допустим, сказать: «Самолет летает не так, как птица» или: «Никогда нам не сотворить живую птицу» — это будет неверно. Конечно, не сотворить, но в таком упреке заключена ошибка — как если бы от парохода потребовали, чтобы он, двигаясь прямым курсом, вновь и вновь подходил к первой пристани.

Птицу нельзя сотворить каким-то первоначальным актом, потому что она уже сотворена; она возникает вновь и вновь на основе первого акта творения, и вклиниться в этот ряд, сотворенный, живущий и прирастающий силой первоначальной непрекращающейся воли, невозможно; так, в одном сказании говорится, что хотя первая женщина была сотворена из ребра мужчины, но больше это никогда не повторится и что с тех пор мужчины всегда выбирают себе женщин среди родившихся от других.

Однако дело-то в том, что методы и устремления при сотворении птицы и самолета не должны различаться, справедливость же интерпретации дикарей, принимающих винтовочный выстрел за удар грома, может оказаться ограниченной.

4.57. Доказательства действительной прежней жизни: я тебя уже видел раньше; чудеса прежнего времени и — под конец дня.

4.58. 25 февраля. Утренняя ясность.

4.59. Это не из-за лени, или злой воли, или неловкости — хотя все это в той или иной мере присутствует, ибо «Ничто — вредителей родитель» — мне ничего не удалось (или даже не удалось довести до неудачи): ни жизнь в семье, ни дружба, ни брак, ни профессия, ни литература, а из-за отсутствия основы, воздуха, заповеди. Создать их — моя задача, и не для того, чтобы как-то наверстать упущенное, но для того, чтобы ничто не оказалось упущенным, ибо эта задача не хуже любой другой. И это даже самая первейшая задача или, по крайней мере, ее отражение, — так при восхождении на высоту, где воздух разрежен, можно вдруг вступить в сияние далекого солнца. К тому же это совсем не исключительная задача, она наверняка уже не раз ставилась. Правда, не знаю, в таком ли масштабе. Из того, что необходимо для жизни, у меня, насколько я понимаю, нет ничего, а есть одна только общая для всех человеческая слабость. Благодаря

ей — а она в этом отношении является гигантской силой — я глубоко испит из своего времени все негативное, которое мне ведь очень близко, с которым я не только никогда не боролся, но которое в какой-то мере имею право представлять. Из немного позитивного, равно как и из предельно негативного, опрокидывающегося в позитивное, я никакой части не унаследовал. Я не был введен в жизнь — уже, правда, устало опустившейся — рукой христианства, как Кьеркегор, и не успел ухватиться за последний краешек отлетающего отсюда еврейского молитвенного покрывала, как сионисты. Я — это конец или начало.

4.60. Он чувствовал это у виска, как стена чувствует острие иглы, которая должна в нее вонзиться. Другими словами, он этого не чувствовал.

4.61. Никто не создает здесь ничего большего, чем возможность для своей духовной жизни; то, что это выглядит, как работа ради пропитания, одежды и так далее, не существенно, но именно с каждым видимым куском он получает и невидимый, с каждым видимым предметом одежды — невидимый предмет одежды и так далее. В этом оправдание всякого человека. Это выглядит так, словно он подводит под свое существование фундамент последующих оправданий, но это лишь психологический зеркально отраженный текст, а фактически он строит жизнь на своих оправданиях. Разумеется, каждый человек должен быть в состоянии оправдать свою жизнь (или свою смерть, что одно и то же), от этой задачи он уклониться не может.

4.62. Мы видим, что каждый человек живет своей жизнью (или умирает своей смертью). Без внутреннего оправдания подобное достижение было бы невозможно: ни один человек не может жить неоправданной жизнью. Отсюда можно было бы, недооценив человека, заключить, что каждый подводит фундамент оправдания под свою жизнь.

4.63. Психология — это чтение некоего зеркально отраженного текста, то есть занятие хлопотливое, но в плане получения всегда соответствующего результата — эффективное, однако в действительности не происходит ничего.

4.64. После смерти человека даже на земле на некоторое время наступает по отношению к умершему какая-то особенная благодатная тишина, прекращается земная суета, уже не заметно продолжающегося умирания, кажется, что устранена какая-то ошибка, и даже у живущих появляется возможность сотворения дыхания — для чего в комнате умершего и открываются окна, — но лишь до тех пор, пока не обнаружится, что все-таки это только видимость, и не начнутся боль и сетования.

4.65. Смерть жестока не тем, что это уход, а тем, что она вызывает действительную боль ухода.

4.66. Самое жестокое в смерти: мнимый уход причиняет действительную боль.

4.67. Сетование у постели умирающего — это, собственно, сетование на то, что в истинном смысле здесь не умирают. Мы все еще вынуждены довольствоваться этой смертью, мы все еще играем в игрушки.

4.68. 26 февраля. Солнечное утро.

4.69. Развитие человечества — увеличение силы смерти.

4.70. Наше спасение — в смерти, но не в этой.

4.71. Все очень хорошо относятся к А., — примерно так же стараются тщательно оберегать какой-нибудь отменный бильярд даже от хороших игроков — до тех пор, пока не приходит великий игрок; он внимательно осматривает стол, он нетерпим к недостаткам прежних времен, но затем, когда начинает играть сам, бесцеремоннейшим образом дает выход своей ярости.

«Но затем он вернулся к своей работе так, словно ничего не произошло». Эта ремарка знакома нам по трудноопределимому множеству старых рассказов, хотя, может быть, не встречается ни в одном из них.{103}

4.72. Перед каждым человеком здесь ставятся два вопроса веры: во-первых, заслуживает ли доверия эта жизнь и, во-вторых, заслуживает ли доверия его цель. На оба вопроса каждый фактом своей жизни так твердо и непосредственно отвечает «да», что можно усомниться, правильно ли понимаются эти вопросы. Во всяком случае, тут нужно сперва пробиться к своему собственному основополагающему «да», ибо глубже, под его поверхностью, ответы под натиском вопросов становятся путанными и уклончивыми.

4.73. Нельзя сказать, что нам недостает веры. Уже в самом факте нашей жизни — просто неисчерпаемые глубины веры.

Это здесь-то глубины веры? Да ведь нельзя же не жить.

Именно в этом «нельзя же» и скрывается безумная сила веры, в этом отрицании она обретает форму.{104}

4.74. Тебе нет нужды выходить из дома. Оставайся у своего стола и слушай. И даже не слушай, — просто жди. И даже не жди, — будь совершенно спокоен и одинок. И мир предложит тебе себя, чтобы быть разоблаченным, он не может удержаться и будет в экстазе извиваться перед тобой.{105}

4.75. Непередаваемость парадокса, возможно, существует, но как таковая не выражается, ибо сам Авраам не понял его. Аврааму не нужно — или не следует — его понимать и, следовательно, как-то истолковывать для себя, но он, очевидно, вправе попытаться истолковать его для других. В этом смысле и вообще не однозначно; в случае Ифигении это выражается в том, что оракул никогда не дает однозначных предсказаний.{106}

4.76. Покой во всеобщем? Двусмысленность всеобщего. В одном случае всеобщее толкуется как покой, но в иных — как «всеобщие» споры между единичным и всеобщим. Только покой есть истинно всеобщее, но и конечная цель — тоже.

4.77. Все выглядит так, словно спор между всеобщим и единичным происходит на настоящей сцене, в то время как жизнь во всеобщем —

лишь нарисована на заднике.

4.78. Не существует такой эволюции, которая своей бессмысленностью (а я в ней лишь очень косвенно виноват) утомила бы меня. Этого бременного мира Аврааму при его заботливости недостаточно, поэтому он решает отъехать вместе с ним в вечность. Однако то ли выездные, то ли въездные ворота слишком узки, и его телега с мебелью не проходит. Вину за это он приписывает слабости того голоса, который им командует. В этом мука его жизни.

4.79. Духовная нищета Авраама — и малая подвижность этой нищеты — это преимущество, она обеспечивает ему концентрацию или, скорее, она сама уже есть концентрация, из-за чего, правда, он теряет то преимущество, которое состоит в использовании силы этой концентрации.{107}

4.80. Вот заблуждение, в котором пребывает Авраам: он не может вынести однообразия этого мира. Известно, однако, что мир необычайно разнообразен, в чем можно убедиться, зачерпнув пригоршню этого мира и присмотревшись к нему поближе. Это, естественно, знает и Авраам. Таким образом, жалоба на однообразие мира есть, собственно, жалоба на то, что недостаточно полно смешался с многообразием этого мира. Она, таким образом, — трамплин в мир.

4.81. Рядом с его доказательством идет некое волшебство. Что-то от доказательства можно, расширив, ввести в волшебный мир, что-то от волшебства — в логику, но и то и другое в то же время подавить, так как они представляют собой нечто третье — живое волшебство, или не разрушающее, а созидающее разрушение мира.

4.82. В нем слишком много духовности, с этой своей духовностью он проезжает по земле, как в волшебной карете, даже там, где нет пути. И узнать, что там нет пути, от себя самого он не может. Из-за этого его униженные мольбы о преемственности становятся тиранией, а его искренняя вера в то, что он «на пути», — заносчивостью.

4.83. Неимущие рабочие.

ОБЯЗАННОСТИ: Не иметь и не принимать никаких денег или ценностей. Разрешено лишь следующее имущество: самая простая одежда (устанавливается отдельно в каждом случае), то, что необходимо для работы, книги, продукты для собственного потребления. Все прочее принадлежит бедным.

Средства к существованию добываются только работой. Не бояться никакой не наносящей ущерба здоровью работы, для которой достаточно сил. Работу выбирать либо самому, либо, когда это невозможно, подчиняясь распоряжениям рабочего совета, подотчетного правительству.

Работать только за вознаграждение в размере двухдневного прожиточного минимума (устанавливается отдельно для каждой местности).

Самая умеренная жизнь. Есть только то, что безусловно необходимо, например — в качестве минимального вознаграждения, которое, в известном смысле, является также и максимальным: хлеб, вода, финики. Еда — беднейших, ночлег — беднейших.

Отношения к работодателю трактовать как доверительные, никогда не требовать вмешательства суда. Любую взятую на себя работу при всех обстоятельствах доводить до конца, исключение может быть связано только с тяжелыми последствиями для здоровья.

ПРАВА: Максимальный рабочий день — шесть часов; на физической работе — от четырех до пяти.

В случае болезни и в недееспособном возрасте — помещение в дома престарелых и больницы.

Трудовая жизнь как дело совести и веры в людей.

Принесенное имущество дарить государству для учреждения больниц и приютов.

По крайней мере на первое время исключаются независимые, женатые и женщины.

Совет (тяжелая обязанность) поддерживает связь с правительством.

То же и на капиталистических производствах [два слова не прочитываются].

Там, где можно помочь — в отдаленных местностях, в приютах для бедных, — учителями.

Верхний предел — пятьсот человек.

Испытательный срок — один год.

4.84. Во имя этой стройки ему подчинились все. Чужие рабочие приносили мраморные плиты, уже подогнанные и притертые одна к другой. Следуя размеренным движениям его пальцев, эти плиты поднимались и переносились с места на место. Еще никогда ни одна постройка не возникала так быстро, как этот храм, или, скорее, этот храм возникал поистине так, как возникают храмы. Вот только на всех плитах — из какой каменоломни они происходили? — бессмысленной детской рукой или, скорее, живущим в горах варваром, вооруженным каким-то, видимо, потрясающе острым инструментом, врезаны на века — назло, чтобы осквернить или даже совсем разрушить — корявые каракули, которые переживут храм.

4.85. Вверх по ручью навстречу бегущей воде. Заросли кустарника. Гневный голос учителя, бормотание детей, багрово заходящее, убегающее от себя, содрогающееся солнце. Захлопывается печная дверца. Варится кофе. Мы сидим, облокотившись на стол, и ждем. Тонкие деревца выстроились по одну сторону дороги. Март. Что тебе еще нужно? Мы поднимаемся из могил с желанием еще пройти по

этому миру, никакого определенного плана у нас нет.

4.86. Ты хочешь уйти подальше от меня? Что ж, это решение не хуже любого другого. Но куда ты отправишься? Где будет «подальше от меня»? На луне? Даже там — недостаточно далеко, да и ты в такую даль не доберешься. Так к чему все это? Может, лучше сядешь в уголке и помолчишь? Разве так не будет лучше? Там, в углу, темно и тепло, разве нет? Ты не слушаешь? Ищешь дверь. Да, но где же тут дверь? Насколько я помню, в этой комнате ее нет. Когда здесь все это строилось, — кто тогда думал о таких потрясающих планах, как у тебя? Но ничто не потеряно, подобная мысль не может затеряться, мы обсудим ее за круглым столом, и смех будет тебе наградой.

4.87. Поднималась бледная луна, мы скакали через лес.

4.88. Посейдону надоели его моря. Трезубец он где-то обронил. Он тихо сидел на скалистом берегу, и какая-то ошалевшая от его присутствия чайка описывала неровные круги над его головой. {108}

4.89. Бешено катящаяся повозка.

4.90.

Боже, что нам здесь готовят!

Из травы сухой постели

под шатром листвы зеленой;

мало солнца, влажный дух.

Боже, что нам здесь готовят!

Что хотим! о чем мечтаем?

Это взять, а то утратить?

Слепо пьем мы, задыхаясь,

пепел из отцовской урны.

Что хотим? о чем мечтаем?

Что хотим? о чем мечтаем?

Что-то гонит нас из дома.

Манят звуки Флейты, манит свежесть ручья.

Так, казалось, терпеливо

шорохом вершин деревьев

боги сада говорили.

Если б я хотел в их рунах

перемен игру расслышать

или слова нагноенье...

4.91. Был тихий летний полдень; граф обедал. Дверь отворилась, но на сей раз вошел не слуга, а брат Филотас.

— Брат, — сказал граф и встал, — я уже так давно не видел тебя во сне, и вот я снова вижу тебя.

В застекленной двери, ведущей на террасу, одно стекло разлетелось вдребезги, и красно-коричневая птица, похожая на куропатку, но крупнее и с более длинным клювом, влетела в комнату.

— Погоди, сейчас я ее... — сказал монах, подобрал одной рукой рясу и попытался другой поймать птицу.

Как раз в этот момент вошел слуга с блюдом прекрасных фруктов, и птица, сделав над ними несколько кругов, принялась спокойно и энергично расклевывать их.

Слуга, словно окаменев, держал блюдо и, вообще говоря, без удивления смотрел на фрукты, на птицу и на продолжавшего свою охоту монаха. Отворилась другая дверь, и вошли жители деревни с петицией: они просили открыть проезд по лесной дороге, это было им необходимо для лучшего возделывания их полей. Но они пришли в неудачное время, ибо граф был еще ребенком школьного возраста, сидел на скамеечке и что-то учил. Старый граф, разумеется, уже умер, и, следовательно, править должен был бы мальчик, но правления не было, а был перерыв в истории, и депутация уходила в пустоту. Чем они кончат? Вернутся ли они? Смогут ли они своевременно узнать обстановку? Учитель, который тоже был в составе депутации, уже вышел из ее рядов и взялся за обучение маленького графа. Какой-то палкой он сбросил со стола все, что на нем было, опрокинул его, чтобы столешница стала вертикально, как школьная доска, и написал на

ней мелом цифру «1».

4.92. Мы пили, диван был для нас слишком узок, стрелки стенных часов безостановочно бежали по кругу. В комнату заглянул слуга, мы, вытянув руки, замахали ему. Но он замер при виде того, что происходило на софе у окна. Там медленно поднялся какой-то старик в тонкой черной шелковисто блестящей одежде, его пальцы все еще барабанили по боковой спинке.

— Отец, — воскликнул сын.

— Эмиль, — сказал старик.

4.93. Путь к ближнему для меня слишком дальний.

4.94. Прага. Религии забываются, как люди.

4.95.

Что, душонка,

ты танцуешь,

в теплом воздухе головой качая

и вскидывая ноги из блестящей травы

так, что поднимается легкий ветерок.{109}

Пятая тетрадь

5.1. Я мог бы быть очень доволен. Я — чиновник магистрата. Как это прекрасно — быть чиновником магистрата! Работы мало, жалованье достаточное, свободного времени много, и повсюду в городе — безмерное уважение. Стоит мне только ясно представить себе положение чиновника магистрата, и я не могу ему не завидовать. И вот теперь это я, я — чиновник магистрата, и, если бы мог, я хотел бы отдать всю эту честь на съедение бюрократам, снующим каждое утро из кабинета в кабинет, чтобы подбирать остатки их завтраков.

5.2. Если я в ближайшее время умру или стану совершенно нежизнеспособен — а вероятность этого велика, так как две последние ночи у меня было сильное кровохарканье, — то могу сказать, что растерзал себя сам. В свое время отец, осыпая меня яростными, но пустыми угрозами, часто говорил: я разделаю тебя, как рыбу, — на деле он меня и пальцем не тронул, но вот теперь, независимо от него, эта угроза осуществляется. Мир (Ф. — его доверенное лицо) и мое «я», войдя в неразрешимое противоречие, разрывают мое тело.

5.3. Я должен был учиться в большом городе. Тетя встречала меня на вокзале. Однажды, когда я с отцом приезжал в город, я ее видел. Я с трудом узнал ее.

5.4. Ворон, сказал я, несчастный старый ворон, что ты все время путаешься у меня под ногами? Куда бы я ни пошел, ты сидишь на дороге и топоришь свои перья. Надоело!

Да, сказал он и, склонив голову, принялся ходить передо мной туда-сюда, как учитель, излагающий материал, это правда, мне самому это уже почти что неудобно.

5.5. Наконец он добрался до города, в котором должен был учиться. Комната была найдена, чемодан распакован, земляк, уже долгое время здесь живший, провел его по городу. Совершенно случайно где-то в конце уходящей вбок улицы возникла знаменитая, изображенная во всех учебниках достопримечательность. От этого зрелища у него перехватило дыхание; земляк только махнул в том направлении рукой.

5.6. Ты старый негодяй, но что бы с тобой было, если бы мы когда-нибудь навели здесь порядок?

Нет-нет, этому я бы очень воспротивился.

Не сомневаюсь. Тем не менее тебя придется убрать.

Я позову моих сородичей.

И этого я ожидал. Их тоже надо будет размазать по стенке.

5.7. Что бы ни затягивало меня в те жернова, которые меня обычно перемалывают, я воспринимаю это как благодеяние — при условии, что это не вызывает слишком уж сильной физической боли.

5.8. Маленькая веранда, вся залитая солнцем; мирно и неумолчно журчит на плотине вода.

5.9.

Ничто не держит меня.

Двери и окна раскрыты.

Террасы пусты и просторны.

5.10. К. был великим фокусником. Программа его была немного однообразна, но, ввиду несомненности достижений, всегда привлекала. То представление, на котором я его впервые увидел, я, естественно, все еще помню во всех подробностях, хотя с тех пор минуло уже двадцать лет, а я был тогда совсем маленьким мальчиком. О его прибытии наш маленький городок не был заранее оповещен, но он назначил выступление прямо на вечер дня своего приезда. В большом банкетном зале нашей гостиницы, вокруг одного стола в центре было освобождено немного места — и этим исчерпывались все театральные приготовления. Насколько я помню, зал был переполнен — впрочем, ребенку кажется переполненным всякий зал, где горят огни, слышится гомон голосов взрослых, бегают взад и вперед официанты и тому подобное; к тому же я не знал, почему на это явно преждевременно устроенное представление пришло так много народу, — во всяком случае, в моих воспоминаниях эта мнимая переполненность зала, естественно, сыграла вне всяких сомнений решающую роль в том впечатлении, которое на меня произвело это представление.

5.11. То, к чему я прикасаюсь, распадается.

5.12.

Минул печальный год,
птичьи крылья обвисли.

Луна в холодные ночи бледнеет,
миндаль и маслины давно созрели.

5.13. Благодеяние лет.

5.14. Он сидел над своими подсчетами. Длинные столбцы. Временами он отворачивался от них и подпирал лицо рукой. Что выходило из этих подсчетов? Печальный, печальный счет.

5.15. Вчера я впервые был в секретариате... [см. прим.]{110}

5.16.

Беги, моя лошадка,
вези меня в пустыню,
все города исчезли, деревни и милые речки,
достопочтенные школы и бесшабашные
бары,
исчезли девичьи лица,
унесенные бурей с востока.

5.17. Собралось очень большое общество, где я никого не знал. Поэтому я решил вначале вести себя совсем тихо, постепенно отыскать тех, с кем мне легче всего будет сойтись, и затем с их помощью влиться в остальное общество. Комната с одним окном была довольно маленькой, но в ней было около двадцати человек. Я встал у раскрытого окна, последовав примеру тех, которые брали со стоящего сбоку столика сигареты и спокойно курили. К сожалению, как я ни прислушивался, я не мог понять, о чем шел разговор. То мне казалось, что говорят об одном мужчине и одной женщине, то об одной женщине и двух мужчинах, но говорили все время об одних и тех же троих лицах, так что только из-за моей несообразительности я все еще не разобрался, о каких лицах шла речь, не говоря уже, естественно, об истории этих лиц. Мне казалось совершенно несомненным, что поднят вопрос о том, заслуживает или не заслуживает одобрения с точки зрения морали поведение этих троих — или, по крайней мере, одного из этих троих. О самой истории, которая всем была известна, в связи с этим вопросом уже не говорили.

5.18. Вечер у реки. Баржа на воде. Садящееся в облаках солнце.

5.19. Он упал прямо передо мной. Говорю вам, он упал передо мной на таком расстоянии, на каком от меня вот этот стол, на который я опираюсь. «Ты с ума сошел?» — закричал я. А было уже далеко за полночь, я возвращался из гостей, мне хотелось еще немного пройтись в одиночестве, и тут передо мной расплывается этот человек. Поднять такого гиганта я не мог, но оставлять его лежать в таком месте, где вокруг не видно ни души, мне тоже не хотелось.

5.20. Грезы проплывают надо мной; усталый и утративший надежды, я лежу в моей постели.

5.21. Я лежал больной. Поскольку болезнь была тяжелой, тюфяки моих сотоварищей вынесли из комнаты, и я дни и ночи лежал один.

5.22. Пока я был здоров, никто обо мне не беспокоился. Нет, в общем-то, я считал это совершенно правильным, я не хочу начинать теперь задним числом на это жаловаться, я хочу только подчеркнуть разницу: стоило мне заболеть, как начались эти посещения больного, они продолжают почти непрерывно и не прекратились до сего дня.

5.23. Он безнадежно плыл в маленькой лодке вокруг мыса Доброй Надежды. Было раннее утро, дул крепкий ветер. Безнадежно поставил

маленький парус и спокойно откинулся назад. Что ему было бояться в маленькой лодке, скользящей благодаря своей ничтожной осадке поверх всех рифов этих опасных вод с проворством живого существа?

5.24. У меня три собаки: Держи, Хватай и Больше-никогда. Держи и Хватай — обычные маленькие крысоловы, и, будь их только две, никто бы не обращал на них внимания. Но с ними еще Больше-никогда. Больше-никогда — это какая-то помесь дога, и у него такой экстерьер, какого, наверное, не получить и при самом тщательном многовековом выведении. Больше-никогда — это какой-то цыган.

5.25. Все мое свободное время — его, вообще говоря, много, но я поневоле вынужден слишком много спать, чтобы прогнать голод — я провожу с Больше-никогда. Лежа на кушетке в стиле мадам Рекамье. — Как эта мебель попала на мою мансарду, я не знаю; может быть, она направлялась в какой-нибудь чулан для старого хлама, но ввиду чрезмерного утомления осталась в моей комнате.

5.26. Больше-никогда придерживался того мнения, что дальше так продолжаться не может и что надо найти какой-то выход. В принципе, и я того же мнения, но веду себя иначе, чем он. Он бегаёт по комнате взад и вперед, временами вспрыгивает на кресло, терзает зубами кусочек колбасы, который я ему подложил, наконец лапой отбрасывает его ко мне и снова принимается бегать кругами.

5.27. А. С какой стороны ни взглянуть, вы затеяли очень трудное и опасное предприятие. Правда, его не следует переоценивать, так как встречаются еще более трудные и опасные. И, может быть, как раз там, где этого не ожидают и потому вступают в дело совершенно наивными и неоснащенными. Я в самом деле так считаю, но, разумеется, не намерен ни отговаривать вас от осуществления ваших планов, ни принижать их. Никоим образом. Ваше дело несомненно потребует много сил — и оно стоит того, чтобы их затратить. Но вы, вообще-то, чувствуете в себе эти силы?

Б. Нет. Этого я не могу сказать. Я не чувствую в себе никаких сил — только пустоту.

5.28. Я въехал верхом через южные ворота. Прямо у ворот был выстроен большой постоялый двор, там я и собирался переночевать. Я отвел моего лошака на конюшню, она была уже почти переполнена ездовыми животными, но я все же нашел одно надежное местечко. Затем я поднялся на галерею, расстелил мое одеяло и лег спать.

5.29. Милая змея, почему ты так далеко от меня, подползай ближе, еще ближе — хватит, дальше не надо, оставайся там. Ах, для тебя не существует никаких границ. Как прикажешь добиться власти над тобой, когда ты не признаешь никаких границ? Это будет нелегкой работой. Я начну с того, что попрошу тебя свернуться в клубок. Я сказал, свернуться клубком, а ты стоишь торчком. Ты что, не понимаешь меня? Ты не понимаешь меня. Но я ведь очень понятно говорю: свернуться в клубок! Нет, ты не улавливаешь. Ну, тогда я покажу тебе вот здесь палкой. Сначала ты должна описать большой круг, затем, внутри, вплотную к нему, — второй и так далее. Если в конце у тебя еще останется сверху головка, то она медленно опустится под мелодию флейты, на которой я позднее заиграю, а когда я закончу, ты тоже должна затихнуть, уложив голову в самый внутренний круг.

5.30. Меня подвели к моей лошади, но я был еще очень слаб. Я взглянул на это стройное, подрагивавшее в лихорадке жизни животное.

— Это не моя лошадь, — сказал я, когда слуга на постоялом дворе подвел мне утром лошадь.

— Ваша лошадь была сегодня ночью единственной в нашей конюшне, — сказал слуга и, усмехаясь — или, если угодно, упрямо усмехаясь — посмотрел на меня.

— Нет, — сказал я, — это не моя лошадь.

Дорожный мешок выскользнул у меня из рук, я повернулся и пошел вверх в комнату, которую только что покинул.{111}

Шестая тетрадь

6.1. Наверное, я все-таки должен был раньше поинтересоваться, как обстоит с этой лестницей, какие тут имеются закономерности, чего здесь следует ожидать и как к этому относиться. Но ты же никогда об этой лестнице не слышал, сказал я себе в оправдание, а ведь в газетах и книгах разбирают по косточкам все, что хоть каким-то образом существует. Но об этой лестнице ничего не было. Могло быть, ответил я сам себе, ведь ты же невнимательно читал. Ты часто бывал рассеян, пропускал целые абзацы или даже ограничивался заголовками; возможно, там упоминалась и эта лестница, но ты это пропустил. А теперь тебе понадобится именно то, что ты пропустил. На мгновение я остановился, обдумывая это возражение. И тут я, как мне показалось, смог вспомнить, что однажды в одной детской книжке я вроде бы что-то прочел о какой-то похожей лестнице. Там было не много, скорей всего, — только упоминание о ее существовании, это никак не могло мне помочь.

6.2. Когда одна маленькая мышь, которую в мышинном мире любили как никакую другую, однажды ночью попала в мышеловку и с воплем отдала жизнь за то, чтобы взглянуть на сало, все мыши округи содрогнулись в своих норах, их прошиб озноб, непроизвольно моргая, они переглядывались друг с другом по цепочке, в то время как их хвосты с бессмысленным усердием мели по полу. Затем нерешительно, подталкивая одна другую, они выбрались из нор; все потянулось к месту гибели. Там она лежала, маленькая милая мышь, с железом в затылке, с вдавленными розовыми лапками и окоченевшим слабым тельцем, которому так бы надо было позволить немножко сала. Рядом стояли родители, перед их глазами были останки их ребенка.

6.3. Однажды зимним вечером после разных деловых неприятностей мое дело показалось мне — у каждого торговца бывают подобные моменты — таким отвратительным, что я решил тут же закрыться на этот день, несмотря на то, что было еще рано и по-зимнему светло. Такие добровольные решения всегда приводят к хорошим последствиям...

6.4. Вскоре после начала своего правления, еще до объявления обычной в таких случаях амнистии, юный князь посетил тюрьму. Между прочим он, как и ожидали, поинтересовался узником, содержащимся в этой тюрьме дольше всех. Это был человек, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей жены и проведенный в тюрьме уже двадцать три года. Князя, пожелавшего его увидеть, провели в камеру; заключенного на этот день из предосторожности заковали в цепи.

6.5. Вечером, вернувшись домой, я обнаружил посреди комнаты какое-то большое, какое-то громадное яйцо. Оно было высотой почти со стол и соответственного поперечника. Яйцо слегка покачивалось из стороны в сторону. Мне стало страшно любопытно, я обхватил это яйцо ногами и осторожно разрезал его перочинным ножом надвое. Скорлупа, комкаясь, распалась, и из нее, хлопая по воздуху слишком короткими, еще не оперившимися крыльями, выскочила какая-то похожая на аиста птица. «Что тебе в нашем мире?» — захотелось мне спросить; я присел перед птицей на корточки и заглянул в ее испуганно мигавшие глаза. Но она, оставив меня, запрыгала, словно на больших ногах, вдоль стены, пытаясь вспорхнуть. «Один помогает другому», — подумал я, развернул на столе принесенную к ужину еду и кивнул птице, которая уже успела запустить клюв в мои книги и что-то там долбила. Она тут же подошла ко мне, уселась — явно уже имея какой-то навык — на стул и начала, со свистом втягивая воздух, обнюхивать кусочек колбасы, который я положил перед ней, но затем, едва лишь наколов его, тут же и сбросила. «Ошибка, — подумал я, — Естественно, только что вылупившись из яйца, не начинают сразу с колбасы. Тут бы нужен был женский опыт». И я пристально всмотрелся в нее, пытаясь внешним осмотром определить, может быть, какие-то пищевые запросы. Потом меня осенило: «Если она из семейства аистов, то ей наверняка должна нравиться рыба. Ну что ж, я готов обеспечить ее даже рыбой. Разумеется, не даром. Мои средства не позволяют мне держать домашнюю птицу. Так что если я пойду на такие жертвы, то я хочу получить и какую-то равноценную в смысле жизнеобеспечения, какую-то жизненно важную услугу. Раз она аист, так пусть тогда она, когда вырастет и откормится на моей рыбе, возьмет меня с собой в теплые края. Меня давно уже туда тянет, и только из-за отсутствия крыльев аиста я это до сих пор откладывал». Тут же взяв бумагу и чернила, я обмакнул в чернила клюв птицы и написал, не встречая при этом никакого сопротивления с ее стороны, следующее: «Я, аистоподобная птица, в случае, если ты выкормишь меня рыбой, лягушками и червяками (эти два последние продукта питания я добавил ради удешевления) до состояния оперенности, обязуюсь отнести тебя на своей спине в теплые края». Затем я вытер ей клюв и еще раз поднес птице бумагу к глазам, прежде чем сложить лист и спрятать в бумажник. А затем сразу же побежал за рыбой; в этот раз мне пришлось дорого за нее заплатить, однако на будущее торговец обещал постоянно и в изобилии снабжать меня испорченной рыбой и червяками по дешевой цене. Может быть, это путешествие на юг обойдется мне совсем не так уж дорого. И мне было приятно видеть, как нравится птице то, что я принес. Рыба заглатывалась с бульканьем и заполняла розоватый животик. Развитие птицы прогрессировало день ото дня — несравнимо с человеческими детенышами. И хотя невыносимая вонь тухлой рыбы уже не уходила из моей комнаты и нелегко было повсюду находить и постоянно убирать птичий помет, — к тому же зимний холод и дороговизна угля не позволяли осуществлять крайне необходимое проветривание, — какое все это имело значение: настанет весна, и по свежему воздуху я поплыву к сияющему югу. Крылья росли и покрывались перьями, мускулы крепили, пора было начинать летную подготовку. К сожалению, не было аистихи-матери, и не будь птенец таким послушным, моих уроков могло бы, пожалуй, оказаться недостаточно. Но птица явно понимала, что должна предельной внимательностью и крайним напряжением компенсировать отсутствие у меня педагогических способностей. Мы начали с планирования. Я тянулся вверх, она повторяла за мной; я прыгал, раскинув руки, вперед-вниз, она порхала следом. Позднее мы перешли на стол и, наконец, на шкаф, причем всякий раз все полеты систематически и многократно повторялись.

6.6. Мучитель.

Мучитель живет в лесу. В одной давно заброшенной хижине, оставшейся с давних угольных времен. Когда в нееходишь, ощущаешь только неистребимый затхлый дух, больше ничего. Меньше самой маленькой мыши, невидимый, даже если приблизить к нему глаз, мучитель сидит, сжавшись в углу. Ничего, совершенно ничего нельзя заметить, в пустом оконном проеме спокойно шумит лес. Как здесь пусто и как это кстати для тебя. Вот здесь, в этом углу ты будешь спать. Почему не в лесу, не на свежем воздухе? Потому что ты теперь уже здесь, под защитой этой хижины, хотя ее дверь давно уже сорвали с петель и унесли. Но ты все-таки еще шаришь рукой в воздухе, словно желая закрыть эту дверь, и затем ложишься.

6.7. В конце концов я вскочил из-за стола и ударом кулака разбил лампу. Тут же вошел слуга с фонарем, поклонился и придержал передо мной дверь. Я торопливо спустился из моей комнаты вниз, слуга шел следом. Внизу другой слуга укутал меня в шубу; поскольку я, словно бы обессилев, не возражал, он сделал уже больше, чем должен был: поднял меховой воротник шубы и застегнул ее у меня под подбородком. Это нужно было сделать: мороз был убийственный. Я влез в ожидавшие просторные сани, был тепло укрыт множеством одеял, и под веселый перезвон поездка началась.

— Фридрих, — услышал я шепот из угла.

— Ты здесь, Альма? — сказал я и протянул ей правую руку в толстой рукавице.

Было произнесено еще несколько слов удовлетворения по поводу встречи, и затем мы замолчали, так как из-за бешеной скачки перехватывало дыхание. Я уже задремал, забыв о своей соседке, когда мы остановились перед трактиром. У дверцы саней стоял хозяин, рядом с ним — мои слуги; все вытянули шеи, готовые исполнить любое мое приказание. Но я только наклонился из саней и крикнул:

— Что вы тут стоите, вперед, вперед, никаких остановок! — и какой-то палкой, оказавшейся под рукой, ткнул кучера.{112}

Седьмая тетрадь

7.1. Ненарушимый сон. Она бежала по дороге, я не видел ее, я только замечал, как ее на бегу шатает, как летит ее покрывало, как поднимается ее нога, я сидел на обочине дороги и смотрел в воду маленького ручейка. Она пробежала через деревни, дети стояли в дверях, смотрели ей навстречу и смотрели ей вслед.{113}

7.2. Разорванный сон. Согласно капризу одного прежнего князя, в мавзолее непосредственно возле саркофагов должен был дежурить сторож. Разумные люди высказывались против этого, но в конце концов такую мелочь стесненному во многих других отношениях князю уступили. На это место попросился инвалид одной из войн прошлого столетия, вдовец и отец троих детей, павших в последнюю войну. Он был принят, и старый придворный чиновник повел его в мавзолей. За ними следовала прачка, нагруженная разными предназначенными для сторожа вещами. Вплоть до начала аллеи, которая вела далее прямо к мавзолею, инвалид, несмотря на свой протез, не отставал от чиновника, но тут он немного замешкался, закашлял и начал потирать левую ногу.

— Ну, Фридрих, — сказал чиновник, который вместе с прачкой ушел несколько вперед и теперь обернулся.

— Да ногу заломило, — сказал инвалид, скорчив гримасу, — секундочку терпения, это обычно сразу проходит.

7.3. Рассказ деда.

Во времена покойного князя Лео V я был сторожем мавзолея во Фридрихспарке. Естественно, я не сразу стал сторожем мавзолея. Я еще очень хорошо помню, как я, рассыльный с княжеской молочной фермы, должен был в первый раз нести вечером молоко страже мавзолея. «О, — думал я, — страже мавзолея!» Разве кто-нибудь на самом деле знает, что такое мавзолей? Я был сторожем мавзолея и, значит, должен был бы это знать, но даже я, по сути дела, этого не знаю. И вы, слушающие мою историю, поймете в конце, что и вы, даже если думаете, что знаете, что такое мавзолей, должны признать, что вы — что и вы этого уже не знаете. Но тогда я об этом мало задумывался, я был просто беспредельно горд тем, что меня послали к страже мавзолея. И я сразу же помчался со своим молочным ведром сквозь туман луговых тропинок, которые вели к Фридрихспарку. Перед золотыми решетчатыми воротами я отряхнул куртку, почистил сапоги, вытер росу с ведра, потом позвонил и, прижавшись лбом к прутьям решетки, напряженно ждал, что теперь будет. Сторожка стояла среди кустов как бы на небольшом возвышении; из открывшейся дверки упал свет, и какая-то совсем старая баба, после того как я сообщил, кто я, и в доказательство истинности своих слов показал ведро, открыла ворота. Затем мне пришлось идти впереди нее, но точно так же медленно, как шла эта женщина; идти было очень неудобно, потому что она крепко держала меня сзади и на этом коротком отрезке пути два раза останавливалась перевести дух. Наверху на каменной скамейке возле двери сидел, закинув ногу на ногу, скрестив на груди руки и прислонив голову к стене, гигантского роста мужчина; взгляд его был устремлен на росший прямо перед ним куст, который заслонял ему весь обзор. Я с невольным вопросом взглянул на женщину.

— Это мамлюк, — сказала он, — ты не знал?

Я покачал головой и еще раз с удивлением посмотрел на этого человека, в особенности на его высокую баранью шапку, но тут старуха потащила меня в дом. В маленькой комнатке за столом, очень аккуратно заполненном книгами, под колоколом абажура настольной лампы сидел старый бородатый человек в халате и смотрел в мою сторону. Я, естественно, решил, что не туда попал, повернулся и хотел выйти из комнаты, но старуха загородила мне дорогу и сказала господину:

— Новый разносчик молока.

— Иди-ка сюда, карапуз, — сказал господин и засмеялся.

Потом я сидел на маленькой скамеечке у его стола, а он придвигал свое лицо совсем близко к моему. К сожалению, вследствие приветливого обращения я несколько обнаглел.

7.4. На чердаке.

У детей была тайна. На чердаке, в дальнем углу, среди хлама целого столетия, куда ни один взрослый уже не мог пробраться, сын адвоката Ганс обнаружил какого-то чужого мужчину. Он сидел в шкафу, лежавшем у стены плашмя. При виде Ганса на лице мужчины не отразилось ни страха, ни удивления — только тупость; ясным взглядом он смотрел в глаза Ганса. На голове его была большая круглая низко надвинутая на лоб баранья шапка. Густая жесткая борода топорщилась. Одет он был в широкое бурое пальто, схваченное крепкими ремнями, напоминавшими лошадиную сбрую. На коленях у него лежала короткая кривая сабля в тускло поблескивавших ножнах, на ногах были высокие сапоги со шпорами; одна нога стояла на опрокинутой винной бутылке, другая, почти выпрямленная, — на полу, пяткой и шпорой врезаясь в дерево.

— Убирайся! — закричал Ганс, когда мужчина медленной рукой хотел схватить его; убежав далеко в новые части чердака, Ганс остановился только тогда, когда получил мокрый шлепок по лицу повешенным там на просушку бельем. И все-таки он тогда сразу вернулся назад. Чужой сидел с несколько презрительно выпяченной губой и не шевелился. Осторожно подкрадываясь, Ганс проверил, не является ли эта неподвижность уловкой. Но чужой, кажется, в самом деле ничего плохого не замышлял, он просто сидел там и был совсем слабый, от этой явной слабости его голова чуть заметно дрожала. Так что Ганс осмелился сдвинуть в сторону старый дырявый каминный экран, который еще отделял его от этого чужого, подойти к нему совсем близко и в конце концов даже его потрогать.

— Какой ты пыльный! — удивленно сказал он и отдернул почерневшую руку.

— Да, пыльный, — сказал чужой и больше ничего не сказал.

У него было такое необычное произношение, что Ганс понял его слова, только когда они уже отзвучали.

— Я Ганс, — сказал он, — сын адвоката, а ты кто?

— Вот как, — сказал чужой, — я тоже Ганс. Ганс Шлаг меня зовут, я баденский егерь, родом из Касгартена на Неккаре.

— Егерь? Ты ходишь на охоту? — спросил Ганс.

— Ах, ты еще маленький мальчик, — сказал чужой, — и зачем ты так раскрываешь рот, когда говоришь?

На эту ошибку Гансу часто пенял и адвокат, но егеря в таком недостатке упрекнуть было нельзя, его едва можно было понять, и ему следовало бы очень порекомендовать пошире раскрывать рот.

7.5. Разлад между Гансом и отцом, существовавший с давних пор, после смерти матери дал такую вспышку, что Ганс вышел из дела отца, уехал за границу, тут же, словно бы в какой-то рассеянности, занял случайно подвернувшуюся маленькую должность и от любых сношений с отцом — будь то посредством писем или через знакомых — уклонялся так успешно, что о смерти отца от сердечного приступа,

последовавшей примерно через два года после его отъезда, узнал только из письма старого адвоката, объявлявшего его душеприказчиком. Ганс как раз стоял за витриной суконной лавки, в которой работал продавцом, и смотрел на дождь, заливавший рыночную площадь маленького провинциального городка, когда со стороны церкви подошел почтальон. Он вручил письмо неповоротливой, вечно чем-то недовольной хозяйке, сидевшей в глубине лавки на высоком мягком стуле, и ушел. Слабый звук зазвеневшего дверного колокольчика словно разбудил Ганса, он оглянулся и только тогда увидел, как хозяйка приближает свое усатое, обмотанное черным платком лицо вплотную к конверту. В таких случаях Гансу всегда казалось, что вот сейчас у нее вывалится язык, и вместо того чтобы читать письмо, она начнет по-собачьи его лизать. Колокольчик еще раз слабо звякнул вдогонку, и хозяйка сказала:

— Вам тут письмо пришло.

— Нет, — сказал Ганс и не двинулся от окна.

— Странный вы человек, Ганс, — сказала женщина, — тут же ясно написано ваше имя.

В письме говорилось, что хотя Ганс объявлялся единственным наследником, но наследство было настолько обременено долгами и завещаниями, что ему, как он понял уже по прикидочной оценке, едва ли останется что-то, кроме родительского дома. Наследство небогатое: простая одноэтажная старая постройка, но Ганс был очень привязан к дому, а кроме того, теперь, после смерти отца, его уже ничто здесь, на чужбине, не удерживало, и напротив, ведение наследственных дел настоятельно требовало его присутствия, поэтому он сразу же освободился от своих обязательств, что не составило труда, и поехал домой.

Ганс подъехал к родительскому дому поздним декабрьским вечером; все вокруг было занесено снегом. Домоправитель, ожидавший его, вышел из ворот, опираясь на руку дочери; это был дряхлый старик, он служил еще деду Ганса. Они приветствовали друг друга, но не слишком сердечно, так как Ганс всегда видел в домоправителе лишь ограниченного тирана своих детских лет, и униженность, с которой тот теперь к нему приближался, была ему неприятна. Тем не менее дочери, которая несла за Гансом по крутой узкой лестнице его багаж, он сказал, что содержание, назначенное ее отцу, не будет ни в малейшей мере изменено, независимо от того, что он получит по завещанию. Дочь со слезами на глазах поблагодарила его и призналась, что это устраняет главную заботу ее отца, которая с самой смерти покойного господина почти не давала отцу спать. Только теперь, после ее благодарности, до сознания Ганса дошло, какие неприятности в связи с этим наследством у него возникают и еще могут возникнуть в будущем. Тем больше радовался он приближению момента, когда останется один в своей старой комнате, и, предвкушая его, ласково гладил кота, который первым незамутненным воспоминанием прежних времен терся об него всем своим телом. Но Ганса провели не в его комнату, которую по распоряжению в его письме должны были для него приготовить, а в бывшую спальню отца. Он спросил, в чем дело. Девушка стояла перед ним, все еще тяжело дыша после переноски тяжестей; она выросла и окрепла за эти два года, и у нее были поразительно ясные глаза. Она просила прощения. Дело было в том, что в комнате Ганса расположился его дядя Теодор, и они не хотели беспокоить старого господина, тем более, что эта комната ведь больше и удобнее... Известие о том, что дядя Теодор живет здесь, в доме, было для Ганса новостью.

Восьмая тетрадь

8.1. Я привык во всем доверять моему кучеру. Когда мы уперлись в высокую белую стену, постепенно закругляющуюся вверху и с боков и загораживавшую проезд, мы поехали вдоль этой стены, ощупывая ее, и, наконец, кучер сказал: «Это — лоб».{114}

8.2. Мы организовали маленькую рыбалку, построили хижину у моря.

8.3. Меня узнают незнакомые люди. Недавно во время одной небольшой поездки я с трудом протискивался со своим саквояжем по коридору переполненного вагона. И тут из полутьмы одного купе меня окликает явно совершенно незнакомый мне человек и предлагает занять его место.

8.4. Работа как радость; психологам недоступно.

8.5. Мутит: перебрал психологии. Тот, у кого хорошие ноги, может, если его выпустить в психологию, за короткое время пройти дистанцию любыми зигзагами, как ни на каком другом поле. Просто глаза на лоб лезут.

8.6. Я вырос в пустынном уголке земли. Почему я не в лучшей земле, я не знаю. Разве я не достоин? Этого нельзя сказать. Пышнее меня нигде не выростал ни один куст.

8.7. О еврейском театре.

Я не собираюсь заниматься здесь цифрами и статистикой, я оставляю их историкам еврейского театра. Мое намерение очень просто: я хочу представить несколько страниц воспоминаний о еврейском театре, о его драмах, его артистах, его зрителях, — представить то, что я в течение более чем десяти лет видел, изучал, в чем сам участвовал, или, другими словами, поднять занавес и обнажить рану. Только распознав болезнь, можно найти лекарство и, быть может, создать истинно еврейский театр.

1

Для моих набожных родителей, варшавских хасидов, театр, естественно, был таким же «трефным», как и «хазер». Театр бывал только на Пурим, потому что тогда мой кузен Хаскель наклеивал на свою маленькую светлую бородку огромную черную бороду, выворачивал наизнанку кафтан и изображал веселого еврея-торговца, — я не мог оторвать от него своих маленьких детских глаз. Он был самым любимым из моих двоюродных братьев, его пример не давал мне покоя; мне не было еще и восьми лет, а я, подражая кузену Хаскелю, уже играл в хедере. Когда ребе уходил, в хедере регулярно устраивался театр, в котором я был директором, режиссером, короче — всем, зато и от ребе мне потом доставалось больше всех. Нас это, однако, не останавливало; ребе нас лупил, но мы все равно каждый день выдумывали новые представления. И целый год я жил одной молитвой и надеждой: настанет Пурим, и я снова смогу увидеть, как переодевается в маскарадный костюм мой кузен Хаскель. В том, что потом, когда вырасту, я тоже буду на каждый Пурим переодеваться, петь и плясать, как кузен Хаскель, у меня сомнений не было.

Но о том, что рядиться можно не только на Пурим и что есть много других таких артистов, как мой кузен Хаскель, я, разумеется, даже не догадывался. Не догадывался до тех пор, пока не услышал от сына Израэля Фельдшера, что действительно существует театр, где играют, и поют, и переодеваются не только на Пурим, а каждый вечер, что такие театры есть и в Варшаве и что его отец уже несколько раз брал его с собой в театр. Меня — а мне было тогда примерно лет десять — эта новость буквально наэлектризовала. Тайное желание, о существовании которого я никогда не подозревал, захватило меня. Я считал дни, которые еще должны пройти до того, как я повзрослею и смогу, наконец, сам увидеть театр. Я тогда еще даже не знал, что театр — это запретное и греховное дело.

Вскоре я узнал, что напротив ратуши помещается «Большой театр» — самый лучший, самый красивый во всей Варшаве, да и во всем мире. С этого момента уже внешний вид здания буквально ослеплял меня, когда я проходил мимо театра. Но стоило мне дома однажды поинтересоваться, когда мы уже, наконец, пойдем в Большой театр, как на меня тут же накричали: еврейский ребенок не должен ничего знать о театре, это не разрешено, театр существует только для гоев и грешников. Ответ меня удовлетворил, я больше уже ничего не спрашивал, но лишился покоя и очень боялся того, что когда-нибудь обязательно совершу этот грех и, когда стану старше, все-таки непременно пойду в театр.

Однажды вечером после Иом Кипура я с двумя кузенами проезжал мимо Большого театра; на улице у входа было множество людей, я просто не мог оторвать глаз от этого «нечистого» театра, и кузен Майер спросил: «Ты бы тоже хотел быть там, наверху?» Я промолчал. Мое молчание ему, по всей вероятности, не понравилось, и поэтому он прибавил: «Сейчас, детка, там нет ни одного еврея — Боже сохрани! Вечером, сразу после Иом Кипура, даже самый последний еврей не пойдет в театр». Из этих слов я, однако, извлек лишь то, что хотя, выйдя после святого Иом Кипура, ни один еврей в театр не пойдет, но в обычные вечера на протяжении всего года многие евреи, по-видимому, туда ходят.

На четырнадцатом году моей жизни я впервые побывал в Большом. Как ни мало я усвоил язык страны, афиши читать я мог, и однажды я прочитал на них, что будут давать «Гугенотов». Об этих «Гугенотах» уже говорили в нашем «монастыре», к тому же написал их еврей «Мейер Бер», так что я сам дал себе разрешение, купил билет и вечером впервые в жизни оказался в театре.

Что я тогда увидел и почувствовал, к моей теме не относится, скажу только одно: я пришел к убеждению, что там пели лучше, чем кузен Хаскель, и костюмы были тоже намного лучше, чем у него. И еще одно удивление, которое я вынес со спектакля: балетную музыку «Гугенотов» я, оказывается, давно уже знал, ведь на эти мелодии пели в «монастыре» «Леха Доди» по пятницам вечером перед шабатом. И я не мог тогда уяснить себе, как это возможно, что в Большом театре играют то, что уже так давно поют в «монастыре».

С тех пор я стал в опере частым гостем. Я только не должен был забывать покупать на каждое представление воротничок и пару манжет, а по дороге домой выкидывать их в Вислу. Мои родители не должны были видеть таких вещей. В то время как я наслаждался «Вильгельмом Теллем» или «Аидой», мои родители пребывали в твердой уверенности, что я сижу в «монастыре» над фолиантами талмуда и штудирую Священное Писание.

2

Спустя некоторое время я узнал, что существует и еврейский театр. Но как ни хотелось мне пойти туда, я не осмеливался, так как это очень легко могло стать известно моим родителям. Напротив, на оперы в Большой я ходил часто, а позднее — и в польский драматический. Там я впервые посмотрел «Разбойников». Меня страшно поразило, что можно создать такой замечательный театр без пения и музыки — никогда бы этого не подумал, — и, как ни странно, я не разозлился на Франца, наоборот, он произвел на меня наибольшее впечатление, я хотел бы играть его, а не Карла.

Среди товарищей в «монастыре» я был единственным, кто осмеливался ходить в театр. А в остальном, мы, ребята из «монастыря», были уже знакомы со всеми «просвещающими книгами»; я тогда впервые прочел Шекспира, Шиллера, лорда Байрона. Правда, из книг еврейских авторов мне в руки попадали только большие криминальные романы на полунемецком-полуидиш, которыми нас снабжала Америка.

Прошло немного времени, и я уже не находил себе места: в Варшаве есть еврейский театр, а я не могу в него сходить? И я рискнул, бросил все на билетную карту и пошел в еврейский театр.

И это все во мне перевернуло. Еще до начала спектакля я почувствовал себя совершенно иначе, чем у «тех». Прежде всего никаких господ во фраках, никаких дам в декольте, никакого польского и никакого русского — одни евреи всех мастей в обычной городской одежде, долгополые, короткополые, женщины, девушки. Все громко и без стеснения говорили на родном языке, я в своем длинном кафтанчике никому не бросался в глаза, мне несколько не приходилось стыдиться за себя.

Давали комическую драму с пением и танцами в шести актах и десяти картинах «Бал-Чуве из Шумора». Начали не так точно в восемь, как в польском театре, а лишь где-то около девяти и закончили лишь далеко за полночь. Любовник и интриган говорили на «литературном немецком», и я был потрясен тем, что сразу — не имея даже понятия о немецком языке — смог так хорошо понять такой превосходный немецкий. А на идиш говорили только комик и субретка.

В общем, мне это понравилось больше, чем опера, драмтеатр и оперетта вместе взятые. Потому что, во-первых, это все-таки было на еврейском, правда на немецко-еврейском, но все же на еврейском, на лучшем, на более красивом идиш, и, во-вторых, тут ведь было всё вместе: драма, трагедия, пение, комедия, танец — всё вместе, — жизнь! От возбуждения я не спал всю ночь; сердце говорило мне, что когда-нибудь и я буду служить в храме еврейского искусства, что и мне суждено стать еврейским актером.

Но на следующий день, вечером, отец отправил детей в соседнюю комнату, велел остаться только мне и матери. Инстинктивно я почувствовал, что эта «каша» заваривается для меня. Отец уже не садится, он все время ходит по комнате взад и вперед, теребя свою маленькую черную бороду, и говорит, обращаясь не ко мне, а только к матери:

— Ты должна знать, он становится хуже день ото дня, вчера его видели в еврейском театре.

Мать испуганно всплескивает руками, отец, совершенно белый, беспрерывно ходит по комнате взад и вперед, у меня сжимается сердце, я сижу, как приговоренный, я не могу видеть эту боль моих дорогих, набожных родителей. Мне уже не вспомнить сегодня, что я тогда говорил, помню только, что после нескольких минут подавленного молчания отец поднял на меня свои большие черные глаза и сказал:

— Подумай, дитя мое, это заведет тебя далеко, очень далеко.

И он был прав.{115}

8.8. В конце концов в трактире остался, кроме меня, еще только один посетитель. Хозяин собрался закрывать и попросил меня расплатиться.

— Там еще один сидит, — сказал я брюзгливо, так как понимал, что уже пора, но не имел никакого желания ни уходить отсюда, ни вообще идти куда бы то ни было.

— С этим сложности, — сказал хозяин, — не могу объясниться с человеком. Вы мне не поможете?

— Эй! — крикнул я сквозь сложенные рупором ладони, но человек не пошевелился и так же спокойно, как до этого, продолжал смотреть, наклонив голову, на пиво в своем стакане.

8.9. Была уже поздняя ночь, когда я позвонил у ворот. Прошло немало времени, пока не появился — явно из глубины двора — кастелян и не открыл мне.{116}

8.10. — Господин просит пожаловать, — сказал слуга, склонился и бесшумным толчком отворил высокую стеклянную дверь.

Граф чуть ли не бегом спешил мне навстречу от своего письменного стола, стоявшего у открытого окна. Мы взглянули друг другу в глаза, его жесткий взгляд неприятно поразил меня.

8.11. Я лежал на земле под стеной и корчился от боли, мне хотелось завернуться в эту влажную землю. Егерь стоял около меня, слегка наступив мне одной ногой на поясницу.

— Порядочная туша, — сказал он загонщику, разрезавшему на мне воротник и куртку, чтобы ощупать меня.

Уже утомившиеся мной и жаждавшие новых дел собаки бессмысленно насакивали на стену. Подъехала повозка; связанный по рукам и ногам, я был брошен на заднее сиденье к господину так, что мои голова и руки свешивались наружу. Ехали весело; умирая от жажды, я хватал раскрытым ртом высоко клубившуюся пыль; время от времени я слышал на своих икрах радостные пожатия господина.

8.12. Кого несую я на моих плечах? Что за призраки повисли на мне?

8.13. Был ненастный вечер; я увидел, как из кустов выбирается маленький дух.

Ворота захлопнулись, и я остался с ним с глазу на глаз.

8.14. Лампа разлетелась на куски, вошел незнакомый мужчина с новым светильником, я встал, вместе со мной поднялись мои домочадцы, мы поклонились, на это не обратили внимания.

8.15. Разбойники связали меня, и я лежал там, неподалеку от костра атамана.

8.16. Пустые поля, пустые пространства, сквозь туман — бледная зелень луны.

8.17. Он покидает дом, он оказывается на улице, лошадь готова, слуга держит стремя, он скачет в гулкой пустоте.

ФРАГМЕНТЫ. НАБРОСКИ. ПИСЬМА

Фрагменты из тетрадей и с разрозненных листов

1. В школе меня считали глупым, но не самым глупым. И если некоторые учителя тем не менее уверяли моих родителей в последнем, то делали это в ослеплении, свойственном многим людям, ощущающим себя повелителями мира, поскольку они способны выносить такие предельно суровые приговоры.

Но глупость моя была общепризнанна, и для этого действительно имелись веские основания, на которые легко можно было указать, если бы, скажем, нужно было проинформировать обо мне какого-нибудь постороннего, получившего не совсем обычное первое впечатление от меня и не пожелавшего скрыть это от других.

Тогда это часто заставляло меня злиться и плакать. Только в такие мгновения я испытывал неуверенность перед трудностями настоящего и страх перед трудностями будущего; правда, и неуверенность, и страх были теоретическими, ибо когда доходило до дела, у меня тут же появлялись и уверенность, и бесстрашие, то есть все было почти как у актера, с разбегу выскакивающего из-за кулис и, далеко не дойдя до середины сцены, на мгновение останавливающегося, приложив, как я, руки ко лбу, в то время как страсть, которая должна быть явлена непосредственно вслед за этим, разрастается в нем так, что он не может ее скрыть, как ни щурит глаза и как ни кусает губы. Эта наполовину прошедшая неуверенность настоящего поддерживает возникающую страсть, а страсть усиливает неуверенность. И безостановочно образуется новая неуверенность, охватывающая и старую, и эту страсть, и нас самих. Поэтому знакомства с новыми людьми меня удручали. Меня беспокоило, даже когда некоторые бросали взгляд на мой нос — так, как из какого-

нибудь маленького домика смотря в подзорную трубу на море, или на горный хребет, или даже в пустое пространство. И тогда звучали смехотворные утверждения, статистические бредни, географические ошибки, лжеучения, столь же бессмысленные, сколь и непозволительные — или разумные политические воззрения, заслуживающие внимания мнения о текущих событиях, похвальные догадки, почти одинаково поражавшие и общество, и оратора, и это подтверждалось опять-таки взглядами, руками, хватавшимися за край стола, и вскакиваниями со стульев. Но когда они начинали все это проделывать, они сразу же переставали пристально и строго смотреть на говорящего, ибо их туловища самопроизвольно меняли привычное положение, отклоняясь вперед или назад. Некоторые буквально забывали о своей одежде (сгибали под острым углом колени, упираясь в пол только носками штиблет, или с силой сжимали на груди пиджаки, комкая матерью), другие — нет; многие начинали вертеть в пальцах пенсне, веер, карандаш, лорнет, сигарету, и у большинства, даже если у них была толстая кожа, все-таки краснели лица. Их взгляды соскальзывали с нас, как падает вниз поднятая рука.

Я погружался в обычное для меня состояние, я мог выбирать: подождать, чтобы потом слушать их, или уйти и лечь спать, к чему я всегда был расположен, ибо часто в силу своей робости чувствовал сонливость. Это было похоже на большой перерыв между танцами, в который лишь немногие решаются уйти, а большинство стоят или сидят там и сям, пока музыканты, о которых никто не думает, где-то подкрепляются, перед тем как продолжить играть. Но не было того спокойствия, при котором каждый должен был заметить этот перерыв: в зале одновременно шло много балов. Мог ли я уйти, когда кто-то благодаря мне, благодаря какому-то воспоминанию, благодаря многому другому и, в сущности, благодаря всему тому, что связано со мной, был — пусть даже немного — взволнован и теперь только переживал все это волнение с самого начала, тронутый, быть может, каким-то рассказом или какой-то патриотической идеей? Его глаза и даже все его тело вместе с надетым на него платьем темнели, и слова пресекались... [отсутствуют приблизительно две страницы].

И сквозь это все я еще чувствовал страх, — страх перед человеком, которому я, не испытывая решительно никаких чувств, протянул руку, имени которого я, возможно, не узнал бы, если бы кто-то из друзей не окликнул его, и напротив которого я в конце концов сидел часами, будучи совершенно спокойным и лишь немного утомленным — как это обычно бывает с юношами — взглядами взрослого, которые, собственно говоря, редко были обращены только ко мне.

Положим, несколько раз я встречался с ним глазами и, не будучи ничем занят, так как никто меня не замечал, пытался подольше задержать взгляд его добрых голубых глаз, невзирая даже на то... что тем самым буквально исключал себя из общества. И если это не удавалось, то это точно так же ничего не доказывало, как и сам факт такой попытки. Хорошо, это мне не удавалось, эту неспособность я проявил сразу, с самого начала, и позднее тоже ни на миг не мог ее скрыть, но ведь и ноги неловкого конькобежца тоже вечно разъезжаются в разные стороны и не стоят на льду. Если бы был кто-нибудь в иных отношениях умелый... [пропуск] и кто-нибудь мудрый, кто не стоял бы ни впереди, ни позади, ни возле этой сотни — так, чтобы его сразу и легко можно было заметить, а находился среди других — так, чтобы его можно было увидеть только с очень высокого места, да и тогда — увидеть только как он исчезает.

Так отозвался обо мне мой отец, который был весьма почитаем в моем отечестве и достиг больших успехов, особенно в области политики. Я случайно услышал это высказывание, когда, не закрыв дверь, читал в своей комнате какую-то книгу про индейцев — мне было, наверное, лет семнадцать. Я обратил внимание на эти слова и запомнил их, но они не произвели на меня ни малейшего впечатления. Вообще, на молодых людей какие-то общие суждения о них в большинстве случаев не оказывают никакого влияния. Ибо они либо еще целиком погружены в себя, либо постоянно отбрасываются в себя, и их существо звучит в них громко и сильно, как полковая музыка. Общее же суждение исходит из неизвестных им предпосылок, делается с неизвестными намерениями и из-за этого ни с какой стороны не доступно; оно появляется, как гуляющий на необитаемом острове, где нет ни лодок, ни мостов; музыка слышится, но не будет услышана. Этим, однако, я не хочу опрокинуть логику молодых людей...

2. Всякий человек своеобразен и, в силу этого своеобразия, призван воздействовать на других, но он должен находить вкус в собственном своеобразии. Насколько я могу судить, как школа, так и семья прилагают усилия к стиранию всякого своеобразия. Этим облегчают работу воспитания, но этим облегчают и жизнь ребенка; правда, вначале он должен сполна прочувствовать ту боль, которую вызывает принуждение. К примеру, мальчика, погрузившегося вечером в чтение какой-нибудь волнующей истории, никогда никакими только его случаям ограниченными доказательствами нельзя убедить в том, что следует прервать чтение и идти спать. Когда мне в аналогичных случаях, бывало, говорили, что уже поздно, что я испорчу себе глаза, что утром буду сонный и будет тяжело вставать и что эта скверная, глупая история того не стоит, я хоть и не мог явно возражать против этого, но, вообще говоря, только потому, что все это даже не приближалось к границе того, над чем стоило размышлять. Ибо все было бесконечным — или настолько уходило в неопределенность, что это можно было приравнять к бесконечному: время было бесконечно, поэтому не могло быть поздно, мое зрение было бесконечно, поэтому я не мог его испортить, даже ночь была бесконечна, и поэтому не было нужды беспокоиться о том, что завтра рано вставать, книги же различались не тем, умные они или глупые, но тем, захватывают они меня или нет — а эта меня захватила. Все это я не мог так выразить, но это приводило к тому, что я все-таки надоедал своими просьбами разрешить мне почитать еще или решать читать дальше без разрешения. В этом было мое своеобразие. Его подавляли тем, что закручивали газ, оставляя меня без света, а в объяснение говорили: все идут спать, значит, и ты должен идти спать. Я это видел и вынужден был этому верить, хотя мне это было непонятно. Никто не хочет провести так много реформ, как дети. Но, отвлекаясь от этого в известном смысле оправданного подавления, все-таки здесь, как и почти везде, остается некий заусенец, который не только устранить, но даже хотя бы притупить никакие ссылки на всеобщее не могут. Ведь я, к примеру, верил, что никому на свете не хотелось читать в тот вечер так, как мне. И никакие ссылки на всеобщее не могли в то время этого опровергнуть, тем более что я видел: в мое непреодолимое желание читать не верят. Лишь постепенно и много позже — может быть, уже тогда, когда это желание ослабело — у меня возникла своего рода вера в то, что многие точно так же хотят читать, однако сдерживают себя. Но в то время я чувствовал только причиненную мне несправедливость, я тоскливо шел спать, и во мне развивались ростки той ненависти, которая в известном отношении определила и мою жизнь в семье, и, как следствие, всю мою жизнь. Хотя этот запрет чтения — всего лишь пример, но пример показательный, ибо такой запрет оказывает глубокое воздействие. Мое своеобразие не признавали, но поскольку я его ощущал, я не мог в таком отношении ко мне — а тут я был очень чувствителен и постоянно настороже — не увидеть какой-то предвзятости. Но если осуждалось даже такое открыто выставленное напоказ своеобразие, то насколько же хуже должны быть те своеобразные мои черты, которые я скрывал, поскольку сам понимал, что в них есть некая маленькая неправильность. К примеру, я читал по вечерам, хотя еще не были выучены заданные на завтра уроки. Возможно, как нарушение долга это само по себе было нечто очень предосудительное, но об абсолютной оценке речь для меня не шла, для меня существовала только сравнительная оценка. А при такой оценке подобная нерадивость была, пожалуй, не хуже, чем само по

себе долгое чтение, в особенности потому, что последствием этой нераздивности были ограничены моим великим страхом перед школой и авторитетами. То, что я из-за чтения время от времени недоучивал вечером, я при моей очень хорошей тогдашней памяти легко наверстывал утром или в школе. Но главное было в том, что осуждение, которое встречало мое своеобразие упорного читателя, я теперь уже самостоятельно переносил на скрываемое своеобразие нарушителя долга, приходя таким образом к самым удручающим результатам. Это было похоже на то, как если бы кого-то безболезненно, только ради предостережения, тронули плеткой, а он расплел бы ее хвосты, втянул острые концы в себя и начал бы по собственному плану колоть и царапать себе внутренности, в то время как чужая рука все еще продолжала держать ручку плетки. Но хотя я и тогда в подобных случаях не слишком сурово себя наказывал, все же несомненно, что я так никогда и не смог извлечь из моего своеобразия то по-настоящему ценное зерно, из которого в конце концов вырастает стойкая вера в себя. Наоборот, следствием преждевременного обнаружения своеобразия была лишь ненависть к тому, кто его подавлял, либо согласие с тем, что такого своеобразия не существует, — два следствия, которые неким лживым образом могли и соединяться. Но если я какое-то своеобразие скрывал, то следствием было то, что я ненавидел себя или свою судьбу, считал себя плохим или проклятым. Соотношение этих двух видов своеобразия с течением лет внешне очень изменилось. Преждевременно обнаруженное своеобразие возрастало тем больше, чем ближе я подходил к доступной мне жизни. Но избавления мне это не приносило, масса хранимого втайне от этого не уменьшалась, ибо при более тщательном рассмотрении оказывалось, что во всем признаваться нельзя никогда. И даже от, казалось бы, полных признаний прежнего времени позднее обнаруживались сохранившиеся внутри корешки. Но если бы даже этого и не было, при том расшатывании всей душевной организации, которое я производил, не делая существенных перерывов, хватало бы и одной скрытой черты своеобразия, чтобы вызванное ею потрясение не позволило мне нигде прочно закрепиться, несмотря ни на какие иные приспособления. Однако дело обстояло еще хуже. Если бы даже я не сохранил в себе никакой тайны, а отбросил все от себя настолько далеко, что остался бы совершенно чист, уже в следующий момент я был бы снова переполнен прежней неразберихой, ибо, по моему мнению, эта тайна не вполне поддается познанию и оценке и вследствие этого вновь возвращается мне и возлагается на меня всеобщим. Это было не заблуждением, а лишь некоей особой формой познания, которая никогда не может освободиться от самой себя, по крайней мере, если речь идет о живущих. Если, к примеру, кто-то признается другу в том, что скуп, то на какой-то момент он по отношению к этому другу, то есть по отношению к определяющему судьбе, внешне освобождается от скупости. И в данный момент безразлично, как воспринимает это друг, то есть отрицает ли он наличие скупости, или дает советы, как избавиться от нее, или даже оправдывает скупость. Возможно, что даже если бы друг после такого признания прервал дружбу, и это не было бы решающим. Решающим же является то, что человек в качестве, может быть, и не раскаявшегося, но честного грешника доверил свою тайну всеобщему в надежде вновь обрести благодаря этому доброту и — самое главное — свободу детства. Но обретают лишь кучую глупость и запоздалую горечь. Ибо где-то на пути между этим скрягой и его другом лежат на столе деньги, которые скряга должен присвоить и к которым он, все больше спеша, тянет руку. До середины пути признание хоть и действует все слабее, но еще спасительно, дальше — уже нет, даже наоборот, только освещает эту тянущуюся вперед руку. Действительные признания возможны только до или после деяния. Рядом с собой деяние ничего не потерпит; для руки, сгребавшей деньги, не существует ни спасительных слов, ни сожалений. И либо должно быть уничтожено деяние, то есть рука, либо придется в скупости...

3. Подчеркивание своеобразия — отчаяние.

4. Мне так и не довелось узнать правило.

5. Допустим, что зло, которое охватывает тебя полукругом, как бровь — глаз, бездействует от истощения. И в то время, когда ты спишь, оно бодрствует над тобой, не имея возможности продвинуться вперед даже в самом малом.

6. Осуждающая мысль, пробившись сквозь боль падения, увеличивает боль, нисколько не помогая подняться на ноги. Как если бы в полностью выгоревшем доме впервые поднимались принципиальные вопросы архитектуры.

7. Умереть я бы смог, переносить страдания боли — нет; пытаюсь уйти от них, я определенно бы их увеличил; я мог бы смириться со смертью — но не с болью, мне не хватило бы душевного движения, — так, как если бы все уже было упаковано и уже натянутые поводья натягивались снова и снова — и никак не удавалось отъехать. Самое худшее — бессмертные боли.

8. Стремление к нивелировке; я сказал бы: «Это не так уж плохо, так бывает со всеми» — и от этого стало бы еще хуже.

Необходимость ошибок моего воспитания; я не мог бы ничего изменить.

9. Нивелировка правильна, но, может быть, столь далеко идущая объективация снимает всякую возможность жить.

10. Тех, кто ждет, много. Необозримая толпа, теряющаяся в темноте. Чего они хотят? Они явно выдвигают какие-то определенные требования. Я выслушаю эти требования и затем отвечу. Но на балкон я не выйду, да я бы и не смог, даже если бы захотел. Зимой дверь на балкон заперта, а ключа под рукой нет. Но и к окну я тоже не подойду. Я не хочу никого видеть, я не хочу, чтобы какое-то зрелище меня смущало, мое место — у письменного стола, моя поза — обхватив голову руками.

11. До сих пор я не обращал внимания на одну дверь в моей квартире. Она — в спальне, в той стене, к которой примыкает соседний дом. Я никогда об этой двери не думал, я даже и вообще о ней не знал. И тем не менее она очень хорошо заметна; низ ее, правда, закрыт кроватями, но она высоко поднимается над ними, это почти уже и не дверь, это почти что ворота. Вчера ее открыли. Я как раз был в это время в столовой, которая отделена от спальни еще одной комнатой. Я сильно припозднился с обедом, дома никого уже не было, только служанка работала на кухне. И тут в спальне раздается шум. Я сразу бегу туда и вижу, как эта дверь медленно открывается и при этом какая-то чудовищная сила отодвигает кровати. Я кричу: «Кто там? Что надо? Осторожней! Берегитесь!» — и ожидаю увидеть вторжение отряда свирепых мужчин, но это всего лишь худощавый молодой человек, который, едва только щель оказывается для него достаточной, протискивается в комнату и радостно меня приветствует.

12. Ничего подобного, ничего подобного.

13. Когда ночью я иду сюда от башни вдоль воды — как медленно, словно живое тело, движется всякую ночь под светом фонаря эта вязкая темная вода! Словно проводишь фонарем вдоль тела спящего, и он, не просыпаясь, только благодаря этому свету вытягивается

и поворачивается.

14. Около полуночи меня всегда можно встретить у реки: либо у меня ночная смена, и я иду в тюрьму, либо кончилась дневная смена, и я иду домой. Однажды этим обстоятельством воспользовались. Вымотавшийся на работе, к тому же еще охваченный почти невыносимым, душившим меня гневом на Б., моего коллегу, из-за одного служебного инцидента, о котором речь впереди, шел я тогда домой. Один раз я оглянулся, посмотрел вверх на маленькое освещенное окно тюремной башни, за которым сейчас сидел этот Б. и ужинал, зажав между колен бутылку рома; какой-то миг я не мог отделаться от ощущения, что вижу его сидящим прямо передо мной, я даже запах его слышал, но потом сплюнул и пошел дальше.

15. Это был отчетливый зов из реки.

16. У моей сестры есть от меня тайна. У нее есть маленький календарик, который она и получила-то в некотором смысле только благодаря мне, потому что с тем господином, который дал каждому из нас по такому календарю, я был знаком намного раньше нее, и эти календари он принес ради меня. Так вот, в этот календарь она вписала или вложила свою тайну, сам же календарь закрыла в запирающемся пенале, а ключ от него...

17. Кто-то тербил меня за рукав, но я стряхнул его.

18. Беспокойный.

19. На одном спиритическом сеансе как-то заявил о себе новый дух, и с ним состоялся следующий разговор.

Дух. Прошу прощения.

Медиум. Кто ты?

Дух. Прощения.

Медиум. Чего ты хочешь?

Дух. Уйти.

Медиум. Ты же только что явился.

Дух. Это ошибка.

Медиум. Нет, это не ошибка. Ты явился, и ты останешься.

Дух. Мне сейчас стало плохо.

Медиум. Очень плохо?

Дух. Очень.

Медиум. Физически?

Дух. Физически?

Медиум. Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это неприлично. У нас есть способ наказать тебя, так что лучше отвечай, и тогда мы тебя скоро отпустим.

Дух. Скоро?

Медиум. Скоро.

Дух. Через минуту?

Медиум. Не надо так жаться. Мы отпустим тебя тогда, когда это нам...

20. Это было в деревне, ближе к вечеру, я сидел в своей комнате под крышей, у закрытого окна, и смотрел на пастуха, который стоял посреди скошенного поля с трубкой в зубах, воткнув посох в землю, и, казалось, не обращал внимания на пасущихся вблизи и вдали животных, не проявлявших, впрочем, никакого беспокойства. И тут в окно постучали; в испуге я очнулся от своего забытья, овладел собой и громко сказал: «Чепуха, это окно дрожит от ветра». Когда постучали снова, я сказал: «Я знаю, что это просто ветер». Но постучали в третий раз, и чей-то голос попросил впустить. «И все-таки это просто ветер», — сказал я, снял со шкафа лампу, зажег ее и задернул занавеску на окне. Тогда затряслось все окно и начались униженные бессловесные мольбы.

О чем молишь ты, покинутая душа? Зачем вьешься ты вокруг дома жизни? Зачем не смотришь ты в даль, которая принадлежит тебе, вместо того чтобы биться здесь за то, что тебе чуждо? Лучше живой журавль в небе, чем полумертвая, судорожно бьющаяся синица в руках.

21. Высокая мечта, окутай ребенка своим плащом.

22. Пришли двое солдат и схватили меня. Я вырывался, но они крепко меня держали. Они привели меня к своему начальнику, офицеру. Как пестра была его униформа! Я сказал:

— Что вам нужно от меня, я штатский.

Офицер усмехнулся и ответил:

— Ты штатский, но это не мешает нам забрать тебя. У армии неограниченная власть.

23. Оценка в театральном деле.

В области театрального производства очень трудно давать оценки, даже приблизительные и не долго остающиеся верными. Здесь лучшие специалисты, с большим жизненным опытом, оказываются несостоятельны. Хороший пример — жизненный путь известного железного короля.

Подъем к бельведеру.

Как он шел, этот мужчина в плаще с длинными отлетающими полами, с папкой в руке, с непокрытой головой, с золотыми проволочками очков на ушах, — как он шел солнечным утром первого мая по дорожке, мирно петлявшей в зелени.

Сазанья улица.

Отвратительный молодой человек, вечером, один; грубая, сильная, сопротивляющаяся натура.

Эти двое пожилых господ в Рудольфинуме: мирный, долгий, степенный рассказ; сзади — женщины. {117}

24. 20 августа 1916. Как неожиданно эта дурь снова на меня находит; это случается всякий раз, когда несколько возрастает доверие к состоянию моего здоровья, как это, например, случилось позавчера после визита к доктору Мюльштейну.

25.

Сохранять чистоту // Быть женатым.

Холостяк // Муж.

Я сохраняю чистоту // Чистоту?

Я собираю все мои силы // Ты теряешь связь, становишься шутком, летаешь по ветру во все стороны, но никуда не продвигаешься; я извлекаю из кровообращения человеческой жизни все силы, которые мне только доступны.

Отвечаю только за себя // Тем больше (само)влюбленности (Грильпарцер, Флобер).

Никаких забот. Концентрация на работе // Поскольку мои силы растут, я несу больше. Но в этом есть своя правда.

26. Хижина егеря была недалеко от хижины лесорубов. Лесорубы, их было двенадцать, жили там для того, чтобы сейчас, по глубокому снегу, заготовить бревна, которые днем санями отволакивали в долину. Работы было много, однако для этих рабочих ее было бы не слишком много, если бы им дали достаточно пива. Но у них был только средних размеров бочонок, который надо было растянуть на неделю, задача была непосильной. И на это они постоянно жаловались егерю, приходившему к ним по вечерам. «Тяжело вам», — соглашался егерь, и они изливали ему душу.

27. Хижина егеря стоит, всеми забытая, в горном лесу. Он остается там на всю зиму со своими пятью собаками. Но как же долго длится в этих краях зима! Почти что можно сказать, что она длится всю жизнь.

Егерь бодр, нет ничего существенного, чего бы ему не хватало, на лишения он не жалуется и считает, что даже слишком хорошо обеспечен. «Если бы ко мне пришел какой-нибудь егерь, — думает он, — и увидел бы, как я тут устроился и какие у меня запасы, так, пожалуй, и егерству бы конец пришел. Но разве ему и так не конец? Егерей нет».

Он идет в угол, где на подстилках, укрытые попонками, спят собаки. Сон охотничьих собак. Они не спят, они только ждут охоты, и это выглядит как сон.

28. У Петера была богатая невеста в соседней деревне. Как-то вечером он ее навестил, надо было многое обсудить, так как через неделю должна была состояться свадьба. Обсуждение прошло успешно. Все было улажено к полному его удовлетворению; часов в десять, в хорошем настроении, посасывая трубку, шел он домой и на хорошо ему знакомую дорогу никакого внимания не обращал. Вот так и получилось, что в одном маленьком лесочке он вначале перепугался, сам точно не зная почему, а уж потом увидел эти два золотисто отсвечивавших глаза и услышал голос, который произнес:

— Я волк.

— Чего ты хочешь? — сказал Петер; в смятении, он застыл, растопырив руки, в одной руке была трубка, в другой — палка.

— Тебя, — сказал волк, — я уже целый день ищу, чего бы пожрать.

— Пожалуйста, волк, — сказал Петер, — сегодня не трогай меня, через неделю должна быть моя свадьба, позволь мне хотя бы пережить ее.

— Не хотелось бы откладывать, — сказал волк. — Да и какая мне польза от этого ожидания?

— Тогда ты возьмешь нас обоих, меня и мою жену, — сказал Петер.

— Ну, а до этой свадьбы что? — спросил волк. — Не могу же я до тех пор голодать. Меня уже сейчас мутит от голода, и если я очень скоро не получу что-нибудь, я сожру тебя тут даже помимо своего желания.

— Пожалуйста, — сказал Петер, — пойдем со мной, я живу недалеко, я буду всю неделю кормить тебя кроликами.

— Но кроме того я должен получить еще как минимум овцу.

— Хорошо, овцу.

— И пять кур.

29. Ни перед городскими воротами, ни в арке ворот никого не было. По чисто подметенному гравию можно было подойти к четырехугольному окошку в стене и заглянуть в караульное помещение; караулка была пуста. Это было хоть и странно, но для меня очень удачно, так как никаких документов у меня не было, да и вообще, все мое имущество состояло из кожаной одежды и палки в руке.

30. Сегодня я говорил с капитаном в его каюте. Я жаловался на других пассажиров. Это вообще нельзя назвать пассажирским судном, по меньшей мере половина народа, который на нем плывет, — чудовищный сброд. Моя жена почти уже не решается выходить из каюты; даже заперев дверь, она не чувствует себя в безопасности, и я вынужден оставаться с ней.

31. Начались гонки по лесам. Везде полно зверей. Я пытался навести порядок.

32. Был уже вечер. На нас повеяло прохладой его дыхания — оно было освежающе-прохладным, но изнурительно-запоздалым. Мы присели на скамейку у старой башни.

— Все было напрасно, — сказала ты, — но это прошло, пора передохнуть, и здесь подходящее место.

33. Она спит. Я не бужу ее. Почему ты ее не будишь? Это мое несчастье и мое счастье. Я несчастен оттого, что я не могу ее разбудить, что не могу поставить ногу на горящий порог двери ее дома, что не знаю дороги к ее дому, что не знаю, в какой стороне проходит эта дорога, что удаляюсь от нее все дальше, бессильный, как лист, уносимый от своего дерева осенним ветром, и даже более: я никогда не был на этом дереве, и осенний ветер уносит лист, ни с какого дерева не сорванный. — И я счастлив, что не могу ее разбудить. Что бы я делал, если бы она встала, если бы она поднялась с лежки, если бы я поднялся с лежки, лев — со своей лежки, и мой рык ворвался бы в мой испуганный слух?

34. Я спросил странника, встреченного мною на дороге, правда ли, что за семью морями лежат семь пустынь, а за ними — семь гор, и на седьмой горе — замок, и...

35. Лазанье. БЕЛКА[4]. Это была белка, это была белка, дикая разгрызальщица орехов, попрыгунья, древолазка, ее пушистый хвост славился повселесно. Эта белка, эта белка была всегда в пути, всегда в поиске, и она ничего не могла об этом сказать, потому что у нее не было слов, но у нее не было и ни секунды времени.

36. Сцены защиты одного двора.

Это был простой сплошной деревянный забор высотой немного ниже человеческого роста. За ним стояли трое мужчин, их лица виднелись над забором; в середине стоял самый высокий, двое других — более чем на голову ниже — жались к нему, образуя единую группу. Эти трое мужчин защищали забор или, скорее, весь двор, огражденный этим забором. Там были еще мужчины, но непосредственно в защите они не участвовали. Один сидел за столиком в центре двора; поскольку было тепло, он снял китель и повесил его на спинку стула. Перед мужчиной лежали маленькие листки, которые он крупно, размашисто, трата много чернил, заполнял строчками. Время от времени он смотрел на лежавший чуть дальше маленький чертеж, прикрепленный кнопками к столешнице; это был план двора, и человек, который был комендантом, составлял по этому плану диспозицию защиты. Временами он слегка распрямлялся, чтобы посмотреть на тех троих защитников и — поверх забора — на неогороженную местность. То, что он там видел, он также использовал для своей диспозиции. Работал он торопливо, как того и требовала напряженная обстановка. По мере надобности комендант подзывал маленького босоногого мальчика, игравшего поблизости в песке, и тот разносил листки. Но перед тем как дать ему листки, коменданту всякий раз приходилось очищать кителем его грязные руки от налипшего сырого песка. Песок был сырым от воды, брызгавшей из большого чана, в котором какой-то мужчина стирал воинское белье. Между тонкой липой, одиноко стоявшей посреди двора, и рейкой забора мужчина натянул веревку, на этой веревке было развешено на просушку белье, и когда комендант неожиданно стянул через голову уже прилипавшую к потному телу рубашку и, коротко окликнув мужчину у чана, бросил ему, тот снял с веревки сухую рубашку и передал ее своему начальнику. В тени под деревом недалеко от чана сидел, раскачиваясь на стуле, молодой человек; не обращая внимания ни на что вокруг и устремив взгляд вверх, в высоту птичьего полета, он тренировался подавать охотничьим рогом военные сигналы. Это было так же необходимо, как и все остальное, но иногда коменданту надоедало; не отрываясь от работы, он кивал горнисту, чтобы тот прекратил, а если это не помогало, поворачивался и орал на него, тогда на некоторое время становилось тихо, пока горнист не начинал тихонько, только для пробы, трубить снова; если это сходило ему с рук, он, постепенно наращивая громкость, вновь выводил звук до прежней силы. Занавеска слухового окна была задернута; ничего необычного в этом не было, поскольку все окна, выходящие на эту сторону дома, были так или иначе перекрыты для защиты от взглядов и атак неприятеля, но за всеми занавесками скрывались дочери арендатора, смотревшие на горниста; звуки рога так восхищали их, что временами они могли воспринимать эти звуки не иначе как закрыв глаза и прижав руку к сердцу. Собственно, они должны были находиться в большой комнате в задней части дома и следить за служанками, которые щипали там корпию, но так как звуки едва проникали туда, не принося никакого удовлетворения и только вновь и вновь пробуждая томление, они не выдерживали и глухими, опустевшими комнатами украдкой пробирались сюда. Время от времени они чуть-чуть высовывались посмотреть, сидит ли все еще отец за своей работой и не пошел ли он проверять прислугу, ибо

туда и им тоже нельзя было здесь оставаться. Но нет, он все еще сидел, пылая трубкой, на каменном приступке перед дверью дома и резал лубки; вокруг него лежали большие кучи готовых и полуготовых лубков, а также сырья и заготовок. В бою, увы, могли пострадать не только дом и кров, следовало принять меры заранее. Из ближайшего к двери окна, забитого досками так, что оставалось только маленькое отверстие, доносился шум и валил дым, там была кухня, и жена арендатора вместе с военными кашеварами как раз доваривала обед. Большой печи не хватало, поэтому были поставлены еще два котла, однако, как теперь выяснилось, не хватало и их: комендант придавал очень большое значение тому, чтобы личный состав получал обильное пищевое довольствие. Поэтому было решено поставить еще и третий котел, но так как он был немного поврежден, то один человек занимался его починкой, расположившись с той стороны дома, которая выходила в сад. Вначале он попытался делать это перед домом, но комендант не мог вынести грохота, и котел пришлось укатить. Кашевары, проявляя большое нетерпение, все время посылали кого-нибудь посмотреть, не готов ли уже этот котел, однако он все еще не был готов, так что в плане сегодняшнего обеда рассчитывать на него уже не приходилось, и надо было ограничиваться имеющимися. Подавали вначале коменданту. Хотя он уже неоднократно и очень строго запрещал готовить для него что-то особое, хозяйка дома не могла решиться подать ему обычную пищу рядовых; не желая никому передоверять обслуживание коменданта, она повязала красивый белый фартук, поставила на серебряный поднос тарелку наваристого куриного супа и понесла коменданту во двор, так как ожидать, что он прервет свою работу и пойдет есть в дом, не приходилось. Увидев, что к нему идет сама хозяйка, он немедленно очень учтиво поднялся, но вынужден был сказать ей, что ни на еду, ни на отдых у него времени нет; хозяйка, склонив голову и глядя вверх, умоляла со слезами на глазах и достигла этим того, что комендант, все еще стоя, усмехнулся и съел полную ложку супа из тарелки, по-прежнему остававшейся в руках хозяйки. Ну, большего уже никакая учтивость требовать не могла, комендант поклонился и сел работать; по всей видимости, он даже не заметил, как хозяйка, еще какое-то время постояв около него, вздохнула и вернулась на кухню. Но совсем другой аппетит был у рядовых. Едва только в отверстии кухонного окна показалась косматая борода одного из кашеваров, подавшего трубкой знак, что сейчас будут раздавать обед, как всюду началось оживленное движение, — более оживленное, чем это было приятно коменданту. Из деревянного сарая двое солдат вытащили ручную тележку, представлявшую собой просто большую бочку на колесах; в нее из кухонного окошка широкой струей был залит суп для тех рядовых, которые не могли оставить свой пост и которым поэтому еду подвозили. В первую очередь тележку повезли к защитникам забора; так, наверное, поступили бы даже в том случае, если бы комендант и пальцем не шевельнул подать соответствующий знак, ибо те трое в данный момент более всего подвергались опасности со стороны неприятеля, и к этому способен был отнестись с уважением даже простой человек — может быть, в большей степени, чем офицер, — но коменданту прежде всего было важно ускорить раздачу и как можно более сократить досадный перерыв в оборонительных работах, вызванный приемом пищи, ибо он видел, что даже этих троих, вообще говоря, образцовых солдат в данный момент больше интересовали двор и бочка, чем полоса обеспечения перед забором. Им быстро налили из бочки, которую затем покатали дальше вдоль забора, так как приблизительно через каждые двадцать шагов под забором сидели тройки солдат, готовых, если понадобится, встать так же, как те первые трое, и показать себя врагу. Тем временем из дома к кухонному окошку длинной вереницей подтягивались резервисты, у каждого в руке был котелок. К огорчению дочек арендатора, которые теперь возвратились обратно к служанкам, и горнист, вытащив из-под своего стула котелок и положив на его место рог, тоже направился к окошку. Возникло шевеление и на макушке липы, так как там сидел солдат, который должен был наблюдать за неприятелем в подзорную трубу и о котором, несмотря на его важную, незаменимую службу, водитель суповой тележки — по крайней мере в данный момент — забыл. Это было тем более обидно для наблюдателя, что несколько бездельников из резерва расселись вокруг дерева, чтобы поесть со вкусом, и до наблюдателя доходили пар и запахи супа. Кричать наблюдатель не решался, но, чтобы привлечь внимание, стучал по веткам вокруг себя и неоднократно направлял подзорную трубу сквозь листву вниз. Все было напрасно. Он был приписан к тележке и должен был дожидаться, пока она, завершив круговой объезд, не подъедет к нему. Этот объезд, разумеется, продолжался долго, так как двор был большой и надо было обеспечить примерно сорок постов по три человека на каждом, так что когда тележка, влекомая измученными солдатами, наконец прибыла к липе, в бочке уже мало что оставалось, в особенности редко попадались там куски мяса. И хотя наблюдатель с готовностью принял эти остатки, когда их подали ему в котелке, подвешенном на багор, но затем, спустившись немного по стволу, яростно лягнул ногой в лицо — такова была его благодарность — обслужившего его солдата. Последний, придя, естественно, в крайнее возбуждение и попросив товарища посадить его, в мгновение ока оказался на дереве, и завязался невидимый снизу бой, о котором свидетельствовали только качания ветвей, глухие стоны и осыпавшиеся листья, пока, наконец, на землю не упала подзорная труба, после чего мгновенно все стихло. К счастью, комендант, целиком поглощенный другими вещами (в поле за забором, кажется, происходили разного рода перемены), ничего не заметил; солдат тихо спустился с дерева, подзорная труба была дружески подана наверх, и все вновь успокоилось, даже суповые потери оказались не заслуживающими упоминания, так как наблюдатель перед боем тщательно и надежно закрепил котелок на самом верхнем сучке.

37. Итак, я снова пишу о том, что услышал, о том, что мне было доверено. Впрочем, это было мне доверено не в качестве тайны, которую надлежало хранить; непосредственно доверен мне был только голос, сказавший, что все остальное — никакая не тайна, а наоборот, шелуха; но то, что по окончании работы летит на все стороны, может быть и рассказано — и просит во имя сострадания, чтобы о нем рассказали, ибо не в силах спокойно лежать там, где брошено, когда то, что вызвало его к жизни, уже отшумело.

Так вот, слышал я следующее:

Где-то в Южной Богемии, на некой лесистой возвышенности, примерно в двух километрах от реки, которая оттуда была бы хорошо видна, если бы ее не заслонял лес, стоит маленький дом. И живет в этом доме один старик. Благообразной старческой внешности ему не досталось. Он маленького роста, одна нога у него, правда, прямая, зато другая сильно выгнута наружу. Маленькое личико сплошь заросло бородой и усами, волос седой, желтый, но кое-где и черноватый; нос сплюснут и покоится на несколько выпяченной верхней губе, почти утыкаясь в нее. Веки низко нависают над маленькими...

38. Я похож на тех дикарей, у которых, как рассказывают, нет иных стремлений, кроме стремления к смерти, или, точнее, у них нет даже и этого стремления, просто сама смерть стремится к ним, и они отдаются ей или, точнее, даже не отдаются, а просто падают на прибрежный песок и больше уже не поднимаются, — я очень похож на них, и вокруг меня есть выходцы из того же племени, но в наших землях царит суматоха, люди давятся в толпе днем и ночью, поднимаются и опускаются — и увлекают за собой моих соплеменников. В здешних краях это называется «поддержать товарища», подобную помощь здесь всегда готовы оказать, ведь того, кто может без причины упасть и не встать, здесь боятся, как черта: боятся дурного примера и того зловония истины, которое пошло бы от павшего. Но, конечно, ничего такого бы не было: один человек, десять человек, целый народ может полечь — и ничего не случится, могучая жизнь будет продолжаться, на чердаках все еще полно знамен, которые никогда не разворачивались, в этой шарманке только одна мелодия, но

рукоятку кругит Вечность собственной персоной. И все же этот страх! Все-таки люди вечно носят в себе своего собственного врага, пусть даже и бессильного. И для него, для этого бессильного врага они...

39. — И так? — сказал господин, посмотрел на меня с усмешкой и поправил галстук.

Я мог выдержать его взгляд, но по собственной инициативе слегка отвернулся в сторону и со все возрастающим вниманием стал вглядываться в крышку стола, словно там открылась и постоянно углублялась какая-то впадина, приковывавшая взгляд. В то же время я сказал:

— Вы собираетесь меня проверять, но ничем не подтвердили ваше право на это.

Тут он откровенно рассмеялся.

— Это право дает мне мое существование, это право дает мне то, что я сижу здесь, это право дает мне мой вопрос и то, что вы меня понимаете.

— Хорошо, — сказал я, — допустим, что это так.

— Тогда, следовательно, я буду вас проверять, — сказал он, — только я попрошу вас отодвинуться вместе со стулом немного назад, мне тут тесновато. Прошу также смотреть не в сторону, а только мне в глаза. Может быть, смотреть на вас для меня важнее, чем слушать ваши ответы.

Я исполнил его желания, и он начал:

— Кто я?

— Мой проверяющий, — сказал я.

— Разумеется, — сказал он. — А еще кто?

— Мой дядя, — сказал я.

— Ваш дядя! — воскликнул он. — Что за нелепый ответ!

— Мой дядя, — утвердительно повторил я. — И ничего более.

40. Я вышел из моей комнаты на балкон. Здесь очень высоко, я сосчитал ряды окон — это был седьмой этаж. Внизу на маленькой, с трех сторон окруженной домами площади разбит сквер; наверное, это Париж. Я вернулся в комнату, оставив дверь открытой: хотя был, кажется, еще только март или апрель, но день был теплый. В углу стоял маленький, очень легкий письменный стол, я мог бы поднять его и покачать в воздухе одной рукой. Но я сел к нему; чернила и ручка были приготовлены, я собирался написать открытку. Не уверенный, есть ли у меня открытка, я пошарил в папке, но вдруг услышал пение птицы и, обернувшись, заметил на балконе, на стене дома птичью клетку. Я тут же вновь вышел на балкон; чтобы увидеть птицу, мне пришлось встать на цыпочки, это была канарейка. Такое движимое имущество меня очень обрадовало. Я затолкал листочек зеленого салата, торчавший между прутьев решетки, поглубже в клетку, и птица стала его щипать. Тогда я снова повернулся к площади, потер ладони и слегка наклонился над перилами. Мне показалось, что из мансарды на той стороне площади кто-то наблюдает за мной в театральные бинокль — видимо, потому, что я был новым постояльцем; жалкое занятие, но, может быть, там больной, для которого вид из окна — весь его мир. Поскольку в кармане нашлась открытка, я пошел в комнату писать; правда, на открытке был вовсе не вид Парижа, а просто какая-то картина под названием «Вечерняя молитва»; на ней было изображено спокойное озеро, на переднем плане — еле заметные камыши, в центре — лодка, и в ней — молодая мать с ребенком на руках.

41. Мы играли в «пограничника»; был определен участок дороги, который один должен был защитить, а другой — перейти. Нападающему завязывали глаза, а у защитника было только одно средство предотвратить переход: он должен был в самый момент перехода тронуть нападающего за руку; если он делал это раньше или позже, — он проигрывал. Кто никогда не играл в эту игру, может решить, что нападение сделали слишком трудным, а защиту слишком легкой, но на деле все как раз наоборот или, по крайней мере, талант нападающего встречается чаще. Защищать у нас умел только один, но зато уж почти без промаха. Я часто наблюдал за ним, хотя ничего особенно интересного в этом не было, потому что он, не очень бегая, всегда оказывался в нужном месте — он и не очень-то мог хорошо бегать, потому что слегка прихрамывал, да и вообще был не слишком подвижный; другие, когда защищали, сидели, скорчившись, в засаде и дико озирались по сторонам, а его бледно-голубые глаза смотрели так же спокойно, как всегда. Что значила такая защита, ты понимал только тогда, когда был нападающим.

42. Я люблю ее и не могу с ней разговаривать, я подстерегаю ее, чтобы не встретиться с ней.

43. Я любил одну девушку, и она любила меня, но я вынужден был с ней расстаться.

Почему?

Не знаю. Мне казалось, что ее окружают вооруженные люди с копьями, направленными наружу. Когда бы я ни приближался к ней, я наткнулся на острия и вынужден был отступить, израненный. Я много выстрадал.

Была ли в этом виновата девушка?

Я думаю, нет, вернее даже, я это знаю. Ведь мое сравнение неполно: я тоже был окружен копьеносцами, но их копья были направлены внутрь, то есть против меня. Устремляясь к девушке, я сразу же наткнулся на копья моих копьеносцев — и уже тут останавливался.

Быть может, я никогда и не добирался до копьецов этой девушки, а если бы и добрался, то уже обескровленный ранами от собственных копий и уже без чувств.

Осталась ли девушка одна?

Нет, к ней пробился кто-то другой, легко пробился, беспрепятственно. А я, измученный своими попытками, смотрел на это с таким равнодушием, словно был воздухом, сквозь который их лица приближались друг к другу для первого поцелуя.

44. Двое мужчин сидели за грубо сколоченным столом. Над ними висела мерцавшая керосиновая лампа. Это было вдали от моей родины.

— Я в ваших руках, — сказал я.

— Нет, — сказал один из двоих, он сидел очень прямо, запустив левую руку в бороду и судорожно стиснув пальцы, — ты свободен, и потому ты пропал.

— Значит, я могу идти? — спросил я.

— Да, — сказал мужчина и прошептал что-то своему соседу, дружески погладив его по руке.

Этот был старик, но тоже очень прямой и очень сильный...

45. Дверка, ведущая в сад, была чрезвычайно низкой, ненамного выше тех проволочных ворот, которые втыкают в землю, когда играют в крокет. Поэтому мы не могли войти в сад рядом, а должны были проползти туда по очереди. Мария еще больше затруднила мне задачу, начав тянуть меня за ноги именно тогда, когда у меня плечи почти застряли в дверке. В конце концов мне удалось преодолеть это препятствие и Марии, как ни удивительно, — тоже, правда только с моей помощью. Мы были так заняты всем этим, что не заметили хозяина дома, который, очевидно, с самого начала стоял неподалеку и наблюдал за нами. Марии было очень неловко, так как ее легкое платье при этом проползании совершенно измялось. Но теперь уже ничего нельзя было поправить, потому что хозяин подошел нас поприветствовать; мне он сердечно пожал руку, Марию слегка потрел по щеке. Я не мог вспомнить, сколько Марии лет; по всей видимости, она была еще маленьким ребенком, раз ее так приветствовали, но ведь и я наверняка был ненамного старше. Мимо пробежал, почти что пролетел слуга; в поднятой правой руке — левая была прижата к бедру — он нес большое высоко наложенное блюдо; что там было, я из-за этой спешки не мог разглядеть, видел только длинные ленты — или листья, или водоросли, — которые свисали с краев блюда и летели по воздуху за слугой. Я указал на него Марии, она в ответ кивнула, но отнюдь не была так удивлена, как я ожидал. А ведь это, собственно, было ее первое появление в большом свете, она же происходила из мелкобуржуазной среды и должна была чувствовать себя как человек, который всегда жил только на равнине, а тут перед ним вдруг отдергивается занавес, и он оказывается у подножия предгорья. Но ничего подобного у нее не проявилось и в отношении к хозяину дома: она спокойно слушала его приветствия, медленно натягивая в то же время серые перчатки, которые я ей вчера купил. В сущности, мне было даже очень приятно, что она таким образом выдержала это испытание. Затем хозяин пригласил нас последовать за ним; мы пошли в направлении пролета исчезнувшего слуги, хозяин шел все время на шаг впереди нас, но в то же время и вполборота к нам.

46. Кто это? Кто идет под деревьями по набережной? Кто погиб безвозвратно? Кого уж не спасти? Над чьей могилой растет трава? Нахлынули мечты, они пришли к тебе, поднявшись вверх по реке, они поднимаются по ступеням на плиты набережной. Ты останавливаешься, ты разговариваешь с ними, они многое знают, они только не знают, откуда они пришли. Осенний вечер довольно-таки прохладен. Они поворачиваются к реке и воздевают руки. Почему они воздевают руки, вместо того чтобы обнимать вас?

47. Ты все крутишься возле двери, входи смело. Там за грубо сколоченным столом сидят двое мужчин и ждут тебя. Они обмениваются мнениями о причинах твоего промедления. Они в средневековых рыцарских одеждах.{118}

48. Он очень силен и становится все сильнее. Похоже, он живет на чужой счет. Его можно представить в образе зверя, который вечером в одиночку, медленно, осторожно, покачиваясь на ходу, идет пить. Глаза его мутны, и часто кажется, что на самом деле он не видит того, на кого направлен его взгляд. Но видеть ему мешает не рассеянность и не сосредоточенность, а некоторая тупость. Этот человек явно не пьяница, но у него мутные, пьяные глаза. Может быть, с ним поступили несправедливо, и это заставило его так замкнуться в себе? может быть, с ним все время поступают несправедливо? Похоже, что это тот род неопределенной несправедливости, груз которой часто ощущают на себе молодые люди, но который в конце концов сбрасывают с себя, если еще имеют на это силы; он, однако, уже стар, хотя, может быть, еще не так стар, как можно подумать, судя по его грузной фигуре, почти навязчиво обвисающим лицевым складкам и животу, на котором вслушивается жилет.

49.

С ударом первым заступа, с ударом первым

заступа

Земля, пошедшая прахом, простерлась у ног

моих,

Звонил колокольчик где-то, и где-то дрожала

дверь...

50. Собрание было политическим. Удивительно, что эти собрания по большей части проходят на площади у конюшен на берегу реки, где

целовеческого голоса почти не слышно за шумом воды. Хотя я сидел на парапете набережной недалеко от ораторов — они выступали с пустого пьедестала, установленного на основании из тесаного камня, — понять можно было только отдельные фразы. Правда, я заранее знал, о чем идет речь, — и все это знали. К тому же все были единодушны (никогда не видал всеобщего единодушия), и я тоже полностью разделял общее мнение: дело было слишком ясное и, несмотря на частые обсуждения, все еще оставалось таким же ясным, как и в первый день; от того и от другого — от единодушия и от ясности — щемило сердце, перед единодушием и ясностью мысль цепенела в бессилии, порой хотелось слышать только реку и больше — ничего.

51. Когда я сегодня пытаюсь разобраться в моем друге и в наших отношениях, то это — одна из многочисленных и большей частью безнадежных попыток разбега, которые мы снова и снова предпринимаем на протяжении долгой жизни, — разбега для прыжка в неизвестном направлении: то ли вперед в жизнь, то ли прочь из жизни. Но попытка безнадежна, следовательно, безопасна.

52. Я знаю его еще со времен моей юности. Он лет на семь или восемь старше меня, но эта, сама по себе значительная, разница в возрасте ощущается мало, сегодня даже кажется, что я старше его, и он сам чувствует так же. Но сложилось это далеко не сразу.

Мне памятна наша первая встреча. Я как раз только вышел из школы, был темный зимний вечер. Я был тогда маленьким мальчиком и учился в первом классе начальной школы. Завернув за угол, я увидел его, он был крепок, приземист, у него было костлявое и, в то же время, полное лицо, внешне он выглядел совсем не так, как теперь, со времени своего детства телесно он изменился до неузнаваемости.

Он тащил на веревке молодого пугливого щенка. Я остановился и стал смотреть — не из злорадства, а только из любопытства, я был очень любопытен, меня все привлекало. Он, однако, обиделся на этот зрительский интерес и сказал:

— Что — дурак, что ли, делать нечего?

53. Некоторые говорят, что он ленив, другие — что он боится работы. Эти последние оценивают его правильно. Он боится работы. Когда он начинает какую-то работу, у него возникает ощущение человека, который должен покинуть родину. Нет, не возлюбленную отчизну, но все-таки привычное, знакомое, безопасное место. А куда заведет его работа? Он чувствует, что его куда-то влечет, словно какой-нибудь совсем молодой пугливый щенок, которого тащат по улице большого города. Его не шум тревожит, если бы он мог слышать этот шум и различать отдельные звуки, его бы это тут же целиком захватило, но он не слышит, — его тащат сквозь весь этот шум, а он ничего не слышит, к нему буквально со всех сторон поворачивается, прислушивается какая-то особая тишина, которая хочет напитаться им; только ее он и слышит. Ему жутко, ему одновременно и тревожно, и тоскливо, этого почти нельзя вынести. Как далеко он продвинется? На два-три шага, не больше. А затем, измученный этим путешествием, он вынужден будет возвращаться, пошатываясь, на родину, на свою мрачную, нелюбимую родину. Из-за этого ему ненавистна всякая работа.

54. Он заперся во второй комнате, я стучал, дергал дверь, он не отзывался. Он злился на меня, он не хотел со мной разговаривать. Но теперь и я разозлился, и он меня больше не интересует. Я пододвигаю стол к окну и собираюсь написать письмо, из-за которого мы и разругались. Как мелочна вся эта ссора, как мы должны быть близки друг другу, чтобы подобный предмет спора вообще был замечен, никто, кроме нас, не смог бы этого понять, это нельзя объяснить, всякий решил бы, что мы совершенно единодушны, и мы в самом деле единодушны.

Это письмо одной девушке, которым я прощаюсь с ней, поскольку это и разумно, и правильно. Нет ничего более разумного и правильного. Это становится особенно ясно, если представить себе письмо противоположного содержания: подобное письмо было бы ужасным, просто невыносимым. Может быть, я напишу такое письмо и прочту его вслух перед запертой дверью, уж тогда-то он должен будет признать мою правоту. Он, впрочем, ее признает и тоже считает прощальное письмо правильным, но на меня злится. Всегда такой был: ко мне враждебен, но беспомощен, и, когда смотрит на меня своим неподвижным взглядом, кажется, что он требует от меня оправдания для этой враждебности. «Мальчик мой, — думаю я, — чего ты еще хочешь от меня? Ты посмотри, во что ты меня превратил!» И приблизительно так же, как всегда, я встаю, иду к двери и снова стучу. Никакого ответа, но на этот раз дверь оказывается не заперта; комната, однако, пуста, он ушел, это единственное наказание, которым он меня с удовольствием казнит: после таких ссор он уходит и пропадает где-то дни и ночи.

55. Я был в гостях у мертвецов. Это был большой, богатый склеп, там уже стояло несколько гробов, но еще оставалось много свободного места; два гроба были открыты, внутри они выглядели как разворошенные, только что покинутые постели. Немного в стороне — так, что я не сразу его заметил, — стоял письменный стол, за ним сидел мужчина могучего телосложения. В правой руке у него было перо; казалось, он что-то писал и как раз сейчас закончил, левая рука играла блестящей часовой цепочкой, выскользавшей из кармана жилета, и голова низко склонялась к ней. Какая-то уборщица подметала, но подметать было нечего.

Необъяснимое любопытство заставило меня потянуть за косынку, которая совсем закрывала ее лицо. Только теперь я увидел его. Это была еврейская девушка, которую я когда-то знал. У нее было полное белое лицо и узкие темные глаза. Теперь она усмехнулась мне — лохмотья на ней превращали ее в старую женщину, — и я сказал:

— Вы, похоже, разыгрываете тут какую-то комедию?

— Да, — сказала она, — вроде того. Как хорошо ты все понимаешь! — но затем указала на мужчину за письменным столом и прибавила: — Ну, теперь иди вон к нему, поприветствуй его, он здесь господин. Пока ты его не поприветствовал, я, вообще-то, не имею права с тобой разговаривать.

— А кто он такой? — тихо спросил я.

— Один французский дворянин, — сказала она, — де Пуатен его зовут.

— А как он сюда попал? — спросил я.

— Не знаю, — сказала она, — здесь такая неразбериха. Мы все ждем кого-то, кто наведет порядок. Это, случайно, не ты?

— Нет-нет, — сказал я.

— Очень разумно, — похвалила она, — но иди же к господину.

Мне ничего не оставалось, как пойти туда и поклониться. Поскольку он не поднимал головы — перед моими глазами были только его спутанные седые волосы, — я сказал «добрый вечер», но он все равно не пошевелился; маленькая кошка пробежала по краю стола, она выскочила буквально откуда-то из недр фигуры господина и снова там исчезла; быть может, он смотрел даже не на часовую цепочку, а вниз, под стол. Я уже хотел объяснить, каким образом я туда попал, но моя знакомая дернула меня сзади за пиджак и прошептала:

— Этого уже достаточно.

Более чем удовлетворенный, я повернулся к ней, и мы рука в руке прошли дальше в склеп. Ее веник мешал мне.

— Брось этот веник, — попросил я.

— Нет, извини, — сказала она, — пусть уж он останется при мне. Ты ведь понимаешь, что подметать здесь большого труда не составляет, да? Ну вот, а мне это все же дает некоторые преимущества, от которых я не хочу отказываться. Ты, кстати, здесь останешься? — спросила она отстраненно.

— Ради тебя я с удовольствием здесь останусь, — медленно сказал я.

Мы шли теперь, тесно прижавшись друг к другу, как влюбленная пара.

— Оставайся, о, оставайся, как я к тебе рвалась! Здесь вообще не так плохо, как ты, может быть, опасаясь. И какая нам двоим разница, что вокруг нас?

Мы молча прошли еще немного; руки мы разняли и шли теперь обнявшись. Мы шли по центральному проходу, справа и слева стояли гробы; склеп был очень большой, во всяком случае очень длинный. Нас окружала темнота, но не полная, а как бы сумеречная, однако и она еще немного просветлялась там, где были мы, и в маленьком круге пространства вокруг нас. Вдруг она сказала:

— Пойдем, я покажу тебе мой гроб.

Это поразило меня.

— Ты же не мертвая, — сказал я.

— Нет, — сказала она, — но, по правде говоря, я здесь совсем запугалась, я еще и поэтому так рада, что ты пришел. Ты очень скоро все поймешь, ты наверняка уже и сейчас видишь все яснее, чем я. Но как бы там ни было, гроб у меня есть.

Мы свернули в боковой проход, вновь между двумя рядами гробов. Расположением все это напоминало мне большой винный погреб, когда-то виденный мной. Идя по этому проходу, мы перешли и какой-то узкий — шириной не больше метра, — но быстрый ручей. Вскоре после этого мы уже стояли у гроба девушки. В его комплекте была красивая, отделанная кружевами подушка. Девушка села в него и поманила меня вниз — не столько указательным пальцем, сколько зовущим взглядом.

— Ты славная девочка, — сказал я, стянул с нее косынку и положил руку на мягкие волны ее волос. — Но я пока еще не могу остаться с тобой. Здесь в склепе есть кое-кто, с кем я должен поговорить. Ты не сможешь мне его отыскать?

— Ты должен с ним поговорить? Здесь же никакие обязательства не имеют силы, — сказала она.

— Но я не здешний.

— Ты думаешь, что еще выйдешь отсюда?

— Конечно, — сказал я.

— Тем более тебе не следует терять зря время, — сказала она. Потом пошарила под подушкой и вытащила оттуда рубашку. — Вот мой саван, — сказала она и протянула его мне снизу вверх, — но я его не ношу.

56. Я вошел в дом и закрыл за собой дверку в больших запертых на засов воротах. Из длинного, изгибавшегося дугой коридора взгляд вырвался в ухоженный внутренний садик с цветочной клумбой посередине. Слева от меня была стеклянная будка, в которой сидел портье; он склонился над газетой, подперев рукой лоб. Снаружи на стекло была наклеена частично закрывавшая портье большая картинка, вырезанная из иллюстрированного журнала; я подошел ближе, это явно был какой-то итальянский городок, большую часть иллюстрации занимал бешеный горный поток с могучим водопадом, дома городка на берегу были оттеснены на самый край листа.

Я поздоровался с портье и сказал, указывая на картину:

— Красивая картинка; я знаю Италию — как называется этот городок?

— Не знаю, — буркнул он, — детишки с третьего этажа наклеили это сюда, когда меня не было, чтобы меня позлить. Вам что угодно? — спросил он затем.

57. Мы немного посорились. Карл утверждал, что определено вернуть мне тот маленький театральный бинокль; хотя он ему очень понравился, хотя он долго крутил и вертел его в руках и, может быть, даже взял займы на несколько дней, но определено вернул. Я же, со своей стороны, пытался напомнить ему всю ситуацию, называл улицу, на которой все это происходило, гостиницу напротив монастыря, мимо которого мы как раз проходили, описывал, как он вначале хотел купить у меня этот бинокль, как потом предлагал мне разные вещи в обмен на него и как потом, разумеется, прямо попросил этот бинокль ему подарить.

— Почему ты отнял его у меня? — жалобно спросил я.

— Мой дорогой Йозеф, — сказал он, — это все ведь уже давно в прошлом. Хотя я и убежден, что этот бинокль я тебе вернул, но если бы даже ты мне его и подарил, чего теперь-то из-за этого себя мучить — и меня заодно? Тебе что, здесь без этого бинокля не обойтись? Или, может быть, его утрата сильно повлияла на твою жизнь?

— Ни то и ни другое, — сказал я, — мне просто обидно, что ты тогда отнял у меня этот бинокль. Я получил его в подарок и очень ему радовался, он был даже слегка позолоченный — помнишь? — и такой маленький, что его можно было постоянно носить в кармане. К тому же в нем были сильные стекла, и в него было лучше видно, чем в иные большие бинокли.

58. Я стоял недалеко от двери большого зала, вдали от меня, у задней стены, возвышалось королевское ложе, какая-то юная, нежная, чрезвычайно юркая монашенка хлопотала вокруг него, поправляла подушки, пододвигала столик с освежающими напитками, выбирала из них, что подать королю, и при этом держала под мышкой книгу, которую только что читала вслух. Король не был болен, ведь иначе он бы удалился в опочивальню, но все же вынужден был лечь: какие-то переживания свалили его на ложе и посеяли тревогу в его чувствительном сердце. Только что слуга возвестил о прибытии дочери короля с супругом, поэтому монашенка и прервала чтение. Мне было очень неловко: ведь я теперь, возможно, узнаю какие-то интимные подробности, но поскольку я уже был тут и никто не приказывал мне удалиться — может быть, с намерением, а может быть, потому, что обо мне в силу моей незначительности забыли, — то я счел своим долгом остаться здесь и только отошел в самый дальний конец зала. Неподалеку от короля открылась маленькая дверь в стене, и друг за другом вошли, сгибаясь, принцесса и принц, затем, уже в зале, принцесса оперлась на руку принца, и так, соединившись, они предстали перед королем.

— Я не могу продолжать это делать, — сказал принц.

— Перед свадьбой ты торжественно принял на себя обязательство, — сказал король.

— Я знаю, — сказал принц, — и тем не менее я не могу продолжать это делать.

— Почему? — спросил король.

— Я не могу дышать там, снаружи, этим воздухом, — сказал принц, — я не могу выносить там этот шум, я подвержен головокружениям, на высоте мне делается дурно — короче, я больше не могу это делать.

— В твоих последних словах есть какой-то смысл, — сказал король, — хоть и скверный, все остальное — пустые отговорки. А что скажет моя дочь?

— Принц прав, — сказала принцесса, — та жизнь, которую он сейчас ведет, это тяжелое бремя — и для него, и для меня. Ты, может быть, не вполне ясно представляешь себе это, отец. Он ведь должен быть постоянно наготове; в действительности это случается примерно раз в неделю, но готов он должен быть всегда. Сидим мы, к примеру, за столом маленьким обществом, позабыв на время все невзгоды, и невинно развлекаемся. Тут врывается страж и зовет принца; естественно, все приходится делать в крайней спешке, он вынужден раздеваться, втискиваться в тесный, отвратительно пестрый, почти клоунский, почти унижительный церемониальный мундир и спешить в нем, бедняжка, на выход. Наше общество распадается, и гости, к счастью, убегают, потому что когда принц возвращается, он не в состоянии говорить, не в состоянии выносить рядом кого-либо, кроме меня; иногда он валится на ковер, едва только переступив порог двери. Можно ли продолжать такую жизнь, отец?

— Женское нытье, — сказал король, — оно меня не удивляет, но то, что ты, принц, позволил ноющей женщине — теперь мне это ясно — уговорить себя отказаться от службы, мне больно.

59. Это участок длиной пять метров и шириной пять метров, то есть небольшой, но все-таки — земельная собственность. Кто его так отвел? Точно это не известно. Однажды пришел какой-то человек не из здешних, поверх одежды на нем было много всяких кожаных поясов, ремней, портупей и карманов. Он вытащил из одного кармана записную книжку, что-то записал и затем спросил:

— Кто заявитель?

Заявитель выступил вперед. Вокруг него в широкое полукольцо собралась половина населения дома; я тогда был маленьким мальчиком лет пяти, я все видел и слышал, но если бы много позже мне это не рассказали в подробностях, едва ли я знал бы что-нибудь об этом. Это было слишком непонятно для меня, и я не мог тогда быть очень уж внимательным, тем не менее мои собственные неясные воспоминания сильно оживили позднейший чужой пересказ. Так что я и сейчас буквально вижу, как этот нездешний смерил заявителя пристальным взглядом.

— То, чего ты просишь, не мелочь, — сказал нездешний, — ты отдаешь себе в этом отчет?

60. С успеваемостью у меня обстояло очень плохо, особенно в первых классах гимназии. Это было мучением для моей матери, молчаливо-гордой, крайним напряжением сил постоянно сдерживавшей свой беспокойный характер. Она была очень высокого мнения о моих способностях, но таила его, стеснялась в этом признаться, поэтому никого, с кем бы она могла это мнение обсудить, чтобы в нем укрепиться, у нее не было, и тем более мучительны были для нее мои неудачи, которые, разумеется, утаить было нельзя, которые в каком-то смысле говорили сами за себя, собирая отвратительную толпу посвященных, объединяющую весь преподавательский состав и

всех соучеников. Я был для нее печальной загадкой. Она не наказывала меня, не ругала, она видела, что, по крайней мере, в чрезмерном отсутствии прилежания меня упрекнуть нельзя; первое время она подозревала какой-то тайный заговор преподавателей против меня — и от этого подозрения никогда вполне не избавилась, — однако мой переход в другую гимназию и мои едва ли не еще худшие успехи на новом месте все же несколько поколебали ее уверенность в том, что преподаватели против меня настроены, но ее вера в меня была непоколебима. А я под ее печальным взглядом продолжал мою естественную детскую жизнь. У меня не было никакого тщеславия; когда я не срезался, я бывал доволен, а когда срезался, каковая угроза висела надо мной на протяжении всех моих школьных лет...

61. В городе идет постоянное строительство. Не для того, чтобы расширить город; он удовлетворяет насущным потребностям, его границы с давних пор неизменны — даже, кажется, существует некий известный страх перед его расширением; жители с готовностью себя ограничивают, переустраивают площади и парки, надстраивают новые этажи над старыми зданиями, но на самом деле подобные новостройки — отнюдь не главная цель этой непрекращающейся строительной активности. На самом деле она направлена на — скажем пока так — упрочение существующего. Это не значит, что раньше строили хуже, чем сейчас, и что теперь постоянно приходится исправлять прежние ошибки. Хотя некоторая небрежность у нас господствовала всегда — причем трудно разделить, что в ней от легкомыслия, а что от беспокойной нерешительности, — но как раз в строительстве у нее было менее всего возможностей проявиться. Мы ведь живем в стране каменоломен, строим почти исключительно из камня, даже и мрамор имеется, и то, что люди при строительстве могут упустить, компенсируется стойкостью и незыблемостью материала. К тому же в отношении к строительству нет различий между эпохами, одни и те же неизменные строительные правила действуют с древних времен, и хотя в силу особенностей национального характера они не всегда строго выполняются, но и это остается неизменным и справедливо как для самых старых построек, так и для самых новых. Вот есть, к примеру, под городом, на Римской горе, одна руина; это развалины сельского дома, который был здесь построен, должно быть, больше тысячи лет тому назад. Должно быть, его выстроил себе какой-нибудь богатый, старый и одинокий купец, после смерти которого дом, конечно, сразу же был заброшен: у нас нелегко найти того, кто захочет жить так далеко за чертой города. Таким образом, постройка была отдана на разрушение векам, а уж они-то, разумеется, работают тщательнее, чем строители. И если сегодня в какой-нибудь тихий воскресный день — даже и по дороге, когда вы будете пробираться сквозь густой кустарник на склонах горы, вас едва ли потревожит встреча с кем бы то ни было — вы подниметесь туда и посмотрите на эти развалины, то обнаружите лишь несколько стен основания, самая высокая из которых не выше человеческого роста, да где-нибудь заметите ушедшую под давлением времени в плотные слои земли тонкую, во многих местах выщербленную колонку, да сквозь почти черный плющ еще проглянет, более угадываемый, чем узнаваемый, торс какой-нибудь статуи. Вот, пожалуй, и все, если не считать двух-трех буквально сросшихся в монолит, твердых, как скала, куч щебня и нескольких кое-где торчащих из земли камней на склоне; все остальное сгнило. И все же по общему расположению еще и сейчас угадывается (предание это подтверждает), что здесь была обширная постройка, напоминавшая замок, а там, где сейчас едва прорастает, в кровь исколовшись о шипы, сквозь низкорослый, но густой кустарник, был красивый парк, деревьям и террасам которого суждено было надолго пережить сам дом.

62. Я совсем заблудился в этом лесу. Непонятно как заблудился, потому что еще недавно я шел хоть и не по дороге, но поблизости от нее, причем она все время оставалась в поле моего зрения. Но теперь я заблудился, дорога исчезла, и все попытки вновь ее отыскать оказались безуспешны. Я уселся на пенек, собираясь обдумать положение, но был рассеян и все время отвлекался от важнейшего на что-то другое, проплывая в мечтах мимо насущных забот. Потом мне в глаза бросились окружавшие меня кусты черники, густо усыпанные ягодами; я собирал их и ел.

Жил я в отеле «Эдтхофер», в «Альпийском Эдтхофере», или в «Кипрском», или еще в каком-то, — я уже не мог вспомнить его полное название, да, наверное, уже больше его и не увижу, тем не менее это был очень большой отель, к тому же с превосходным оборудованием и обслуживанием. Я прожил там едва ли больше недели, но почти каждый день менял комнату — Бог весть, почему, — так что часто не знал номера своей комнаты и, возвращаясь днем или вечером домой, вынужден был спрашивать у горничной, где мой теперешний номер. Правда, все комнаты, которые могли мне подойти, располагались на одном этаже и к тому же выходили в один коридор. Их было не много, блуждать мне не приходилось. Так, может быть, только этот коридор и предназначался для гостиничного использования, а весь остальной дом — для сдачи внаем или для чего-то еще? Сейчас я этого уже не знаю, а может быть, не знал и тогда, меня это не интересовало. И все же это невероятно: на доме были укреплены большие, далеко друг от друга отстоящие буквы (они были металлические, но без особого блеска, скорее матовые, с таким красноватым отливом), составлявшие слово «отель» и имя владельца. Или там было только имя владельца без обозначения «отель»? Это возможно, и тогда, разумеется, многое стало бы понятным. Но и сейчас, перебирая неясные воспоминания, я все же склоняюсь, скорее, к тому, что «отель» там был. По дому ходило много офицеров. Я, естественно, день проводил большей частью в городе — были всякие дела и нужно было столько всего посмотреть, — так что у меня оставалось не много времени для наблюдений за жизнью отеля, но офицеров я там видел часто. Правда, с отелем соседствовала казарма, и это даже было, вообще говоря, не соседство, между отелем и казармой, очевидно, существовали другие связи, более свободные и более тесные. Сейчас все это уже нелегко описать, да и тогда было нелегко, и всерьез я не пытался это выяснить, хотя такая неясность порой доставляла мне неудобства. Так, иногда, возвращаясь домой в рассеянности, вызванной шумом большого города, я не сразу мог найти вход в отель. Впрочем, вход туда в самом деле, кажется, был очень маленьким; более того — хотя это, разумеется, и было бы странно, но — там, может быть, вообще не было никакого, собственно, входа в отель, а те, кто хотел в него войти, вынуждены были проходить через дверь ресторана. Ну хорошо, пусть бы это было так, но даже и эту дверь ресторана я не всегда мог отыскать. Иногда, думая, что стою перед отелем, я в действительности стоял перед казармой; хотя там была совершенно другая площадь, тише и чище, чем перед отелем — просто мертвецки тихая и образцово чистая, — но все же такая, что одну можно было спутать с другой. А чтобы оказаться перед отелем, нужно было еще завернуть за угол. Однако сейчас мне кажется, что иногда (правда, только иногда) получалось иначе и даже с этой тихой площади удавалось — например, с помощью какого-нибудь офицера, которому было по пути — сразу найти дверь в отель, причем не какую-то другую, вторую дверь, а именно ту самую, которая одновременно была и входом в ресторан, — узкую, занавешенную изнутри красивой белой, украшенной лентами портьерой, чрезвычайно высокую дверь. При этом здания отеля и казармы различались принципиально: отель был построен в обычном гостиничном стиле, правда, с некоторым уклоном в доходный дом, казарма же, напротив, — в виде маленького романского замка, приземистого, но просторного. Казарма объясняла присутствие офицеров, однако рядовых я никогда не видел. Я уже не помню, откуда я узнал, что дом, похожий на маленький замок, был казармой, но у меня, как упоминалось, нередко возникали причины интересоваться им, когда, с досадой отыскивая дверь в отель, я крутился на этой тихой площади. И только оказавшись наверху, в своем коридоре, я чувствовал себя в безопасности. Мне было там очень уютно, и я был счастлив, что в этом большом чужом городе нашел такое удачное место.

63. Что ты напустился на меня, как черт? Я тебя не знаю, я тебя вообще впервые вижу. Ты давал мне деньги, чтобы я купил тебе в этом магазине конфет? Да нет, это явная ошибка, не давал ты мне никаких денег. Ты не спугнул ли меня с моим товарищем, Фрицем? Но, правда, он на меня не похож. Что ты расскажешь это учителю в школе, я нисколько не боюсь. Он меня знает и твоим обвинениям не поверит. И мои родители тебе этих денег тоже не вернут, можешь не сомневаться, да и с какой стати, когда я от тебя ничего не получал? И если бы они даже захотели тебе что-то дать, так я бы их попросил этого не делать. А теперь пусти меня. И не смей за мной идти, а то я скажу вон тому полицейскому. Ага, к полицейскому идти не хочешь...

64. Прочь отсюда, только прочь отсюда! Можешь не говорить мне, куда ты меня ведешь. Где твоя рука? ах, я не могу найти ее в этой темноте. Если бы только я уже держал тебя за руку, тогда уж, я думаю, ты бы меня не оставил. Ты слышишь меня? Ты, вообще, — в комнате? Может быть, тебя здесь вовсе и нет. Да и что могло привлечь тебя сюда, во льды и туманы Севера? кто вообще заподозрит, что здесь есть люди? Тебя нет здесь. Ты отступился от этих мест. А я встаю и ложусь с одной мыслью: здесь ты или нет?

65. Чтобы хромые считали, что они ближе к полету, чем прямоходящие! И при этом многое даже свидетельствует в пользу такого мнения. В пользу чего только не свидетельствует это многое.

66. Бедный покинутый дом! Был ли ты когда-то обитаем? Об этом не сохранилось свидетельств. Никто не исследовал твою историю. Как холодно в твоих стенах. Как гуляет ветер в твоих печальных коридорах, не встречая препятствий. Если ты и был когда-то обитаем, то все следы этого непостижимо стерлись.

67. Я похоронил мой разум в руке; веселый, я хожу с высоко поднятой головой, зато рука устало повисла, разум тянет ее к земле. Взгляни только на эту маленькую, обтянутую заскорузлой кожей, прошитую венами, сморщенную складками, жилистую пятипалую руку, — как хорошо, что мне удалось спасти разум, схоронив его в этом незаметном хранилище. В особенности большие преимущества дает то, что у меня две руки. Словно в детской игре, я спрашиваю: в какой руке у меня разум? И никто не может угадать, потому что по морщинам моих рук я в один миг могу перенести разум из одной руки в другую.

68.

Снова я, снова я сослан в даль, сослан в даль.

Горы, доли, ширь степей мне пройти придется.

69. Я охотничий пес. Каро моя кличка. Я ненавижу всё и всех. Я ненавижу своего хозяина, охотника, хотя эта сомнительная личность не стоит даже ненависти.

70. Мечтательно склонил головку цветков на высоком стебле. Вечерние сумерки обнимают его.

71. Это не был балкон, просто на месте окна была дверь, которая здесь, на четвертом этаже, открывалась прямо в пустоту. В этот весенний вечер она была открыта. Студент, зубря, ходил по комнате взад и вперед; оказываясь возле этой двери-окна, он всякий раз ширкал подошвой по ее порогу снаружи — подобно тому, как быстро облизывают языком что-нибудь сладкое, оставляя его себе на потом.

72. Многообразия, которые многообразно ввинчиваются в многообразия того мгновения нашей жизни, в котором мы живем. И подумать только: это мгновение все еще не кончилось!

73. Далеко, далеко от тебя творится мировая история, — мировая история твоей души.

74. Никогда, никогда больше не вернешься ты в этот город, никогда больше не зазвонит по тебе большой колокол.

75. Скажи, как тебе живется в том мире?

На вопрос о моей жизни я, вопреки обычаю, отвечаю откровенно и конкретно. Мне хорошо, ибо, в отличие от прежнего, я живу теперь в большом обществе, со многими связан и способен моими знаниями и моими ответами удовлетворить толпы тех, которые стремятся войти со мной в сношения, по крайней мере они приходят ко мне вновь и вновь с той же страстью, что и в первый раз. А я вновь и вновь говорю им: приходите, вы всегда можете рассчитывать на взаимность. И хоть я не всегда понимаю, что вы хотите узнать, но, скорей всего, это даже и не обязательно. Для вас важно мое существование, а поэтому важны и мои высказывания, так как они подтверждают мое существование. Думаю, я не ошибаюсь в этом предположении, а потому беру на себя смелость давать ответы и, надеюсь, доставляю вам этим радость.

В твоём ответе нам кое-что неясно, не мог бы ты объяснить нам все по порядку?

Ах вы, пугливые, воспитанные дети, — спрашивайте же, спрашивайте!

Ты говоришь о каком-то большом обществе, в котором ты вращаешься, — что это за общество?

Но это же вы, вы сами. Это ваша маленькая застольная компания, в каком-нибудь другом городе — другая, и так — во многих городах.

Значит, ты это называешь «вращаться в обществе». Но позволь, ведь ты, как ты утверждаешь, — наш старый школьный товарищ Крахубер. Да или нет?

Ну да, это я.

Ну, значит, ты посещаешь нас в качестве нашего старого друга, а мы, не имея сил забыть о том, как мы тебя потеряли, привлекаем тебя

суда своими просьбами и облегчаем тебе проезд. Это так?

Да-да, конечно.

Но ведь ты вел уединенную жизнь, мы не верим, что у тебя вообще где-то, кроме нашего города, есть друзья или знакомые. Кого же ты тогда посещаешь в этих городах и кто зовет тебя туда?

76. Мы причалили. Я сошел на берег; это была маленькая гавань маленького городка. Какие-то люди бродили вокруг по мраморным плитам, я заговорил с ними, но не понял их языка. По-видимому, это был какой-то итальянский диалект. Я позвал моего рулевого, он по-итальянски понимает, но этих людей тоже не понял; он сказал, что это не итальянский. Впрочем, все это меня не слишком беспокоило, у меня было единственное желание — немного отдохнуть, наконец, после бесконечного плавания, а для такой цели это место годилось так же, как и любое другое. Я еще раз поднялся на борт, чтобы сделать необходимые распоряжения. Всей команде было приказано пока что оставаться на корабле, только рулевой должен был сопровождать меня; я слишком отвык от твердой земли и, наряду со стремлением к ней, мной овладел и некий известный страх, от которого было никак не отделаться, поэтому рулевой и должен был меня сопровождать. Кроме того, я еще спустился в женскую каюту. Жена кормила грудью нашего младшего, я погладил ее нежное раскрасневшееся лицо и сообщил о своих планах. Она, подняв ко мне лицо, одобрительно улынулась.

77. Как ни хотелось мне этого избежать, я все же вынужден вновь досаждать Вам моим основным возражением (это не было возражением, так далеко я не захожу, это было лишь выражением неприятия) против Вашего «Швайгера», еще раз вернувшись к нему. После нашего тогдашнего вечернего разговора я всю ночь чувствовал невыносимую тяжесть, и если бы наутро одно неожиданное событие не отвлекло меня, я наверняка написал бы Вам сразу.

Мучительное воспоминание о том вечере (а я вспоминал разговор с самого начала, с открывания двери, с того, как подошел — со злостью, и она отняла у меня почти всю радость этого посещения) было вызвано тем, что я, собственно, ничего против «Швайгера» не высказал, просто поболтал немного, да к тому же был зануден, тогда как то, что — прекрасно — говорили Вы в оправдание некоторых особенностей пьесы, показалось мне неожиданным и совершенно справедливым. Однако опровергнуть мои убеждения это не могло, они стали совершенно неопровержимы задолго до того, как я дошел до этих особенностей. Если же я тем не менее не мог сформулировать мои возражения так, чтобы они стали понятны хотя бы мне самому, то причина этого в моей слабости, проявляющейся не только в мышлении и речи, но и в приступах своего рода сознательного бессилия. Пытаюсь я, к примеру, высказать что-то против пьесы, и уже на второй фразе это бессилие начинает одолевать меня вопросами: «О чем ты говоришь? О чем вообще речь? Что это такое, литература? Откуда она приходит? Какая от нее польза? Какие же все это сомнительные вещи! А наложи на эту сомнительность еще сомнительность твоих речей — и получится что-то чудовищное. Как тебя занесло на эти бесполезные горные тропы? Заслуживает ли это серьезных вопросов, серьезных ответов? Возможно, но не твоих: это дело высочайших правителей. Скорей назад!» И это «назад» означает, что я тут же оказываюсь в крошечной тьме, из которой меня уже не может извлечь ни помощь моего оппонента, ни чья бы то ни было еще. В себе Вы, похоже, ничего подобного не замечали, хоть и написали «Человека из зеркала». Впрочем, я и в спокойном состоянии отдаю должное этому внутреннему собеседнику, Вы иногда слишком строги к нему, а ведь он — не более чем ветер, играющий воздушными существованиями и продлевающий жизнь опавшим листьям.

И тем не менее я все же хочу еще попытаться преодолеть эту крошечную немощь и кратко высказать, что меня оскорбляет в «Швайгере».

Прежде всего, я ощущаю нечто заведомо ложное в том, что «Швайгер» низведен до уровня какого-то — пусть даже и трагического — особого случая; действительность пьесы, взятой в целом, запрещает это. Когда рассказывают какую-нибудь сказку, каждому ясно, что все вверено чуждым силам и суд текущего времени исключен. Но здесь это не ясно. Пьеса внушает, что казус Швайгер рассматривается только сегодня, и именно в этот вечер, скорее случайно, чем намеренно, что точно так же этот процесс мог быть проведен в соседнем доме с каким-то совсем иным укладом жизни. Но этому утверждению пьесы я не могу поверить; если в других домах этого города католической Австрии, который выстроен вокруг Швайгера, вообще кто-то живет, то тогда там в каждом доме живет Швайгер и никто иной. К тому же прочие персонажи пьесы не имеют собственных жилищ, они живут со Швайгером, они — сопутствующие ему явления. У Швайгера и Анны нет даже возможности доказать где-то, что они счастливая супружеская пара, это честно признается умолчанием; быть может, то, чего они хотят, вообще невозможно, никто в пьесе не смог бы это опровергнуть; откуда взялось столько детей на этой дунайской посудине — загадка. И почему — этот городок, почему Австрия, почему мелкий, утонувший во всем этом особый случай?

Но Вы делаете его еще более особым. И кажется, будто Вам все еще не хватает его особенности. Вы придумываете историю с детоубийством. Я вижу в этом какое-то унижение страданий, выпавших на долю поколения. Тот, кто не может здесь сказать больше, чем говорит психоанализ, не должен был бы высказываться. Возиться с психоанализом — не большая радость, и я стараюсь держаться от него как можно дальше, но он существует по крайней мере так же реально, как и это поколение. Иудаизм с давних пор к своим выражениям страдания и радости почти одновременно добавлял соответствующий РАШИ-комментарий, — так и здесь. {119}

78. Я был недавно в М. Мне надо было кое-что обговорить с К. В общем-то, никакой особой срочности не было, все прекрасно можно было уладить письменно, хотя это и затянуло бы дело (однако поскольку оно было не срочное, никакого ущерба это не нанесло бы), но как раз выдалось свободное время, и у меня возникло желание быстро и без лишних церемоний объясниться с К., к тому же я еще не бывал в М., посмотреть который мне когда-то советовали, короче, я решил туда съездить, не успев, к сожалению — на это уже не оставалось времени — заранее удостовериться в том, что застану сейчас К. в М.

И действительно, К. не оказалось дома. Как мне рассказали в М., он почти никогда не покидал городка, он вообще был необычайно оседлым человеком, но как раз из-за этого накапливались разные дела, которые все-таки требовали обсуждения на месте; хоть это было и недалеко, в окрестностях М., однако нужно было эти давно уже назревшие поездки, наконец, совершить, от чего К., как мне полусмеясь-полувздыхая рассказала его сестра, буквально накануне моего приезда был в ужасном настроении, но все-таки вынужден был в конце концов послать запрягать для большой поездки. А чтобы избавить себя от новых поездок в обозримой перспективе, К. решил на этот раз охватить одним большим объездом — пусть даже он продлится несколько дней — всё без исключения, что требовалось привести в порядок и даже, по возможности, сделать теперь те поездки, которые только грозили в будущем, вплоть до того, что в план был включен

заезд на свадьбу одной племянницы. Когда К. вернется, с уверенностью сказать было нельзя; правда, речь шла лишь о поездке по дальним окрестностям М., однако деловая программа была очень обширна, а кроме того, К., когда уже он, наконец, отправлялся в какую-то поездку, бывал непредсказуем. Возможно, после первой или второй ночи, проведенной в деревне, эти разъезды настолько ему опротивеют, что он прервет поездку, неотложные дела останутся неотложными, а он сегодня или завтра вернется. Но точно так же было возможно, что, оказавшись, наконец, в дороге, он обрадуется перемене, а живущие вокруг многочисленные друзья и родственники даже заставят его продлить поездку сверх безусловно необходимых пределов, потому что он, в сущности, — веселый, общительный человек, который любит, когда его окружает большое общество, которого радует заслуженное честной работой уважение к нему — особенно в некоторых деревнях его встречают просто с помпой, — к тому же благодаря личному влиянию и знанию людей он способен несколькими словами в мгновение ока достигать того, чего заочно никакими силами добиться невозможно. А когда он видит такой успех, у него, естественно, возникает желание продолжать, и это тоже может затянуть поездку.

79. [Второй вариант.] И действительно, К. не оказалось дома. Я узнал это в его конторе и, чтобы прояснить ситуацию, сразу же отправился к нему на квартиру. По провинциальным меркам квартира была удивительно большая, во всяком случае та первая комната, в которую меня провела служанка. Это был почти зал, притом уютный, но отнюдь не перегруженный всякими мелочами; расстояния между отдельными предметами аккуратно расставленной мебели были выбраны удачно, предметы хорошо смотрелись, объединяясь в то же время в единое целое, в котором, кроме того, ощущалось некое дыхание почтенной семейной традиции. И следующая комната, насколько можно было видеть сквозь поблескивавшую стеклянную дверь, казалась такой же. Там вскоре и появилась сестра К.; спеша, чуть не задыхаясь, она успела еще повязать белый плиссированный фартук горничной и затем вышла ко мне. Это была хрупкая, маленькая, очень вежливая и любезная девица, она необычайно сожалела о том, что мой приезд так неудачно совпал с отъездом брата — он как раз вчера уехал, — прикидывала разные варианты, но ничего не могла придумать; она, естественно, сразу же связалась бы с братом, однако такой возможности не было, так как он уехал в короткую, рассчитанную всего на несколько дней деловую поездку по отдаленным окрестным деревням, маршрут которой будет зависеть от потребностей момента, поэтому никакого определенного адреса указать нельзя. К тому же, добавила она усмехнувшись, это в характере ее брата: он любит время от времени ускакать куда-нибудь, где до него не добраться, и поколесить немного по свету.

80. На ручке трости Бальзака: «Я ломаю все преграды».

На моей: «Все преграды ломают меня».

Общее — это слово «все».

81. Признание, безусловное признание, распахивающиеся ворота, и в недрах дома тебе является тот мир, отблеск которого до сих пор смутно виднелся снаружи.

82. Что в мире есть страх, печаль и тоска, он понимает, но лишь постольку, поскольку это общие, смутные, скользкие по поверхности чувства. Все остальные чувства он отрицает; то, что мы называем этим словом, для него лишь видимость, сказки, отражения опыта и воспоминаний.

Как может быть иначе, думает он, если наши чувства никогда не поспевают за действительными событиями — не говоря уж о том, чтобы опережать их. Мы переживаем только до и после действительного события, протекающего с принципиально непостижимой скоростью; наши переживания — это грезоподобные, ограниченные только нашим восприятием поэтические творения. Мы живем в полночной тишине и переживаем восход или заход солнца, поворачиваясь на восток или на запад.

83. Недостаток жизненной силы, неправильное воспитание, холостяцкое существование порождают скептика, но не обязательно; чтобы спасти свой скепсис, иной скептик женится — по крайней мере идеально — и становится верующим.

84. Осенний вечер, улица, темнота под деревьями. Я спрашиваю тебя, ты не отвечаешь мне. Ах, если бы ты мне ответила, если бы приоткрылись твои губы, ожил этот мертвый глаз и прозвучало слово, предназначенное мне!

85. Отворилась дверь, и в комнате появился довольно упитанный, с пышно округлившимися боками, безного продвигавшийся вперед движениями всей нижней половины туловища зеленый змий. Официальные приветствия. Я прошу его войти целиком. Он сожалеет, что не может этого сделать, поскольку слишком длинен. Дверь, таким образом, должна оставаться открытой, что весьма неприятно. Он отчасти смущенно, отчасти злобно усмехается и начинает:

— Вызванный твоей жаждой, я приполз сюда издалека, стерев себе до крови уже весь низ. Но я с готовностью пошел на это. Я охотно прибыл и охотно предоставляю себя в твое распоряжение.

86. Свет обрушился вниз могучим ударом, прорвал разлетевшуюся во все стороны материю и безжалостно запылал в просветах оставшейся крупноячеистой сети. А внизу, словно захваченный врасплох зверь, вздрогнула и неподвижно застыла земля. Очарованные, они смотрели друг на друга. И, смущенный этой встречей, третий отошел в сторону.

87. Когда-то я сломал себе ногу; это было счастливейшим событием моей жизни.

88. Полумесяц, кленовый лист, две ракеты.

89. От своего отца я унаследовал только маленькую серебряную перечницу.

90. Когда началась схватка и пятеро тяжеловооруженных людей спрыгнули с откоса на дорогу, я проскользнул под повозкой и в полной темноте кинулся бежать к лесу.

91. Мы закончили ужин, но еще сидели за столом; отец покойно откинулся на спинку своего кресла — одного из самых больших предметов мебели, которые я когда-либо видел — и курил в полудреме трубку, мать пришивала заплату к каким-то из моих штанов, она склонилась

над работой и ни на что больше не обращая внимания, дядя, с пенсией на носу, клонясь прямой спиной к лампе, читал газету. Я, весь вечер пробежав на улице и только после ужина вспомнив про домашнее задание, приготовил тетрадь и учебник, но был слишком усталым, у меня хватало сил только на то, чтобы отделять обложку тетради змеистыми орнаментами; забытый взрослыми, я склонялся над тетрадью все ниже и уже почти лежал на ней. И тут появился Эдгар, соседский мальчишка, которого, вообще-то, давно уже должны были отправить в постель; он совершенно беззвучно вошел в дверь, сквозь которую я, к моему изумлению, увидел не нашу темную прихожую, а яркую луну над широким зимним ландшафтом.

— Идем, Ганс, — сказал Эдгар, — учитель ждет на улице в санях. Как ты собираешься сделать это задание без помощи учителя?

— А он станет мне помогать? — спросил я.

— Да, — сказал Эдгар, — сейчас самый подходящий момент, он как раз едет в Куммерау и от того, что прокатится в санях, в самом лучшем настроении, поэтому ни в какой просьбе не откажет.

— А родители разрешат?

— Ты же не станешь их спрашивать...

92. Задание было очень трудным, и я боялся, что не смогу с ним справиться. К тому же было уже поздно, слишком поздно я за него взялся, пробежав весь долгий вечер на улице; отцу, который, возможно, помог бы мне, я ничего про несделанные уроки не сказал, и вот теперь, когда все уже спали, сидел один над своей тетрадью.

— Кто мне теперь поможет? — прошептал я.

— Я, — сказал какой-то незнакомый человек и медленно опустился на стул, стоявший возле узкого края стола справа от меня (так клиенты моего отца, адвоката, садились, горбясь, сбоку от его письменного стола), оперся локтем о стол и вытянул ноги далеко в комнату.

Я чуть не подскочил, но это же был мой учитель; разумеется, задание, которое он сам задал, он сумеет сделать лучше всех. И он, подтверждая это мнение, дружелюбно кивнул мне — или высокомерно, или иронически, — я не мог определить. Но действительно ли это был мой учитель? Внешне, в общих чертах, это был вылитый он, но при ближайшем рассмотрении некоторые детали вызвали сомнение. К примеру, у него была борода моего учителя — в точности его жесткая, редкая, торчащая, черная с проседью, закрывающая верхнюю губу и весь подбородок длинная борода. Но стоило наклониться к нему, как возникало впечатление, что она искусственная, и нельзя было отделаться от ощущения, что этот якобы учитель наклоняется мне навстречу и, поддерживая бороду рукой снизу, предлагает ее для исследования.

93. Великий Исахар, повелитель снов, сидел у зеркала; его спина тесно прижималась к зеркальной поверхности, а далеко запрокинутая голова глубоко уходила в нее. Тут появился Хермана, повелитель рассвета, и стал погружаться в грудь Исахара, пока целиком не исчез в ней.

94. В нашем городке не бывает чужих: он затерялся среди высоких гор, его почти не найти. К нам наверх ведет только одна узкая тропа, да и та часто теряется в непроходимых завалах каменных глыб, и только местный житель способен вновь отыскать ее.

95. Я должен был исповедаться, но не знал, что сказать. Все заботы отступили, сквозь полуоткрытую дверь церкви была видна веселая спокойная площадь в ярких солнечных пятнах, и ни одно из них не дрожало. Я пытался хотя бы припомнить страдания последнего времени, я хотел проследить их порочные корни, но это было невозможно: я не вспомнил никаких страданий, и никаких корней во мне они не имели. Вопросы исповедника я едва понимал, то есть я прекрасно понимал слова, однако, как ни старался, не мог услышать в них ничего, что имело бы хоть малейшее отношение ко мне. Некоторые вопросы я просил его повторить, но это нисколько не помогало, они были словно те кажущиеся знакомыми лица, в отношении которых память обманывается.

96. Ураганный ветер, безумие листы, тяжелая дверь, слабый стук в нее, притиение мира, введение гостей, огромное удивление, какой треск, необычный рот, невозможно согласиться с этим, работа с оглядкой, молот ударяет раз за разом, инженеры уже идут? Нет, какая-то задержка, директор угощает их, провозглашается тост, молодые люди, примешивается журчание ручья, какой-то старик смотрит, как это живет и цветет; но вернись в неземную, божественную юность, чтобы это почувствовать, возвышенный мотылек, порхающий вокруг настольной лампы, да, мой маленький, мой крохотный, напоминающий кузнечика застольный товарищ, сидящий на стуле на корточках, поджав ноги.

97. Наш директор молод, у него большие планы, он все время подгоняет нас, тратя на это безгранично много времени, и каждый из нас в отдельности для него так же важен, как все мы вместе. Подле какой-нибудь мелкой сошки, которую мы едва замечаем, он способен провести целый день; он садится с ней на один стул, он обнимает ее, он накрывает ее колено своим, он завладевает ее ухом, которое не должно быть доступно больше ни для кого, и только после этого начинает работать.

98. Наш шеф очень сторонится персонала, бывает, что мы не видим его по целым дням, в то время как он сидит в кабинете, который находится хоть и в этом же служебном помещении, но за выгородкой с матовыми стеклами высотой в человеческий рост, а войти в кабинет можно как через служебное помещение, так и из коридора. Шеф не чурается нас, и, по всей вероятности, никакого особого расчета в этой отстраненности нет, но она вполне соответствует его характеру. Он не считает необходимым или полезным подгонять персонал, добываясь от нас какого-то особенного усердия; по мнению шефа, кто сам не понимает, что надо трудиться изо всех сил, тот не может быть хорошим помощником в деле, и в спокойно ведущемся, однако целиком использующем все имеющиеся явные возможности деле вообще не сможет удержаться — и даже настолько сильно будет чувствовать свою чужеродность, что не станет ждать, пока его уволят, а уволится сам. И произойдет это так скоро, что ни делу, ни работнику большого ущерба не будет. По нынешним временам подобное отношение для делового мира, безусловно, не типично, но у нашего шефа оно себя явно оправдывает.

99. Сохранять спокойствие; находиться очень далеко от того, чего хочет страсть; знать силу течения и поэтому плыть против него; плыть против течения ради удовольствия быть снесенным.

100. Лавочка эта маленькая, но внутри царит большое оживление; с улицы входа в нее нет, надо пройти через подъезд, пересечь небольшой двор, и только тогда окажешься перед дверью, над которой висит табличка с именем владельца лавки. Это бельевой магазин, там торгуют готовым бельем, но еще больше — необработанным полотном. Непосвященному, впервые зашедшему в лавку, показалось бы совершенно невероятным количество продаваемого белья и полотна или, вернее, — поскольку общих результатов торговли ведь не увидишь, — то, в каких объемах и с какой интенсивностью идет торговля. Как сказано, прямого входа в лавку с улицы нет, но мало того, не видно, чтобы и со двора подошел хоть один клиент, а в лавке тем не менее полно людей, и постоянно видишь все новых, старые же исчезают неизвестно куда. Есть, правда, еще широкие пристенные полки, но, в основном, эти стеллажи устроены вокруг колонн, поддерживающих разделенный на множество маленьких сводов потолок. Из-за такого расположения ни с какого места нельзя точно определить, сколько в лавке людей: в хороводах вокруг колонн появляются все новые лица, а кивания голов, оживленные движения рук, шарканье семенящих в толпе ног, шуршание развертываемого перед клиентами товара, бесконечные обсуждения и препирательства, к которым никогда, даже если дело касается только одного покупателя и одного продавца, не остается безучастным, кажется, никто в лавке, — все это увеличивает неразбериху до степени нереальности. В углу помещается деревянный чулан; он широкий, однако не выше, чем требуется для того, чтобы в нем могли поместиться сидящие люди; это контора. Дощатые стены явно очень крепки, дверь крохотная, окон проделывать не стали, имеется только смотровое окошко в двери, впрочем, оно занавешено снаружи и изнутри; несмотря на все это, нельзя не удивляться, как, при таком шуме снаружи, можно в подобной конторе заниматься требующей покоя письменной работой. Иногда висящая внутри на двери темная портьера отдергивается, и тогда видно, что там, занимая весь проем двери, стоит маленький конторский помощник с пером за ухом и, приложив руку козырьком к глазам, с любопытством — или выполняя поручение — наблюдает за суетой в лавке. Однако длится это недолго, вот он уже скользнул назад и так быстро задернул за собой портьеру, что внутрь конторы не успевает проникнуть даже самый быстрый взгляд. Существует некая связь между конторой лавки и кассой. Эта последняя расположена рядом с дверью лавки и обслуживается молодой девушкой. У нее не так много работы, как может показаться на первый взгляд. Не все платят наличными, таких даже меньшинство; очевидно, имеются и другие возможности расчета.

101. Проведи сон сквозь ветви дерева. Вереница детей. Предостережение наклонившегося отца. Переломить полено на колене. Поблуднеть и в полубомороке прислониться к стене чулана, подняв глаза к небу, словно ожидая от него спасения. Лужа на дворе. Сзади давнее громыхание сельскохозяйственного инвентаря. Быстро и часто петляющая на спуске тропинка. Временами идет дождь, но временами и светит солнце. Выскочивший бульдог заставляет отшатнуться несущих гроб.

102. Давно, давно уже хотел я попасть в этот город. Это большой, оживленный город, там живут многие тысячи людей, и туда пускают всех чужих.

103. Среди облетевших осенних листьев в аллее был найден следующий воинский приказ (кто его издал и к кому он относился, установить не представляется возможным):

«Наступление начнется сегодня ночью. Все, что было раньше: оборона, отступление, бегство, рассредоточение...»

104. Сквозь аллею — какая-то незавершенная фигура: лоскут дождевика, одна нога, передний край поля шляпы, перемежающийся, перебегающий с места на место дождь.

105. Друзья стояли на берегу. Человек, который должен был доставить меня на корабль, поднял мой чемодан, чтобы отнести в лодку. Я знаю этого человека уже много лет, и он всегда ходил, низко согнувшись, — какая-то болезнь так скрутила его, вообще-то обладавшего гигантской силой.

106. Что тревожит тебя? Что смущает твою душу? Кто тянется к ручке твоей двери? Кто зовет тебя с улицы, но не хочет войти в распахнутые ворота? Ах, это именно тот, которого тревожишь ты, душу которого ты смущаешь, тот, к ручке двери которого ты тянешься, тот, кого ты зовешь с улицы и к кому ты не хочешь войти в распахнутые ворота.

107. Они входили в распахнутые ворота, и мы выходили им навстречу. Мы обменивались свежими новостями. Мы смотрели друг другу в глаза.

108. Карета была совершенно непригодна. Правое переднее колесо отсутствовало, из-за чего правое заднее было перегружено и деформировалось; дышло было сломано, и обломок его валялся на крыше кареты.

109. Нам принесли маленький старинный стенной шкафчик. Он составлял все наследство, полученное соседом после смерти одного дальнего родственника; сосед пытался разными способами открыть шкафчик и, поскольку это не удалось, в конце концов принес его моему хозяину. Задача была не из легких. Мало того, что не было ключа, но не удавалось обнаружить и замок. Либо где-то там был какой-то скрытый механизм, и только очень опытный в таких вещах человек мог понять, как его открыть, либо шкафчик вообще нельзя было открыть, а можно было только взломать, что, разумеется, было чрезвычайно просто осуществить.

110. Господин Омберг, учитель средней школы этого городка, встречал нас на вокзале. Он возглавлял комитет, поставивший перед собой задачу освоения грота. Маленький, подвижный, умеренно полный мужчина с какой-то бесцветно-белокурой бородкой клинышком. Не успел еще поезд остановиться, как он уже стоял на подножке нашего вагона, и не успел еще первый из нас сойти, как господин Омберг уже держал краткую приветственную речь. Он явно очень хотел исполнить все обычные в таких случаях формальности, но важность дела, которое он представлял, придавливала своим весом все формальности, превращая их в пародию.

111. Веселую компанию несло вниз по течению. Какой-то воскресный рыбак. Недостижимая полнота жизни. Разбей ее! Деревяшка на мертвой зыби. Тоскливо набегающие волны. Несущие тоску.

112. Бежать, бежать. Взгляд из боковой улочки. Высокие дома, и еще намного выше их — церковь.

113. Характерная особенность этого города — его пустота. К примеру, большая рыночная площадь всегда пуста. Трамваи, пути которых там перекрещиваются, всегда пусты. Громко, звонко звучат их освобожденные от текущих надобностей звонки. Большой пассаж, начинающийся на рыночной площади и ведущий сквозь множество домов к одной отдаленной улице, всегда пуст. За многочисленными столиками кофеен, расставленными по обе стороны от входа в пассаж, нет ни одного посетителя. Большие двери старой церкви, стоящей в центре площади, широко распахнуты, но никто не входит и не выходит. Ведущие к дверям мраморные ступени с какой-то прямо-таки необузданной силой отражают падающий на них солнечный свет.

Это мой старый, мой родной город, и я медленно брожу, спотыкаясь, по его улицам.{120}

114. Это опять та же старая борьба с тем же старым гигантом. Впрочем, он не борется, борюсь только я, а он лишь наваливается на меня, как работник на стол в трактире, скрещивает сверху, на моей груди, руки и давит на свои руки подбородком. Выдержу ли я эту тяжесть?

115. Сквозь городской туман. В узкой улочке, одну сторону которой образует увитая плющом стена.

116. Я стою перед моим старым учителем. Он усмехается мне и говорит:

— Как же так? Прошло уже столько времени с тех пор, как я тебя освободил от моих занятий. Если бы не моя нечеловечески крепкая память на всех моих учеников, я бы тебя сейчас и не узнал. А так я тебя определенно узнаю, да, ты — мой ученик. Но для чего ты вернулся?

117. Это мой старый, мой родной город, я снова вернулся сюда. Я состоятельный горожанин, имею в старом городе дом с видом на реку. Дом старый, двухэтажный, с двумя большими дворами. Я владелец каретного предприятия, в обоих дворах целый день визжат пилы и стучат молотки. Но в жилых комнатах, расположенных в передней части дома, ничего этого не слышно, там царит глубокая тишина, а маленькая, огражденная со всех сторон и открывающаяся только на реку площадь всегда пуста. Эти большие жилые комнаты с паркетными полами, немного затемненные портьерами, обставлены предметами старинной мебели, и я люблю, запахнувшись в подбитый ватой халат, бродить среди них.

118. Ничего подобного, поперек слов ложатся остатки света.

119. Закаленное тело понимает свою задачу. Я ухаживаю за этим зверем со все возрастающей радостью. Я вижу в этих карих глазах благодарный блеск. Мы с ним едины.

120. Я определенно заявляю здесь: все, что обо мне рассказывают, — ложь, если при этом исходят из того, что я — первый человек, ставший сердечным другом лошади. Удивительно, как можно распространять такое чудовищное утверждение и верить ему, но еще более удивительно легкомысленное отношение к подобному слуху; его распространяют, ему верят, но, покачив головой и чуть ли не ограничившись этим, о нем забывают. Тут скрыта какая-то тайна, исследование которой было бы, вообще говоря, более заманчиво, чем то небольшое, что я действительно сделал. А сделал я лишь следующее: я прожил один год с лошадью как человек, живущий с какой-нибудь девушкой, которую он чтит, но которой он отвергнут, тогда как внешне для него нет никаких препятствий в осуществлении того, что соответствовало бы его цели. Короче, я заперся в конюшне вместе с лошадью Элеонорой и покидал это место нашего совместного пребывания только для проведения учебных занятий, посредством которых я зарабатывал на учебный материал для нас обоих. К сожалению, это все-таки составляло пять-шесть часов ежедневно, так что отнюдь не исключено, что в непроизводительной потере этого времени заключена причина окончательного крушения всех моих усилий, и пусть те господа, которых я столько раз тщетно просил поддержать мое предприятие и которым нужно было лишь пожертвовать немного денег на то, ради чего я готов был принести в жертву себя — так, как жертвуют пучком овса, забывая его между коренными зубами лошади, — пусть те господа все-таки услышат это.

121. Кошка поймала мышь.

— Что ты собираешься теперь сделать? — спросила мышь. — У тебя такие ужасные глаза.

— Ах, — сказала кошка, — да у меня всегда такие глаза. Ты к этому привыкнешь.

— Я бы лучше побежала, — сказала мышь, — меня дети ждут.

— Тебя дети ждут? — переспросил кошка. — Ну, так беги как можно скорее. Я просто хотела кое-что у тебя спросить.

— Тогда спрашивай, пожалуйста, а то и в самом деле уже очень поздно.

122. Гроб был сколочен, и столяр погрузил его на тачку, чтобы доставить в магазин похоронных принадлежностей. Небо хмурилось, накрапывал дождик. Из боковой улицы вышел пожилой господин, остановился перед гробом, поводит по нему тростью и завел со столяром незначущий разговор о гробовой индустрии. Женщина с хозяйственной сумкой, спешившая по этой центральной улице, слегка налетела на господина, затем признала в нем доброго знакомого и тоже приостановилась рядом. Из мастерской вышел помощник столяра, у него возникло еще несколько вопросов к хозяину по поводу дальнейшей работы. В окне над мастерской появилась жена столяра с их младшеньким на руках, столяр начал немного агукать с улицы малышу, господин и женщина с сумкой заулыбались и тоже стали смотреть вверх. Воробей вспорхнул на гроб в безумной надежде найти там что-то съедобное и теперь прыгал по нему туда и сюда. Какая-то собака подошла обнюхать колеса тачки.

Внезапно в крышку гроба сильно постучали изнутри. Птица взлетела и испуганно закружилась вокруг тачки. Собака яростно залаяла, она была сильнее всех встревожена — и словно бы в отчаянии из-за неисполненного долга. Господин и женщина отскочили в сторону и ждали, растопырив руки. Помощник с внезапной решимостью кинулся на гроб и сел на него верхом, это сидение казалось ему не таким ужасным, как возможность того, что гроб откроется и из него встанет стучавший. Впрочем, помощник, может быть, уже жалел о своем опрометчивом поступке, но теперь, сидя наверху, не решался слезть, и все усилия хозяина согнать его были тщетны. Женщина в окне,

которая, по всей вероятности, тоже слышала стук, но не могла сделать, откуда он исходил, и уж во всяком случае не могла подумать, что он исходит из гроба, ничего не понимала в происходящем внизу и с удивлением взирала на эту сцену. Полицейский, влекомый каким-то неопределенным позывом, однако сдерживаемый каким-то неопределенным страхом, нерешительно приближался.

И тут раздался удар в крышку такой силы, что помощник съехал на сторону и последовал общий короткий возглас всех собравшихся вокруг; женщина в окне исчезла — по-видимому, торопливо спускалась вместе с ребенком вниз по лестнице.

123. Ищи его острым пером, спокойно, не вставая с места; осматривайся вокруг, поворачивая голову, прямо, крепко сидящую на плечах. Если оставаться в пределах границ твоей службы, ты верный слуга; в пределах границ твоей службы ты — господин, твои ляжки сильны, широка грудь, легко изгибается шея, когда ты приступаешь к своим поискам. Тебя видно издалека; словно к колокольне деревенской церкви тянутся к тебе по степным дорогам, через холмы и долины, одинокие путники.{121}

124. Мою плодovitость обеспечивает питание. Исключительная пища, исключительно приготовленная. Из окна моего дома я наблюдаю длинную вереницу подносчиков продуктов; часто они спотыкаются, и тогда каждый прижимает к себе свою корзину, чтобы она не пострадала. Поглядывают они и вверх, на меня, поглядывают дружески, некоторые — с восхищением.

125. Мою плодovitость обеспечивает питание. Тот сладкий сок, который поднимается вверх от моего молодого корня.

126. Вскочив из-за стола, все еще с кубком в руке, я гонюсь за врагом, который вынырнул из-под стола напротив меня.

127. Когда он вырвался, добрался до леса и исчез, был уже вечер. Впрочем, дом ведь стоял в лесу. Городской дом, по-городскому, как положено построенный, с эркером в городском или пригородном вкусе, с маленьким, огороженным решеткой палисадничком, с занавесками из тонкой ячеистой ткани на окнах, — городской дом, стоявший тем не менее совершенно уединенно. И наступил зимний вечер, и здесь, в чистом поле, было очень холодно. Но ведь это было совсем не чистое поле, а городской перекресток, потому что за угол заворачивал вагон трамвая; тем не менее это было все же не в городе, потому что этот вагон не ехал, а с незапамятных времен стоял там, навсегда застыв в таком положении, словно заворачивает за угол. И вагон был с незапамятных времен пуст — и это даже вообще был не трамвайный вагон, а вагон на четырех колесах, но в смутно льющемся сквозь туман лунном свете мог напоминать все что угодно. И городская мостовая здесь была, с мощением наподобие плиточного — с идеально пригнанными плитками, но это были лишь сумеречные тени деревьев, лежавшие на заснеженной проселочной дороге.

128. То, как этот маленький Борхер старается попасть в мой дом, можно назвать как угодно — и трогательным, и пугающим, и отвратительным. Впрочем, он всегда был юродивым; непригодный ни для какой работы, брошенный своей семьей, кормящийся чем Бог пошлет, он слонялся целыми днями по округе, чаще всего — на болоте. Иногда он день и ночь лежал дома в углу, потом опять пропадал из дому на много ночей.

Мне эти сельские дурачки в последнее время не дают покоя. Дурачок-то он с давних пор, но только меня это касалось не больше, чем любого другого.

Вот опять внизу что-то повисло на садовой калитке. Я выглядываю в окно. Разумеется, это опять он.

129. Если ты хочешь, чтобы тебя ввели в незнакомую семью, ты находишь какого-нибудь общего знакомого и просишь его оказать тебе эту любезность. А если никого не находишь, то набираешься терпения и ждешь, когда представится подходящая возможность.

В таком маленьком местечке, как наше, не представиться она не может. А не представится сегодня, так наверняка представится завтра. А если не представится, ты не станешь из-за этого сотрясать основы мироздания. Если эта семья как-то может обходиться без ваших встреч, то и ты как-нибудь — во всяком случае, не хуже — сможешь обойтись без них.

Все это само собой разумеется, и только К. этого не понимает. Не так давно втемяшилась ему в голову мысль внедриться в семейство нашего помещика, но он пытается действовать не теми путями, какие приняты в обществе, а прямо в лоб. Возможно, обычный путь кажется ему непомерно длинным — и небезосновательно, — однако тот путь, по которому пытается идти он, просто невозможен. При этом я не переоцениваю значительности нашего помещика: он разумный, прилежный, достойный человек, но не более того. Что надо от него К.? Может быть, он хочет получить работу в поместье? Нет, не хочет, он состоятельный человек и ведет беззаботную жизнь. Но, может быть, он любит дочку помещика? Нет-нет, в этом его заподозрить нельзя.{122}

130. Вмешалась жилищная администрация, и было такое количество административных постановлений, что одним мы все же пренебрегли; как выяснилось, одна из комнат нашей квартиры должна быть отдана под жильцов; случай был, впрочем, не вполне ясный, и если бы мы раньше заявили об этой комнате в администрацию и одновременно представили наши возражения против обязанности сдавать ее, перспективы нашего дела были бы достаточно обнадеживающими, однако теперь наше пренебрежение административным постановлением стало отягчающим обстоятельством, и в порядке наказания мы были лишены права обжаловать административное решение. Неприятный случай. Тем более неприятный, что администрация теперь ведь имела возможность выделить нам жильца по своему усмотрению. Мы, однако, надеемся, что по крайней мере против этого еще сможем что-то предпринять. У меня есть один племянник, изучающий в здешнем университете юриспруденцию; его родители, мои, в сущности, близкие, а в действительности — очень дальние родственники, живут в каком-то провинциальном городке, о котором я почти и не слышал. Приехав в столицу, молодой человек заходил к нам представиться: слабый, пугливый, близорукий подросток с сутулой спиной и неприятно скованными движениями и речью. Разумеется, в его душе могли скрываться прекрасные задатки, но у нас не было ни времени, ни желания проникать в нее столь глубоко; такой юнец, такое длинностебельковое дрожащее растение потребовало бы бесконечно много внимания и ухода, мы не могли взваливать это на себя, но тогда уж лучше было вообще ничего не делать и отослать этого юношу куда-нибудь подальше. Немного поддержать его деньгами и советами мы могли — и мы это сделали, но каких-либо дальнейших ненужных посещений более уже не допускали. Однако теперь, получив такое административное предписание, мы об этом юноше вспомнили. Он живет где-то в одном из северных районов, конечно, более чем скромно, и пропитания ему, конечно, едва хватает для того, чтобы ноги еще носили это непригодное к жизни тельце. Что если нам перевезти его сюда? Не только из сострадания — из сострадания мы уже давно могли

и, возможно, должны были это сделать, — нет, не только из сострадания, да это и не должно засчитываться нам в качестве какой-то несомненной заслуги, мы были бы уже довольно вознаграждены, если бы этот наш маленький племянник в последний момент спас нас от диктата жилищной администрации, от вторжения неизвестно кого, какого-то потрясающего своим видом на жительство совершенно чужого нам пришельца. И это, насколько нам удалось выяснить, вообще говоря, вполне возможно. Если бы удалось предъявить бедного студента жилищной администрации в качестве уже проживающего в квартире, если бы удалось показать, что, потеряв комнату, этот студент лишается не только комнаты, но, почти что, — возможности существования, если бы, наконец, удалось правдоподобно объяснить — племянник не отказался бы соучаствовать в этом маленьком маневре, об этом мы уж позаботились бы, — что он, по крайней мере периодически, и раньше жил в этой комнате и только на время подготовки к экзаменам (разумеется, длительное) уезжал в деревню к родителям, — если бы все это удалось, тогда, надо полагать, нам уже почти нечего было бы опасаться. Ну, значит, быстро, на такси — за племянником. Вход со двора, пятый этаж; в нетопленной комнате он ходит в зимнем пальто из угла в угол и зубрит. Все на нем и вокруг него так чудовищно грязно и запущенно, что приходится крепко стискивать в кармане предписание жилищной администрации, чтобы вновь убедить себя в том, что дело безусловно необходимо.

131. Свежий воздух. Бьющая ключом вода. Бурное, мирное, высокое, ширящееся бодрствование. Благословенный оазис. Утро после бурно проведенной ночи. С небом грудь в грудь. Мир, примирение, погружение.

132. Творчески. Приступай! Сойди с этой колеи! Объясни мне! Потребуй от меня объяснений. Осуди! Убей!

133. Он поет в хоре... Мы много смеялись. Мы были молоды, день был прекрасен, высокие окна коридора выходили в необозримый цветущий сад. Мы облокотились на подоконник открытого, увлекающего вдаль и взгляд, и нас самих окна. Иногда слуга, сновавший у нас за спиной туда и сюда, произносил слово, которое должно было убедить нас вести себя потише. Мы почти не обращали на него внимания, мы его почти не понимали, я помню только его гулкие шаги по каменным плитам, только этот издали предупреждающий звук.

134. Мы, собственно, даже не знали, хотим ли мы увидеть художника-окультиста. И, как бывает, когда какое-то легкое, с давних пор незаметно присутствующее желание может при несколько большем сосредоточении внимания исчезнуть и только благодаря вскоре заявляющей о себе действительности ощущается удержавшимся на подобающем ему месте, так и нас уже долгое время незаметно точило любопытство, побуждая увидеть одну из тех дам, которые под действием внутренней, но чуждой им силы изображают вам вполне лунный цветок, потом глубоководные растения, потом деформированные различными деформациями головы с высокими прическами и в шлемах — и все прочее, что положено.

135. 15 сентября 1920 г. Это начинается с того, что вместо пищи ты, к его удивлению, пытаешься засунуть в рот такой пучок кинжалов, какой он только может ухватить.

136. Под каждым намерением, как под листом с дерева, лежит, притаившись, болезнь. Когда ты наклоняешься, чтобы рассмотреть ее, и она чувствует, что ее обнаружили, эта тощая немая злоба выпрыгивает, желая быть не раздавленной, а оплодотворенной тобой.

137. Это — мандат. В силу своего характера я могу принять только такой мандат, какого мне никто не давал. Я способен жить в таком противоречии с жизнью, и всегда — только в противоречии. Но, очевидно, как и всякий, ибо, живя, мы умираем, а умирая — живем. Так, например, цирк-шапито окутан парусиной, чтобы тот, кто не внутри, ничего не смог увидеть. Но вот, кто-то находит в парусине маленькую дырочку и все-таки может посмотреть снаружи. Правда, ему должны это позволить. Нам всем на одно мгновение это позволяют. Правда, — вторая «правда» — по большей части, в такую дырку видны только спины зрителей со стоячих мест. Правда, — третья «правда» — музыку во всяком случае слышишь, и рычание зверей — тоже. Пока, наконец, не упадешь, бесчувственный от ужаса, в объятия полицейского, который, по долгу службы, обходит цирк кругом и лишь слегка хлопает тебя ладонью по плечу, чтобы обратить твое внимание на неподобающий характер такого напряженного всматривания, за которое ты ничем не заплатил.

138. Силы человека не следует представлять себе в виде какого-то оркестра. Тут, напротив, все инструменты должны играть непрерывно и изо всех сил. Ведь это предназначено не для человеческого уха, да и того концертного времени, в течение которого каждый инструмент может надеяться прозвучать, не дано.

139. 16 сентября 1920 г. Иногда это выглядит так: у тебя есть задача, есть столько сил, сколько требуется для ее исполнения (не слишком много — и не слишком мало: хотя тебе и приходится с ними собираться, но бояться не приходится), тебе оставлено достаточно свободного времени, и желание работать у тебя тоже есть. Что же мешает помешать успешному решению этой чудовищной задачи? Не трать свое время на поиски помех: может быть, их нет.

140. 17 сентября 1920 г. Есть только цель, пути нет. То, что мы называем путем, это колебание.{123}

141. Я никогда не чувствовал груза иной ответственности, кроме той, какую возлагали на меня существование, взгляд и приговор других людей.

142.

21 сентября 1920 г.

Останки подняты.

Счастливо освобожденные члены

под балконом в свете луны.

На заднем плане — немного листвы

с темным, как у волос, отливом.

143. Какая-то вещь после кораблекрушения попадает в воду новой и красивой, потом годами захлестывается волнами, делается беззащитной и в конце концов распадается.

144. Сегодня в цирке — большое представление, водная феерия; всю арену зальют водой, по этой воде будет носиться Посейдон со своей свитой, появится корабль Одиссея и запоют сирены, а потом из волн поднимется нагая Венера, причем переход к изображению жизни будет представлен в современной семейной ванне. Директор, старый, седовласый, но все еще подтянутый цирковой наездник, очень многого ожидал от успеха этого представления. Успех был в высшей степени необходим: последний год закончили очень плохо, несколько неудачных гастролей принесли большие убытки. И вот теперь они выступают здесь, в этом городишке.

145. Ко мне пришли несколько человек с просьбой построить для них город. Я сказал, что их слишком мало, им хватит места в одном доме, и никакого города строить для них я не буду. Но они сказали, что за ними придут еще и другие и что среди них ведь есть семейные пары, у которых должны появиться дети, к тому же город не обязательно строить сразу, достаточно лишь наметить контуры, а застраивать можно постепенно. Я спросил, где они хотят видеть построенный для них город; они сказали, что сейчас же покажут мне это место. Мы шли вдоль берега реки, пока не пришли на довольно заметно приподнятую, круто обрывающуюся к реке, но, вообще, полого снижающуюся и очень широкую возвышенность. Они сказали, что вот тут, наверху, они и хотят видеть построенный для них город. Там не было никаких деревьев — только чахлая травяная поросль, это мне понравилось, но обрыв к реке показался мне слишком крутым и я обратил на это их внимание. Они, однако, сказали, что это не страшно, ведь город вытянется по другим склонам и будет достаточно других спусков к воде, а кроме того, с течением времени, возможно, найдут способ как-то преодолевать этот крутой обрыв, во всяком случае, для основания города это не препятствие. К тому же они молодцы и сильны и легко смогут взобраться по этому обрыву, что они и собирались мне тут же продемонстрировать. Они это сделали; как ящерицы, извивались они всем телом, поднимаясь по расщелинам скал; вскоре они уже были наверху. Я тоже поднялся наверх и спросил, почему они хотят, чтобы город был им построен именно здесь. Ведь для обороны это место не особенно удачно, природой оно защищено только со стороны реки, то есть именно там, где защита нужна меньше всего — там, скорее, желательнее было бы иметь свободную и легкую возможность уплыть; в то же время со всех остальных сторон возвышенность была легко доступна и поэтому — а также вследствие своей большой протяженности — труднозащитима. Кроме того, почва там, наверху, еще не изучена на предмет ее плодородности, следовательно, остается зависимость от равнинных территорий и придется рассчитывать на гужевой подвоз, что для города всегда опасно, особенно в неспокойные времена. Опять-таки, не было еще установлено, можно ли будет там, наверху, найти достаточно питьевой воды; тот маленький источник, который мне показали, выглядел ненадежным.

— Ты устал, — сказал один из них, — ты не хочешь строить этот город.

— Да, я устал, — сказал я и сел на камень возле источника.

Они смочили в воде платок и освежили мне лицо, я поблагодарил. Потом я сказал, что хочу еще раз сам обойти эту возвышенность, и ушел от них; обход длился долго, когда я вернулся, было уже темно, все лежали вокруг источника и спали; накрапывал дождик.

Утром я снова задал им тот же вопрос; они не сразу поняли, как я могу вечерний вопрос повторять утром. Но потом сказали, что не могут указать точных причин, по которым выбрали это место, однако существует старинное предание, где это место рекомендовано. Еще их предки хотели построить здесь город, но по каким-то причинам, о которых тоже ничего точно не известно, строительство все же не начали. То есть, во всяком случае, никакого умысла в выборе этого места не было, наоборот, место это им даже не очень нравится, и те контраргументы, которые я приводил, они и сами уже выдвигали — и признали их неопровержимыми, но существует это предание, а тот, кто не уважает преданий, будет уничтожен. Так что им непонятно, почему я медлю и почему не начал строить уже вчера.

Я решил уйти и начал осторожно спускаться по обрыву к реке. Но один из них, очнувшись, разбудил остальных, и теперь все стояли на краю обрыва, а я был еще только на середине пути, и они просили и звали меня. Тогда я стал возвращаться; они помогли мне и втащили меня наверх. И тогда я пообещал им построить город. Они были мне очень признательны, выступали с речами в мою честь и целовали меня.

146. На проселочной дороге меня остановил какой-то крестьянин и попросил пойти с ним к нему домой; может быть, я смогу ему помочь: у него ссора с женой, и это отравляет ему жизнь. Кроме того, у него неудачные, глупые дети, которые только бессмысленно толкуются вокруг или безобразничают. Я сказал, что готов пойти с ним, но что это все же очень большой вопрос, смогу ли я, посторонний человек, ему помочь; детей я, пожалуй, еще мог бы как-то наставить, но против женщины, скорей всего, буду бессилен, так как причина сварливости жены обычно кроется в характере мужа, а поскольку он ссор не желает, то, наверное, уже старался себя переделать, однако ему это не удалось, как же тогда это удастся мне? В лучшем случае я смогу только отвести задор женщины на себя. Я говорил это больше самому себе, чем ему, но затем прямо спросил, сколько он мне заплатит за мои труды. Он сказал, что тут мы легко столкнемся: если у меня что-то получится, то я смогу унести с собой все, что захочу. Тут я остановился и сказал, что таких общих обещаний мне не достаточно, нужно точно уговориться, чтоб я буду получать в месяц. Он удивился, что я требую помесечной оплаты. А я удивился его удивлению. Или он полагает, что я за пару часов смогу поправить то, что двое людей натворили за целую жизнь? и полагает, что через эти пару часов я приму в уплату мешочек гороха, благодарно поцелую ему руку, завернусь в свои лохмотья и побреду дальше по этому промерзшему проселку? Нет! Крестьянин, наклонив голову, молча, но напряженно слушал. Напротив, говорил я, мне придется долго оставаться у него, для того чтобы вначале все изучить и буквально выискать способы поправить положение; после этого мне придется еще дольше оставаться, для того чтобы действительно навести порядок, а после этого я буду уже усталым и старым и вообще должен буду не уходить куда-то, а отдыхать и принимать от них всех благодарности.

— Это никак невозможно, — сказал крестьянин, — это ты хочешь в моем доме зацепиться, а под конец еще и меня выжить. Это я тогда добавлю к моему худому счастью еще худшее.

— Разумеется, без взаимного доверия мы не сможем объединиться, — сказал я, — но разве я тебе не доверяю? Я же не требую от тебя ничего, кроме твоего слова, а это слово тебе ведь ничего не стоит и нарушить. И после того, как я все устрою по твоему желанию, ты ведь сможешь, несмотря на все свои обещания, меня выставить.

Крестьянин взглянул на меня и сказал:

— Да уж ты дашь себя выставить.

— Поступай как знаешь, — сказала я, — думай обо мне как хочешь, но не забывай — я говорю тебе это просто по дружбе, как мужчина мужчине, — что ты, даже если и не возьмешь меня с собой, недолго выдержишь в своем доме. Ну как ты собираешься дальше жить с такой женой и такими детьми? Так что если не решишься взять меня в свой дом, тогда уж лучше сразу откажись и от дома, и от той маеты, которую он тебе еще принесет, и иди со мной, будем бродить вместе, я тебе твое недоверие поминать не буду.

— Я не свободный человек, — сказал крестьянин, — мы с моей женой теперь вот уж больше шестнадцати лет вместе прожили; тяжело было, даже не понимаю, как это можно было вынести, но, хоть и так, а не могу я от нее уйти, не попытавшись все сделать, чтобы можно было ее выносить. И вот, как увидел тебя на этой дороге, так и подумал, что теперь можно бы с тобой последнюю большую попытку сделать. Идем, я даю тебе что хочешь. Что ты хочешь?

— Да немного, — сказал я, — я ведь не хочу пользоваться твоей бедой. Ты только должен будешь принять меня слугой на все время. Я всякую работу знаю и очень тебе пригожусь. Но я хочу не так служить, как служат другие, ты не должен мне приказывать, а я должен иметь право делать все по собственному усмотрению: когда — то, когда — это, а когда и — ничего, — как захочу. Попросить меня сделать какую-то работу ты можешь, но не настойчиво, и если заметишь, что я эту работу делать не хочу, должен принимать это спокойно. Денег мне не надо, но одежда, белье и сапоги должны быть в точности такие, какие у меня сейчас, и по мере надобности обновляться; если ты не найдешь таких вещей в деревне, ты должен ехать за ними в город. Но ты этого не бойся, того, что сейчас на мне, хватит еще на год. Обычная еда слуг меня устраивает, только мясо должно быть у меня каждый день.

— Каждый день, — быстро повторил крестьянин так, словно со всеми остальными условиями был согласен.

— Каждый день, — подтвердил я.

— Да у тебя и пасть-то необычная, — сказал он, пытаясь таким образом оправдать мое странное желание; он даже полез пальцами мне в рот, чтобы пощупать зубы. — Вон какие острые, — сказал он, — почти как у собаки.

— Короче, я хочу, чтобы каждый день у меня было мясо, — сказал я. — А пива и водки — столько же, сколько у тебя.

— Но это много, — сказал он, — я должен много пить.

— Тем лучше, — сказал я, — но ты можешь себя ограничить, тогда ограничусь и я. Может быть, кстати, ты так много пьешь только из-за своих домашних неурядиц.

— Нет, — сказал он, — при чем тут одно к другому? Но ты должен будешь пить столько же, сколько я, мы будем пить вместе.

— Нет, — сказал я, — я ни с кем вместе не буду ни есть, ни пить. Я всегда буду есть и пить только в одиночку.

— В одиночку? — удивлено переспросил крестьянин. — У меня уже голова идет кругом от твоих желаний.

— Их не так много, — сказал я, — и это уже почти все. Мне нужно еще только масло для маленькой лампадки, которая всю ночь должна гореть возле меня. Эта лампадка у меня в мешке, совсем маленькая лампадка, масла сжигает очень мало. Об этом и говорить бы не стоило, я упомянул о ней только для полноты, чтобы потом не возникало никаких споров, я их терпеть не могу, особенно при расплате. Я, вообще, человек добродушный, но если мне отказывают в том, о чем договаривались, я становлюсь ужасен, ты это заметь себе. Если мне не дадут того, что мне положено, будь это даже какая-нибудь мелочь, я способен поджечь твой дом у тебя над головой, пока ты спишь. Но ты ведь не станешь отказывать мне в том, что ясно оговорено, а тогда — в особенности, если ты еще будешь время от времени с любовью присовокуплять к этому какой-нибудь маленький подарочек, пусть даже совсем ничего не стоящий, — я буду верен, и терпелив, и очень полезен во всех делах. И больше того, что я назвал, я не требую — только еще двадцать четвертого августа, в день моих именин, бочоночек на пять литров рома.

— Пять литров! — воскликнул крестьянин и хлопнул в ладоши.

— Ну да, пять литров, — сказал я, — это ведь не так и много. Ты, похоже, хочешь меня поприжать. Но я и сам уже так ограничил свои потребности, и именно из уважения к тебе, что мне было бы стыдно, если бы кто-то третий это услышал. Перед кем-то третьим я никогда не смог бы так с тобой разговаривать. И никто не должен об этом знать. Впрочем, никто бы этому и не поверил.

Но крестьянин сказал:

— Иди-ка ты лучше своей дорогой. А я пойду домой один и постараюсь сам помириться с женой. Я в последнее время много ее поколачивал, так я теперь малость поспущу, может, она мне благодарна будет, да и детей много поколачивал — я всегда беру на конюшне кнут и секу их, — так я маленько погожу и с этим, может, получше будет. Правда, я уже часто годил, а лучше не становилось. Но то, чего ты требуешь, мне не осилить, и даже если бы я это, может быть, и осилил — да нет, хозяйство бы не выдержало, каждый день мясо, пять литров рома, нет, невозможно, — но даже если бы и было возможно, жена бы этого не позволила, а если бы она не позволила, я бы этого сделать не смог.

— Для чего тогда все эти долгие переговоры, — сказал я...{124}

147. Я сидел в ложе, рядом со мной сидела моя жена. Играли волнующую пьесу, в которой речь шла о ревности, и в сияющем, окруженном колоннами зале некий муж как раз замахнулся кинжалом на медленно устремившуюся к выходу жену. Все были в напряжении и наклонялись над барьерами, я почувствовал на виске локоны моей жены. И тут мы отпрянули назад: на барьере что-то шевелилось; то,

что мы принимали за бархатную обивку барьера, было спиной длинного тонкого человека, который был таким же узким, как барьер, и до сих пор лежал на нем животом вниз, а теперь медленно поворачивался, словно отыскивая более удобное положение. Жена, дрожа, прижалась ко мне. Его лицо было совсем близко, прямо передо мной, оно было узким, уже моей руки, неприятно чистым, как у восковых фигур, и с черной острой бородкой.

— Почему вы нас пугаете? — крикнул я. — Что вы здесь делаете?

— Прошу прощения! — сказал мужчина. — Я почитатель вашей жены, я счастлив, когда чувствую ее локти на своем теле.

— Эмиль, прошу тебя, защити меня! — воскликнула моя жена.

— И меня тоже зовут Эмиль, — сказал мужчина; он подпер голову рукой и лежал теперь, как на кушетке. — Иди ко мне, сладенькая моя.

— Вы негодяй, — сказал я, — еще одно слово, и вы будете лежать внизу, в партере, — и, как бы уверенный, что это слово сейчас последует, я сразу же попытался столкнуть его вниз; это, однако, было не так-то просто, он, казалось, был прочно связан с барьером, будто вделан в него; я пытался скатить его оттуда, но у меня ничего не вышло, а он только засмеялся и сказал:

— Да брось ты это, придурок, раньше времени силы растратишь, борьба же только начинается, а закончится она, разумеется, тем, что твоя жена удовлетворит мое желание.

— Никогда! — крикнула моя жена и затем повернулась ко мне: — Ну, пожалуйста, столкни же его, наконец, отсюда.

— Я не могу! — крикнул я. — Ты же видишь, я стараюсь, но тут какой-то подвох, он не идет.

— О Боже, о Боже, — стонала моя жена, — что со мной будет.

— Успокойся, — сказал я, — прошу тебя, ты своим волнением мне только мешаешь; у меня теперь новый план: я вот здесь подрежу ножичком бархат и потом стряхну все вниз вместе с этим типом.

Но теперь я не мог найти нож.

— Ты не знаешь, где у меня мой нож? — спросил я. — В пальто, что ли, оставил?

Я уже почти готов был бежать в гардероб, жена привела меня в чувство:

— И ты хочешь сейчас оставить меня одну, Эмиль? — воскликнула она.

— Но если у меня нет ножа! — крикнул я в ответ.

— Возьми мой, — сказала она, начала дрожащими пальцами рыться в своей сумочке, но затем вытащила, разумеется, лишь крохотный перламутровый ножичек.

148. Непростая задача — пройти на цыпочках по надломленной балке, служащей мостом, не имея ничего под ногами и сперва нагребая ногами землю, по которой пойдешь, — идти не по чему-нибудь, а по собственному отражению, которое видишь под собой в воде, удерживая разъезжающийся мир ногами, а руками лишь судорожно цепляясь вверху за воздух, чтобы выдержать это напряжение.

149. На ступенях у входа в храм стоит на коленях священник и преобразует все просьбы и жалобы проходящих к нему верующих в молитвы или, точнее, ничего не преобразует, а лишь громко и по многу раз повторяет то, что ему сказали. К примеру, приходит купец и жалуется, что понес сегодня большой убыток и что из-за этого его дело разваливается. Священник — он стоит коленями на ступеньке, положив ладони рук на ступеньку повыше, и раскачивается во время молитвы вверх и вниз — откликается на это:

— А. понес сегодня большой убыток, его дело разваливается. А. понес сегодня большой убыток, его дело разваливается, — и так далее.

150. Нас четверо друзей, мы вышли когда-то друг за другом из одного... [см. прим.]{125}

151. Так же, как, иногда, даже не глядя на затянутое облаками небо, уже по оттенкам ландшафта можно почувствовать, что хотя солнечный свет еще не пробился, но сумерки буквально растворяются и готовы рассеяться и что уже по одной только этой причине — других доказательств не нужно — сейчас везде засияет солнце.

152. Стоя в лодке, я орудовал веслом, продвигаясь по маленькой гавани; она была почти пуста; кроме двух парусных барок, застывших в одном углу, лишь кое-где стояли маленькие лодки. Я без труда нашел место и для своей и сошел на берег. Какая-то маленькая гавань, а причальная стенка прочная и поддерживается в хорошем состоянии.

Мимо скользили лодки. Я подозвал одну из них. Ею правил высокий белобородый старик. Я немного помедлил на ступеньке причала. Он усмехнулся, и, глядя на него, я ступил в лодку. Он указал на ее дальний конец, и я сел там. Но тут же вскочил и сказал:

— Большие же у вас тут летучие мыши, — так как огромные крылья зашумели вокруг моей головы.

— Не волнуйся, — сказал он, уже взявшись за шест, и мы толчком отделились от земли, так что я чуть не упал на банку.

Вместо того чтобы сказать лодочнику, куда я хочу попасть, я только спросил, знает ли он это; судя по его кивку головой, он знал. Это было для меня невероятным облегчением, я вытянул ноги, откинулся назад, не выпуская, однако, лодочника из поля зрения, и только сказал себе: «Он знает, куда ты хочешь попасть, вот этот лоб скрывает такое знание. Он тычет в море своим шестом только для того, чтобы

оставить меня туда. И среди них всех я случайно окликнул именно его — и еще колебался, садиться ли к нему». Глубоко удовлетворенный, я слегка прикрыл глаза, но, не видя этого человека, я хотел по крайней мере его слышать и потому спросил:

— В твоём возрасте ты, наверное, мог бы уже и не работать. У тебя что же, нет детей?

— Только ты, — сказал он, — ты — мой единственный ребенок. Только для тебя я в этот раз еще сделаю ходку, а после того продам лодку и тогда уже перестану работать.

— У вас здесь пассажиров называют детьми? — спросил я.

— Да, — ответил он, — здесь так принято. А пассажиры говорят нам «отец».

— Это любопытно, — сказал я, — а где же мать?

— Там, — сказал он, — в будке.

Я сел прямо и увидел, как из маленького, со скругленными углами, окошка будки, устроенной в середине лодки, вытянулась в знак приветствия рука и показалось полное женское лицо, обрамленное черной кружевной косынкой.

— Мать? — спросил я, улыбаясь.

— Если угодно, — сказала она.

— Но ты намного моложе отца, — сказал я.

— Да, — ответила она, — намного моложе, он мог бы быть моим дедом, а ты — моим мужем.

— Знаешь, — сказал я, — это так удивительно, когда ночью плывешь один в лодке, и тут вдруг — женщина.

153. Я греб в лодке по озеру. Это была пещера с круглым сводом, в которую не проникал дневной свет, и тем не менее было светло: от блекло-голубого камня исходило ровное ясное сияние. Хотя никакого движения воздуха не ощущалось, волнение было довольно сильным, однако не настолько, чтобы возникала опасность для моей маленькой, но прочной лодки. Я спокойно греб по этим волнам, почти не думая о веслах, и был занят лишь тем, что изо всех сил старался впитать в себя царивший вокруг покой, — тот покой, которого я до сих пор никогда еще в моей жизни не находил. Это был словно какой-то плод, которого я никогда не пробовал, хотя он был самым питательным из всех плодов; я закрыл глаза и упивался им. Правда, не без помех; покой все еще был полным, однако ему постоянно угрожала какая-то помеха; что-то пока еще сдерживало шум, но он был за дверью, разрываясь от желания ворваться. Я свирепо вращал глазами в ярости на то, чего не было, я вытащил весло из уключины, встал в качающейся лодке и погрозил веслом в пустоту. Покой все еще не нарушался, и я погреб дальше.

154. Мы бежали по скользкой земле; иногда один из нас спотыкался и падал, иногда почти заваливался набок; тут обязательно должен был помочь другой, но очень осторожно, так как и он ведь держался на ногах нетвердо. Наконец мы добрались до холма, называемого Коленом, но хоть он и совсем не высок, перебраться через него мы не могли и всякий раз соскальзывали с него; мы были в отчаянии, ведь теперь, раз мы не могли через него перебраться, нам придется его обходить, а это могло быть столь же невозможно, но куда более опасно, так как тут неудачная попытка означала немедленное падение с высоты и конец. Мы решили, что каждый, чтобы не мешать другому, сделает попытку со своей стороны. Я упал на землю, медленно подполз к краю и увидел, что там не было ни следа какой-то тропинки и никакой возможности где-то зацепиться, все сразу обрывалось вниз в глубину. Я был уверен, что мне не перебраться; если там, на той стороне, ненамного лучше, что, собственно, могла показать как раз только попытка, тогда, очевидно, нас обоих ждет один конец. Однако мы должны были решиться, потому что оставаться здесь не могли и за нами неприступно-отталкивающе высились пять вершин, называемых Пальцами. Я еще раз внимательным взглядом оценил положение, измерил это само по себе вовсе не большое, но никакими усилиями не преодолимое расстояние и затем закрыл глаза (открытые глаза мне здесь могли только помешать), твердо решив больше их не открывать, чтобы казалось, что невероятное свершилось и я попал на ту сторону. И теперь я начал медленно сползать боком, почти как во сне, потом приостановился и стал осторожно продвигаться вперед. Я широко раскинул в стороны руки; накрывая таким образом и одновременно обнимая как можно больше земли под собой, я, казалось, находил хоть какое-то равновесие или, вернее, хоть какое-то утешение. Но и на самом деле я, к моему удивлению, замечал, что эта земля мне в буквальном смысле как-то содействует; она была гладкой, без единой зацепки, но не холодной, какое-то тепло струилось из нее в меня, из меня — в нее, это была какая-то связь, она была установлена не руками и не ногами, однако она существовала и удерживала.

155. Главная слабость человека не в том, что он не способен побеждать, а в том, что не способен воспользоваться плодами победы. Молодость побеждает все — и предательство, и тайную дьявольщину — все, но когда надо подхватить завоеванную победу и воплотить ее в жизнь, сделать это некому, потому что к тому времени и молодость тоже проходит. Старость уже не решается прикоснуться к этой победе, а новая молодость, которую разрывает начинающаяся вместе с ней новая атака, хочет своей собственной победы. Поэтому дьявола хоть и постоянно побеждают, но никогда не уничтожают.

156. Всегда недоверчивы люди, которые считают, что, помимо великого предательства, в каждом отдельном случае специально для них устраивается еще особое маленькое предательство, так что когда на сцене разыгрывают любовную интрижку, актриса, помимо лживой улыбки для своего любовника, изображает еще и некую особо коварную улыбку для совершенно определенного зрителя на последнем ярусе. Глупая заносчивость.{126}

157. Разве ты можешь знать что-либо, кроме обмана? Ибо если когда-нибудь обман будут уничтожать, тебе на это просто нельзя будет смотреть, чтобы не превратиться в соляной столб.{127}

158. Мне было пятнадцать лет, когда я в городе поступил учеником в один магазин. Мне было нелегко где-нибудь устроиться; оценки у

меня, правда, были удовлетворительные, но я был очень маленьким и слабым. Хозяин, сидевший за столом в тесной каторке без окон под сильной электрической лампой, одну руку как-то обкрутил вокруг спинки стула, глубоко засунув большой палец в жилетный карман, голову отклонил как можно дальше от меня, опустив при этом подбородок на грудь, осмотрел меня и решил, что я не подойду.

— Ты, — сказал он, качая головой, — слишком слаб, чтобы носить пакеты, а мне нужен парень, который может носить тяжелые пакеты.

— Я постараюсь, — сказал я, — и потом, я ведь еще стану сильнее.

В конце концов меня взяли, в общем, только из сострадания, в продуктовую лавку. Лавка была во дворе, маленькая и мрачная, мне приходилось носить слишком тяжелые для моих слабых сил грузы, и тем не менее я был очень доволен, что получил место.

159. — Великий пловец! Великий пловец! — кричали люди.

Я возвращался с Олимпиады в Антверпене, где установил мировой рекорд по плаванию. Я стоял на ступенях вокзала в своем родном городе — где он находится? — и смотрел на неясно различимую в вечерних сумерках толпу. Незнакомая девушка, которую я мимоходом погладил по щеке, ловко обкрутила меня лентой с надписью на каком-то иностранном языке: «Олимпийскому чемпиону». Подъехал автомобиль, какие-то господа втиснули меня внутрь; двое из них, бургомистр и еще кто-то, сели вместе со мной. В мгновение ока мы оказались в праздничном зале, при моем появлении с галереи зазвучал хор, все гости — а их были сотни — встали и начали в унисон скандировать какой-то лозунг, который я не очень понял. Слева от меня сидел министр чего-то; не знаю, почему это слово так испугало меня во время представления, я ошарашенно мерил министра взглядом, но вскоре пришел в себя; справа сидела пышная так, жена бургомистра, все на ней, особенно на уровне бюста, казалось утыканным розами и страусиными перьями. Напротив сидел какой-то толстяк с удивительно белым лицом, его имя я во время представления прослушал; положив локти на стол, — ему было отведено особенно много места — он смотрел прямо перед собой и молчал; справа и слева от него сидели две красивые блондинки, они были веселы, у них все время находилось что рассказать, и я переводил взгляд с одной на другую. Дальше, несмотря на празднично-яркое освещение, я уже не мог ясно различить гостей, может быть, потому, что все было в движении, вокруг сновали слуги, подавались блюда, поднимались бокалы; может быть, все было даже слишком сильно освещено. Наличествовал и некоторый — впрочем, единственный — элемент беспорядка, состоявший в том, что отдельные гости, в особенности дамы, сидели повернувшись к столу спиной, причем так, что даже не отделялись от него, допустим, спинкой стула, а почти касались спиной стола. Я обратил на это внимание девушек, сидевших напротив, но они, такие в остальное время общительные, на этот раз ничего не сказали, и только улыбались, глядя на меня долгими взглядами. По звонку колокольчика — слуги застыли между рядами сидящих — толстяк напротив поднялся и произнес речь. Только почему этот человек был так печален? Во время речи он промокал носовым платком лицо — ну, в этом не было ничего особенного: при его толщине, жаре в зале и напряжении речи это было понятно, но я точно заметил, что это было лишь уловкой, прикрываясь которой, он тайком отирал с глаз слезы. При этом он все время смотрел на меня, но так, словно видел не меня, а мою раскрытую могилу. Когда он закончил, я, естественно, встал и тоже произнес речь. Меня буквально подмывало выступить, поскольку многое здесь, а возможно, и не только здесь, требовало, как мне казалось, прямого и публичного разъяснения, поэтому я начал так:

Уважаемые гости праздника! Я, как было признано, установил мировой рекорд, но если бы вы меня спросили, как я этого добился, я не смог бы дать вам удовлетворительный ответ. Ведь дело в том, что я, собственно, вообще не умею плавать. Я с давних пор хотел научиться, но возможности для этого мне так и не представилось. Как же тогда получилось, что я был послан моим отечеством на олимпиаду? Это как раз тот вопрос, который занимает и меня. Прежде всего я должен констатировать, что я здесь не в своем отечестве и, несмотря на большие усилия, не понимаю ни слова из того, что здесь говорится. Самым естественным было бы в таком случае подумать о какой-то путанице, но никакой путаницы нет: я установил рекорд, я приехал на родину, меня зовут так, как вы меня называете, — до этого момента все совпадает, но с этого момента уже ничего не совпадает: я не на своей родине, я вас не знаю и не понимаю. Ну, и есть еще одно обстоятельство, которое не совсем прямо, но все же как-то противоречит возможности какой-то путаницы, а именно: мне не очень мешает то, что я вас не понимаю, и, похоже, вам тоже не очень мешает то, что вы не понимаете меня. Из речи уважаемого предыдущего оратора я, кажется, понял лишь то, что она была безутешно печальной, и этого понимания мне не только достаточно, но даже слишком много для меня. Аналогично обстоит со всеми прочими разговорами, которые я со времени своего прибытия здесь вел. Но вернемся к моему мировому рекорду.

160. Отчасти рассказ. Перед входом в дом стоят два человека, одетые, кажется, с явной нарочитостью; большая часть того, что на них, — рвань, грязные отрепья в бахроме ниток, но отдельные предметы одежды, напротив, в очень хорошем состоянии; так, у одного — новый высокий воротничок и шелковый галстук, на другом — изящные нанковые панталоны широкого покроя, суживающиеся книзу; они бережно подвернуты на сапогах. Эти двое беседуют и загораживают дверь. Подходит средних лет мужчина, высокий, крепкий, с толстой шеей, похожий на сельского священника, ноги у него не гнутся, он покачивается всем телом из стороны в сторону. Ему надо войти, у него неотложное дело. Однако эти двое сторожат вход; один из них вытаскивает из кармана своих панталон часы на длинной золотой цепочке — кажется, что это несколько соединенных друг с другом цепочек, — еще нет девяти, а до десяти часов никого впускать не велено. Священнику это очень некстати, но эти двое уже возобновили свою беседу. Священник некоторое время смотрит на них, по-видимому, понимает бесполезность дальнейших просьб и уже отходит на несколько шагов, но тут ему в голову приходит какая-то мысль, и он возвращается. А, собственно, знают ли господа, к кому он хочет пройти? К своей сестре Ребекке Поуфаль, старой даме, которая квартирует со своей служанкой в третьем этаже. Этого часовые, разумеется, не знали, теперь они уже ничего не имеют против того, чтобы священник вошел, они даже отвечивают что-то вроде официального поклона, когда он проходит между ними. Войдя в парадное, священник невольно улыбается тому, как легко оказалось перехитрить этих двоих. Мельком взглянув еще раз назад, он, к своему удивлению, видит, что как раз в этот момент часовые, взявшись за руки, уходят. Они что же, стояли там только ради него? Насколько хватает разума священника, этого нельзя исключить. Он поворачивается к двери; на улице стало немного оживленнее, часто кто-нибудь, проходя мимо, бросает взгляд в парадное; то, что дверь дома стоит открытая, широко распахнув обе свои половинки, действует на священника буквально возбуждающе, в этой открытости чудится какое-то напряжение, словно дверь берет разбег для того, чтобы яростно и окончательно захлопнуться. И тут он слышит, что его зовут по имени.

— Арнольд, — разносится по лестнице тонкий, сверх-напряженный голос, и сразу вслед за тем чей-то пальчик слегка шлепает его по спине.

одним узким, длинным зубом, одиноко торчащим из ее пустого рта.

161. Прочь оттуда, прочь оттуда; мы скакали сквозь ночь. Она была темной, безлунной и беззвездной, но — еще темнее, чем обычно бывают безлунные и беззвездные ночи. У нас было важное сообщение, наш командир вез его с собой в запечатанном конверте. Мы беспокоились о том, чтобы не потерять командира, поэтому время от времени один из нас выскакивал вперед и нащупывал командира рукой, проверяя, здесь ли он еще. И однажды, как раз когда проверял я, командира уже не оказалось. Мы не слишком испугались, потому что боялись этого все время. И мы решили вернуться.

162. Город похож на солнце; в пределах некоторого центрального круга весь свет плотно собран, он ослепляет, ты теряешься в нем, ты не находишь в нем ни улиц, ни домов; раз попав туда, оттуда уже буквально не выбраться; далее, в некотором значительно более широком кольце, свет все еще плотный, но уже нет такого непрерывного излучения, здесь есть темные улочки, скрытые проходы и даже крохотные площади, погруженные в полутьму и прохладу; далее идет еще большее кольцо, где свет уже так рассеян, что его приходится искать, большие городские пространства лежат здесь в холодных серых отсветах, и, наконец, начинается чистое поле, голое, окрашенное в блеклые тона поздней осени, едва озаряемое иногда чем-то вроде зарниц.

В этом городе — всегда раннее, еще почти не наступившее утро, равномерно-серое небо почти не светится, улицы пусты, чисты и тихи, кое-где медленно движется оставленная незакрепленной створка окна, кое-где полощется край простыни, перекинутой через перила балкона верхнего этажа, кое-где колыхается в открытом окне занавеска, в остальном — все недвижно.

163. Однажды к знаменитому дрессировщику Бурсону привели тигра, чтобы получить заключение о дрессируемости зверя. В клетку для дрессуры, имевшую размеры зала, — она помещалась в большом бараке вдали от города — вдвинули маленькую клетку с тигром. Служители удалились; при первой встрече со зверем Бурсон всегда желал быть совершенно один. Тигр лежал спокойно, его только что сытно накормили. Он дремотно позевывал, окидывал утомленным взглядом новую обстановку и тут же снова засыпал.

164. В одной из наших старинных книг сказано: «Те, что проклинают жизнь и потому нерождение или преодоление жизни почитают величайшим или единственным безобманным счастьем, очевидно, правы, ибо приговор этой жизни...».{128}

165. В древней истории нашего народа сообщается об ужасных наказаниях. Что, разумеется, никак не говорит в пользу современной системы наказаний.

166. Один человек сомневался в божественном происхождении императора; он утверждал, что император по праву является нашим верховным правителем, но сомневался в божественной миссии императора — она была для него очевидна — и сомневался только в его божественном происхождении. Большого шума это, естественно, не вызывало: когда прибой бросает каплю воды на берег, это не нарушает вечного бега морских волн, наоборот, это им и обусловлено.

167. К одному судье имперской столицы привели человека, отрицавшего божественное происхождение императора. Солдаты неделю конвоировали его с родины, от усталости он уже едва мог сидеть, щеки его ввалились и...

168. Стыдно сказать, на чем держится власть... [см. прим.].{129}

169. Инверсия. Ожидая, с робкой надеждой, крадучись обходит вопрос ответ, заглядывает в отчаянии в его непроницаемое лицо и следует за ним самыми бессмысленными путями (то есть теми, которые уведут как можно дальше от ответа).{130}

170. Ясный и прохладный осенний вечер. Некто неопределенный в движениях, одежде и очертаниях выходит из дома и хочет сразу повернуть направо. Хозяйка дома, которая стоит в каком-то старомодном широком пальто, прислонясь к столбу ворот, что-то шепотом ему говорит. Он мгновение размышляет, но затем отрицательно качает головой и уходит. Переходя улицу, он по невнимательности оказывается на путях, и трамвай наезжает на него. От боли он сморщивает лицо и так напрягает все мускулы, что даже после того, как трамвай проехал, уже почти не способен снять это напряжение. Еще какое-то время он стоит неподвижно и видит, как на следующей остановке из трамвая выходит девушка, машет назад рукой, пробегает несколько шагов, останавливается и затем снова вскакивает в вагон. Когда он проходит мимо церкви, стоящий на верхней ступеньке у входа священник протягивает ему руку и при этом наклоняется так далеко вперед, что рискует упасть и скатиться вниз. Он, однако, эту руку не принимает, он против миссионеров, к тому же его сердят дети, бегающие по лестнице, как на игровой площадке и кричащие друг другу непотребные слова, которые они, естественно, понимать не могут и лишь всасывают в себя за неимением лучшего; он застегивает доверху свой сюртук и проходит мимо.

171. На ступенях церкви, как на игровой площадке, бегают дети и кричат друг другу непотребные слова, которые они, естественно, понимать не могут и лишь всасывают в себя, как сосунки, получившие пустышку. Из церкви выходит священник, разглаживает сзади рясу и садится на ступени. Ему важно утихомирить детей, поскольку их крики слышны и в церкви. Однако ему лишь изредка удается привлечь к себе какого-нибудь ребенка, основная же их масса всякий раз уклоняется и продолжает играть и не обращая на него внимания. Он не может уловить смысла их игры, ему вообще непонятен этот столь далекий от него детский смысл. Как мячики, которыми ударяют о землю, они неумоимо и без видимого напряжения скачут по ступеням, не связанные друг с другом ничем, кроме тех выкриков; это действует усыпляюще. Словно из начинающегося сна священник выхватывает ближайшего ребенка, какую-то маленькую девочку, слегка расстегивает спереди верхние пуговицы ее платья — она в шутку легонько ударяет его за это по щеке, — видит там какой-то знак, который он не ожидал — или, может быть, как раз ожидал увидеть, восклицает «Ах!», отталкивает ребенка, восклицает «Тьфу», плюет, творит в воздухе большое крестное знамение и спешит вернуться обратно в церковь. Но в дверях он сталкивается с какой-то босоногой, похожей на цыганку молодой женщиной; на ней красная с белым узором юбка и напоминающая рубашку белая небрежно расстегнутая спереди блузка, ее каштановые волосы дико спутаны.

— Кто ты? — кричит он все еще возбужденным из-за этих детей голосом.

— Твоя жена Эмилия, — тихо говорит она и медленно принакает к его груди.

Он молчит и слушает, как бьется ее сердце.

172. Был обычный день; он показал мне зубы, меня тоже держали зубы, и я не мог вырваться; я не понимал, как они меня держали, ведь они не были сомкнуты, да я и не видел, чтобы они были в два ряда, как в челюстях, их было всего несколько, одни торчали здесь, другие — там. Я хотел опереться на них и выскочить, но у меня это не получилось.

173. Ты пришел слишком поздно, он только что ушел, осенью он недолго задерживается на одном месте, его тянет на простор, в темные бескрайние поля, в нем есть что-то воронье. Если хочешь его увидеть, лети в поля, он наверняка там.

174. Ты говоришь, что я должен спуститься еще ниже, но я ведь уже очень глубоко; впрочем, если это должно быть так, то я хочу остаться здесь. Что за помещение! Это, по всей видимости, уже самое глубокое место. Но я останусь здесь, только не заставляй меня спускаться дальше.

175. Против этой фигуры я был беззащитен; она молча сидела за столом и смотрела вниз на стол. Я ходил вокруг нее кругами и чувствовал, что она не дает мне дышать. А вокруг меня ходил кто-то третий и чувствовал, что я не даю ему дышать. А вокруг третьего ходил четвертый и чувствовал, что тот не дает дышать ему. И так продолжалось вплоть до движений созвездий и еще дальше. Всё чувствует пальцы на своем горле.

176. В какой это местности? Она мне незнакома. Там всегда одно соответствует другому, там везде одно плавно переходит в другое. Я знаю, эта местность где-то есть, я даже вижу ее, но я не знаю, где она, и не могу к ней приблизиться.

177. Самым сильным светом можно разъединить этот мир. Для слабых глаз он приобретает прочность, для слабейших у него появляются кулаки, а под взглядом еще более слабых он становится стыдлив и раздавливает того, кто смеет в него всматриваться.{131}

178. Мы пили с берега маленького пруда, брюхо и грудь — на земле, передние ноги, ослабевшие от наслаждения питья — погружены в воду. Но вскоре нам уже надо было возвращаться; самый рассудительный из нас оторвался от воды и крикнул: «Назад, братья!» И мы побежали назад.

— Где вы были? — спросили нас.

— В рощице.

— Нет, вы были у пруда.

— Нет, мы там не были.

— Да с вас же еще вода течет, лжецы.

И засвистели плетки. Мы бежали по длинному, залитому лунным светом коридору, время от времени кому-то попадало, и он высоко подскакивал от боли. В галерее предков эта травля окончилась, дверь была закрыта, и нас оставили одних. Все мы еще испытывали жажду, мы слизывали воду с шерсти и морд друг у друга, иногда вместо воды на языке оказывалась кровь — это была кровь от ударов плетки.

179. Еще только слово. Еще только просьба. Еще только движение воздуха. Еще только доказательство того, что ты все еще живешь и ждешь. Нет, не просьба — только дыхание... не дыхание — только готовность... не готовность — только мысль... не мысль — только спокойный сон.

180. В старой исповедальне. Я знаю, как ты будешь утешать, я знаю, в чем ты будешь каяться. Все это мелкие дела, темные делишки, повседневная суета с утра до вечера.

181. Я собирал мое достояние. Оно было очень невелико, но это были точно очерченные, твердые, всякого сразу же убеждающие вещи. Их было от шести до семи штук; я говорю «от шести до семи», так как шесть из них безусловно принадлежали только мне, а седьмая принадлежала еще одному другу, который, правда, много лет тому назад покинул наш город и с тех пор пропал. Так что можно было бы, очевидно, сказать, что и эта седьмая вещь принадлежит мне.

Хотя эти вещи были весьма своеобразны, большой цены они не имели.

182. Жалоба бессмысленна (кому он жалуется?), торжество — смешно (калейдоскоп в окне). А он все же явно хочет быть только первобогомольцем, однако затем иудейское оказывается непристойным, и если он всю свою жизнь повторяет: «Я — собака, я — собака» и так далее, то для жалобы этого все-таки достаточно, и мы все его поймем, но для счастья не только достаточно, но и единственно возможное условие — молчание.{132}

183. — Это не глухая стена, это спрессованная в стену сладчайшая жизнь: сушеный виноград, гроздь на грозди.

— Я в это не верю.

— Отщипни и попробуй.

— От неверия я не могу поднять руки.

— Я поднесу тебе гроздь ко рту.

— От неверия я не могу почувствовать вкуса.

— Тогда пропадай!

— А разве я не говорил, что стена такая глухая, что хоть пропадай?

184. Я умею плавать не хуже других, просто у меня лучше память, и я не могу забыть свое прежнее неумение плавать. Но так как я его не забыл, то и умение плавать мне не помогает, и плавать я все-таки не могу.

185. Еще одно маленькое украшение на эту могилу. Она уже достаточно украшена? Да, но когда это так легко...

186. Это зверь с очень большим хвостом — вроде лисьего, но многометровой длины. Я бы с удовольствием подержал когда-нибудь его хвост в руке, но это невозможно: зверь все время в движении, и хвост все время вьется в разные стороны. Зверь напоминает кенгуру, однако с нехарактерным, почти человечески плоским, маленьким овальным личиком; только зубы у него довольно выразительны, независимо оттого, прячет ли он их или оскаливает. Иногда мне кажется, что этот зверь хочет меня выдрессировать — иначе для чего ему убирать от меня свой хвост, когда я его ловлю, а затем снова спокойно ждать, когда этот хвост снова меня привлечет, и тогда опять отпрыгивать еще немного подальше?

187. Предвидя, что меня ожидает, я съежился в углу комнаты, загородившись диваном. Если бы кто-нибудь теперь вошел, он непременно посчитал бы, что я дурачусь, однако тот, кто вошел, так не считал. Он вытащил из-за голенища высокого сапога арапник, постегал им вокруг себя, приподнялся на носки широко расставленных ног, снова опустил на пятки и крикнул:

— Вылезай из угла! Долго я буду ждать?

188. Катафалк плутал по сельским дорогам; погруженный на него труп не был доставлен на кладбище: кучер был пьян и думал, что везет седока, но куда он должен с ним ехать, он тоже не помнил. Поэтому он заезжал в деревни и останавливался перед трактирами, когда же сквозь пьяный угар проскакивало беспокойство о цели его поездки, надеялся, что где-нибудь добрые люди подскажут ему все, что нужно. Так, остановился он однажды перед «Золотым петухом» и потребовал порцию жареной свинины...

189. Я вижу вдали какой-то город, это его ты имеешь в виду?

Возможно, но я не понимаю, как ты смог разглядеть, что это город, я что-то там увидел, только когда ты мне это показал, да и то — лишь неясные очертания в тумане.

О да, я его вижу, он стоит на вершине горы, а по склонам разбросано что-то вроде деревень.

Тогда ты прав, это тот город: он ведь, собственно, и есть большая деревня.

190. Я вновь и вновь сбиваюсь с дороги; это тропинка в лесу, но она ясно различима: только над ней видна полоска неба, а всюду вокруг — густой и темный лес. И тем не менее я все время отчаянно сбиваюсь, а кроме того, стоит мне сойти на шаг с этой тропы, как я тут же оказываюсь за тысячу шагов, один в лесу, так что хочется упасть и остаться лежать там навсегда.

191. — Ты все время только и говоришь о смерти, а все-таки не умираешь.

— И все-таки я умру. Это как раз и есть моя последняя песня. Одна песня — длиннее, другая — короче. Но разницу всегда составляют лишь несколько слов.

192. Сторож! Сторож! Что ты сторожишь? Кто тебя поставил? Только одним, — только отвращением к самому себе ты богаче мокрицы, которая лежит под старым камнем и тоже сторожит.

193. Только сумей добиться того, чтобы тебя поняли мокрицы. В тот момент, когда ты заставишь их понять твой вопрос о цели их работы, ты уничтожишь это мокричное племя.

194. Жизнь это такое непрерывное отклонение, которое даже не дает возможности понять, от чего оно отклоняет.

195. Чтобы даже самый консервативный открыл для себя радикальность умирания!

196. Самые ненасытные — это некоторые аскеты; они устраивают голодовки во всех сферах жизни, при этом хотят в одно и то же время достичь следующего:

1. чей-то голос должен сказать: хватит, ты достаточно постился, теперь ты можешь есть, как все прочие, и это не будет считаться едой;

2. в то же время тот же голос должен сказать: ты уже так долго постился под нажимом, что с этого момента ты будешь поститься с радостью, и это будет для тебя слаще еды (но одновременно ты и в самом деле будешь есть);

3. в то же время тот же голос должен сказать: ты победил этот мир, я освобождаю тебя от него, от еды и от поста (но одновременно ты будешь как поститься, так и есть).

К этому добавляется еще один голос, с давних пор неустанно повторяющий: хоть ты и не выдержишь полного поста, но желание такое проявляешь, а этого достаточно.

197. Ты говоришь, что не понимаешь этого. Постарайся понять, назвав это болезнью. Это одно из тех многочисленных болезненных явлений, которые, как считается, открыл психоанализ. Я не называю это болезнью и в терапевтической части психоанализа вижу беспомощное заблуждение. Все эти так называемые «болезни», как бы прискорбно они ни выглядели, суть факты веры, прикрепления

бедствующего человека к какой-то материнской почве; так же и в качестве первоисточков религий психоанализ не находит ничего, кроме того, что сводится к «болезням» отдельной личности; правда, сегодня нет религиозного общества, а деятельность бесчисленных сект, как правило, ограничена практикой отдельных лиц, однако не исключено, что так это видится лишь пристрастному современному взгляду. Но ведь такие прикрепления к настоящей почве не принадлежат отдельному человеку, а, по сути своей, образованы предшествующим и позднее преобразуют свою суть (и свое тело тоже) еще дальше в том же направлении. И это хотят лечить?

В моем случае можно представить себе три концентрических круга: самый внутренний, «А», далее «Б» и «В». Ядро «А» объясняет кругу «Б», почему этот человек должен мучиться и не доверять себе, почему он должен смириться со своей участью, почему он не может жить. (Разве, к примеру, Диоген не был в этом смысле тяжелобольным? Кто из нас не был бы счастлив оказаться под сияющим взглядом Александра? А Диоген в отчаянии попросил не заслонять ему солнце. Его бочка была полна призраков.) Кругу «В» — действующему человеку — круг «Б» уже ничего не объясняет, но лишь грозно приказывает, и «В» действует под сильнейшим нажимом, не столько понимая, сколько страшась; он доверяет, он верит, что «А» все объяснил «Б» и что «Б» все правильно понял.{133}

198. Я сидел за столиком у двери одного матросского кабака, в нескольких шагах передо мной лежала маленькая гавань, день уже клонился к вечеру. Мимо близко проплывала неповоротливая рыбацья фелюга, в единственном окне каюты виднелся свет, на палубе какой-то человек возился с такелажем; он оторвался от работы и посмотрел в мою сторону.

— Можешь взять меня с собой? — крикнул я.

Он явственно кивнул. В тот же миг я уже был на ногах, столик покачнулся, кофейная чашка скатилась с него и разбилась; я еще раз спросил:

— Отвечай, можешь взять меня с собой?

Подняв голову, он ответил долгим, протяжным «да».

— Причаливай! — крикнул я. — Я готов.

— Я принесу твой чемодан? — спросил подошедший хозяин.

— Нет, — сказал я, меня захлестнуло отвращение, я посмотрел на хозяина так, словно он оскорбил меня. — Никакого моего чемодана ты не принесешь....

199. — Почему вы еще не внедрили механизированное производство? — спросил я.

— Работа слишком тонкая для этого, — ответил надзиратель.

Он сидел за маленьким столиком в углу большого деревянного строения, напоминавшего амбар; из темноты вверху спускался провод, резко светившая лампочка висела совсем низко над столом, так, что надзиратель почти задевал ее головой. На столе лежали платежные ведомости, и надзиратель их обсчитывал.

— Я, может быть, вам мешаю? — спросил я.

— Нет, — рассеянно сказал надзиратель, — но у меня тут еще есть работа, как видите.

— Для чего же тогда меня вызвали? — спросил я. — И что мне тут делать, в этом лесу?

— Поменьше вопросов, — сказал надзиратель, почти не слушая, но затем он все же заметил, что это невежливо, поднял на меня глаза, засмеялся и сказал: — Это, видите ли, у нас такое употребительное выражение. Нас здесь завалили вопросами. Но работать и одновременно отвечать на вопросы невозможно. Тот, у кого есть глаза, не должен спрашивать. Кстати, если вы интересуетесь техникой, вам здесь хватит развлечений. Гораций! — крикнул он затем в темноту помещения, из которой доносился только визг одной или двух пил.

Из темноты вышел — с несколько недовольным, как мне показалось, видом — какой-то молодой человек.

— Этот господин, — сказал надзиратель и ткнул пером в мою сторону, — остается у нас ночевать. Он желает утром осмотреть производство. Дашь ему поесть и потом отведешь на ночлег. Ты меня понял?

Гораций кивнул; он, очевидно, был несколько тугоух, но, во всяком случае, он наклонил голову к надзирателю.

200. — Никогда тебе не достать воды из глубин этого колодца.

— Что это за вода? Что это за колодец?

— А кто это спрашивает?

Молчание.

— Что это за молчание?

201.

Меня влекли прошедшие времена,

меня влекло настоящее,

меня влекло будущее,

и со всем этим я умираю в сторожевой будке

у обочины дороги,

в настоящем гробу, с давних пор

являющемся собственностью государства.

Я потратил мою жизнь,

сдерживая себя, чтобы не разбить ее.

202. Я потратил свою жизнь на то, чтобы защититься от желания ее окончить.

203. Ты должен пробить головной стеной. Пробить ее нетрудно, ведь она из тонкой бумаги. Но трудно не обмануться тем, что на этой бумаге чрезвычайно обманчиво изображено, как ты пробиваешь стеной. У тебя появляется соблазн сказать: «Не пробиваю ли я ее постоянно?»

204. Я борюсь, и никто этого не знает; нельзя исключить, что кое-кто догадывается об этом, но знать — никто не знает. Я исполняю все мои повседневные обязанности; мне можно поставить в упрек некоторую рассеянность, но не большую. Естественно, борется всякий, но я — больше, чем другие; большинство ведь борется как во сне, когда, не просыпаясь, двигают рукой, чтобы прогнать какое-то видение, а я выхожу вперед и борюсь, продуманно, старательнейшим образом используя все мои силы. Но зачем я выхожу вперед из, вообще говоря, шумной, но в этом отношении пугающе тихой толпы? Зачем привлекаю к себе внимание? Зачем числюсь теперь в первом списке врага? Не знаю. Жить иначе казалось мне не стоящим того, чтобы жить. Военная история называет людей такого типа «прирожденными воинами». И, однако, это не так: я не надеюсь на победу и меня не радует борьба как таковая, — она радует меня лишь постольку, поскольку это единственное, чем следует заниматься. Правда, в этом качестве она дает мне больше радости, чем я в действительности способен пережить, и больше, чем я способен раздарить; быть может, меня погубит не борьба, а эта радость.

205. Это чужие люди, и все же они близки мне. Судя по их речам, они недавно выпущены на свободу, они в беспамятстве освобождения, в каком-то упоении, у них нет ни секунды времени на то, чтобы познакомиться. Они говорят друг с другом, как господин с господином, каждый предполагает в другом свободу и право самостоятельно распоряжаться. Но по существу они не изменились, у них сохранились те же воззрения, те же движения и тот же взгляд. Что-то, конечно, изменилось, но я не могу уловить этой разницы, и если я говорю о состоянии выпущенных на свободу, то лишь по необходимости предпринять какую-то попытку объяснения. Да и с чего бы им чувствовать себя освобожденными? Все иерархии и зависимости сохранились, напряжение между одиночкой и всем сообществом несколько не уменьшилось, каждый занимает предназначенное ему место и так готов к предназначенной ему борьбе, что даже не способен говорить о чем-либо, кроме этого, что бы у него ни спросили. Так в чем же они изменились? Я обнюхиваю их, как собака, и не могу обнаружить никакой разницы.

206. Возвращаясь вечером домой, батраки нашли под откосом на обочине дороги совершенно обессиленного старика. Он дремал, лежа с полузакрытыми глазами. На первый взгляд казалось, что это тяжелое опьянение, но он не был пьяным. Похоже, не был он и больным — ни изголодавшимся, ни израненным; по крайней мере, в ответ на все подобные предположения он отрицательно качал головой.

— Так кто же ты? — спросили его наконец.

— Я великий генерал, — сказал он, не поднимая глаз.

— Ах, вот оно что, — сказали батраки, — значит, вот чем ты страдаешь.

— Нет, — сказал он, — я в самом деле великий генерал.

— Само собой, — сказали батраки, — а то кто же?

— Смейтесь на здоровье, — сказал он, — я не стану вас за это наказывать.

— Какой уж тут смех, — сказали они, — будь кем хочешь; если хочешь, будь обер-генералом.

— А я и есть, — сказал он, — я — обер-генерал.

— Ну вот, видишь, как мы тебя узнали, — сказали они. — Но это нас не касается, мы хотели только тебе напомнить, что ночью сильно подморозит, так что надо тебе отсюда уходить.

— Я не могу уйти, да я и не знал бы, куда мне идти.

— А почему ж ты не можешь идти?

— Не могу, не знаю, почему. Если бы я мог идти, так я бы в тот же миг снова был генералом, окруженным моим войском.

— Так они тебя, что ли, выкинули?

— Генерала? Нет, я сам свалился.

— Это откуда же?

— С неба.

— Оттуда, сверху?

— Да.

— И там, наверху, твое войско?

— Нет. Но вы слишком много спрашиваете. Убирайтесь и оставьте меня в покое.

207. Консолидация. Нас в магазине работало пятеро; бухгалтер, тихий, близорукий меланхолик, распластанный над гроссбухом, как лягушка, тело которой лишь слегка приподнимается затрудненным вдохом и вновь падает; затем приказчик, низенький человечек с широкой грудью гимнаста, ему достаточно было только одной рукой опереться о прилавок, чтобы легко и красиво перескочить через него, при этом его лицо оставалось серьезно, и он строго оглядывался по сторонам. Затем была у нас продавщица, тонкая и деликатная стареющая девушка в облегающем платье, она постоянно склоняла голову набок и улыбалась, у нее были тонкие губы и большой рот. Мне, ученику, елозившему пыльной тряпкой по прилавку и, помимо этого, особых занятий не имевшему, часто хотелось погладить руку нашей фрейлейн, длинную, слабую, тонкую руку древесного цвета, когда она небрежно или безжизненно лежала на прилавке, — погладить или даже поцеловать ее руку (или — это было уже пределом мечтаний — лицо) там, где было бы так хорошо припасть губами и лишь время от времени менять место, чтобы не нарушалась справедливость и каждая щека почувствовала на себе ее руку. Но ничего этого не происходило, более того, когда я приближался, фрейлейн вытягивала как раз эту руку, указывая ею куда-нибудь в дальний угол или наверх на стремянку, где меня ждала новая работа. Последнее было особенно неприятно, так как наверху было удушающе жарко из-за открытого газового пламени, которым мы освещались, к тому же у меня бывали головокружения, мне часто становилось там дурно, и иногда под предлогом особо основательной чистки я засовывал голову в какое-нибудь отделение стеллажа и немножко плакал там или, когда никто не смотрел вверх, произносил обращенную к фрейлейн короткую и беззвучную речь, в которой сурово упрекал ее; хоть я и знал, что ни здесь, ни где-либо еще она не имеет никакой реальной власти, но я как-то верил, что если бы она захотела, она могла бы ее иметь — и тогда она могла бы употребить ее в мою пользу. Но она не хотела, более того, она не использовала даже ту власть, которую имела. Она, к примеру, была единственной, кого хоть немного слушался магазинный грузчик, человек, в остальном поступавший совершенно своевольно; правда, он был самым старым в магазине, и служил еще при старом хозяине, и переделал здесь много такого, о чем мы, остальные, и понятия не имели, но из всего этого он вывел неверное заключение, решив, что все понимает лучше других, что, к примеру, мог бы вести бухгалтерию не только не хуже бухгалтера, но и намного лучше, что мог бы лучше приказчика обслуживать клиентов и так далее и что только в силу своего добровольного решения принял место магазинного грузчика, потому что на это место никого, даже какого-нибудь ни к чему больше не пригодного не нашлось. Поэтому он вот уже сорок лет мучился с тележкой, ящиками и пакетами, хотя явно никогда не был особенно силен, а теперь превратился уже просто в развалину. Он добровольно принял место, но настали новые времена, и об этом забыли, его уже больше не ценят, и в то время как вокруг него в магазине совершаются чудовищные ошибки, он, которому не дают в это вмешиваться, вынужден подавлять в себе отчаяние, оставаясь к тому же прикованным к своей тяжелой работе.

208. Голову он склонил набок, открыв, таким образом, шею с зияющей раной; кровь и мясо кипят и горят в ней от удара молнии, который все еще длится.

209. В постели; слегка приподнятое колено покоится в складках одеяла, словно какая-то гигантская каменная фигура на лестнице у входа в общественное здание, застывшая в оживленно текущей мимо толпе, но все же как-то отдаленно — и в этой отдаленности почти неуловимо — с ней связанная.

210. В некоей стране молятся одной-единственной группе идолов, которая называется «стиснутые зубы». Вчера я был в их храме. Жрец встретил меня на ступенях у входа. Прежде чем тебя впустят, требуется пройти обряд посвящения. Он заключается в том, что жрец коротко чиркает жесткими кончиками пальцев по затылку склонившего голову посетителя. Затем вступают в преддверие, наполненное принесенными дарами. В преддверие и святилище пускают всех, однако в самое внутреннее помещение — только жрецов и неверующих.

— Ты не много там увидишь, — усмехнулся жрец, — но можешь войти вместе со мной.

211. Как велик круг жизни, можно понять из того, что, с одной стороны, человечество с незапамятных времен заливается речами, а с другой, речь возможна только там, где хотят лгать.

212. Признание и ложь — одно и то же. Чтобы можно было сделать признание, люди лгут. То, что есть, нельзя выразить именно потому, что оно есть; сообщить можно только то, чего нет, то есть ложь. Какая-то известная правда может прозвучать только в хоре.

213. Это была вечерняя школа, где обучались ученики продавцов; они получили маленькое задание на вычисление, которое должны были теперь письменно выполнять. Но в классе стоял такой шум, что даже при всем желании считать не мог бы никто. Тише всех вел себя учитель вверху на кафедре — тощий молодой студент, как-то ухитрявшийся судорожно цепляться за убеждение, согласно которому ученики работали над его заданием и он поэтому мог погрузиться в собственные занятия, что он и сделал, зажав большими пальцами уши. В дверь постучали, и вошел инспектор вечерних школ. Ученики сразу стихли — насколько это было возможно при таком выплеске всей их энергии, — а учитель накрыл классным журналом свои тетради. Инспектор, еще один молодой человек, ненамного старше студента, обвел класс утомленными, очевидно, несколько близорукими глазами. Потом поднялся на кафедру, взял классный журнал — не для того, чтобы его открыть, а для того, чтобы открылись студенческие тетради учителя, — затем кивком пригласил его сесть и сел на другой стул сам, отчасти рядом с учителем, отчасти напротив него.

Далее произошел следующий разговор, к которому внимательно прислушивался весь класс, а задние ряды даже встали, чтобы лучше

видеть:

Инспектор. Итак, здесь вообще ничего не изучается. Я слышал этот шум уже на первом этаже.

Учитель. В классе есть несколько очень невоспитанных учеников, но остальные работают над заданием на вычисления.

Инспектор. Нет, никто не работает, да иначе и быть не может, когда вы сидите здесь наверху и штудируете римское право.

Учитель. Это верно, пока класс работал письменно, я использовал время для занятий, хотел немного сократить себе сегодняшнюю ночную работу, днем у меня нет времени на занятия.

Инспектор. Допустим, звучит это действительно вполне невинно, но посмотрим повнимательнее. В какой мы здесь школе?

Учитель. В вечерней школе торгового ученичества.

Инспектор. Это школа высшая или низшая?

Учитель. Низшая.

Инспектор. Может быть, одна из самых низших?

Учитель. Да, одна из самых низших.

Инспектор. Это правильно, она одна из самых низших. Вы ниже начальных школ, поскольку если учебный материал не повторяет учебный материал начальных школ, то речь идет о ничтожнейших первичных сведениях. Следовательно, мы все: ученики, учителя и я, инспектор, — работаем или, точнее, мы должны, выполняя свой долг, работать в одной из низших школ. Может быть, это унижительно?

Учитель. Нет, никакое учение не бывает унижительно. Кроме того, ведь для учеников эта школа — только проходной этап.

Инспектор. А для вас?

Учитель. Для меня, собственно, тоже.

.....

214. Это не было тюремной камерой, так как четвертая стена совершенно отсутствовала. Однако представление о том, что и эта стена заделана — или может быть заделана, приводило в ужас, ибо тогда, при таких размерах этого помещения, которое имело глубину один метр и высоту — лишь чуть больше моего роста, я оказался бы просто в каменном гробу. Но пока что она не была заделана; я мог свободно выставить наружу руки и, держась за железную скобу, вделанную в потолок, осторожно высунуть наружу голову — разумеется, осторожно, так как я не знал, на какой высоте над землей находится моя камера. Она, похоже, находилась очень высоко, по крайней мере внизу я не видел ничего, кроме серого тумана, — так же, впрочем, как и справа, и слева, и вдали, — только вверху, кажется, было немного посветлее. Вообще, вид оттуда был — словно с вершины башни в сумрачный день.

Я чувствовал усталость и присел на краю, свесив болтающиеся ноги вниз. Жаль, что я был совсем голый, иначе я мог бы связать концами белье и одежду, закрепить на этой скобе вверху, спуститься из моей камеры на порядочный кусок вниз и, может быть, что-то выяснить. С другой стороны, было как раз хорошо, что я не мог этого сделать, потому что я, наверное, делал бы это в таком же тревожном состоянии, и это могло кончиться очень плохо. Лучше уж ничего не иметь и ничего не предпринимать.

В камере, которая, вообще, была совершенно пуста — одни голые стены — имелись сзади две дыры в полу. Дыра в одном углу, по-видимому, предназначалась для отправления нужд, перед дырой в другом углу лежал кусок хлеба и маленькая, закрытая резьбовой крышкой, деревянная фляжка с водой; оттуда, следовательно, мне вытаскивали пищу.

215. У меня нет какого-то врожденного отвращения к змеям или, тем более, страха перед ними. Страх охватил меня только теперь, задним числом, но в моем положении это, по-видимому, естественно. Прежде всего надо заметить, что во всем остальном городе вообще ведь нет змей, если не считать выставок и отдельных магазинов, и однако моя комната кишит ими. Началось это с того, что я сидел как-то вечером за столом и писал одно письмо. Чернильницы у меня не было, я пользовался большой бутылкой чернил. И только собрался в очередной раз макнуть в нее перо, как увидел, что из горлышка бутылки торчит маленькая изящная плоская змеиная головка. Ее туловище свисало в бутылку и исчезало внизу в сильно бурливших чернилах. Зрелище было все-таки очень удивительное, но я тут же перестал тарашиться, когда мне пришло в голову, что это может быть ядовитая змея, и это было весьма вероятно, так как ее язычок подозрительно шевелился, а угрожающая трехцветная звезда...

216. Это не верно, что ты засыпан в шахте и масса породы отделяет тебя, слабого одиночку, от мира и его света, нет, ты — снаружи, ты хочешь пробиться к засыпанному, и бессилен против камней, и этот мир и его свет лишь увеличивают твою бессилие. А тот, кого ты хочешь спасти, каждое мгновение задыхается, так что ты должен работать, как одержимый, и он никогда не задохнется, так что тебе никогда нельзя будет прекратить твою работу.

217. На приподнятой над землей террасе, под навесом, опирающимся на столбы, собралось маленькое общество. Лестница из трех ступенек вела вниз в сад. Было полнолуние, стояла теплая июньская ночь. Все мы были очень веселы, всё вызывало у нас смех; когда вдали залаяла собака, мы засмеялись и над этим.

218. — Мы на правильном пути? — спросил я нашего проводника, греческого еврея.

В свете факела он повернул ко мне свое бледное нежное печальное лицо. Казалось, что ему совершенно безразлично, на правильном ли

мы пути или нет. И где мы только откопали такого проводника, который вместо того, чтобы провести нас через эти римские катакомбы, до сих пор лишь молча шел вместе с нами туда, куда шли мы? Я остановился и подождал, пока все наше общество не собралось вместе. Я спросил, не потерялся ли кто-нибудь, — никого не хватились. Я вынужден был этим удовлетвориться, так как сам никого из них не знал; толпой, чужие друг другу, мы спустились за этим проводником в подземелье, и только теперь я пытался завести с ними какое-то знакомство.

219. У меня есть тяжелый молот, но я не могу им воспользоваться, так как его ручка раскалена.

220. Многие бродят по горе Синай. Речь их неясна: одни болтливы, другие скрытны, третьи кричат. Но ни один из них не спускается прямой дорогой вниз, на недавно возникшую широкую, ровную улицу, которая, со своей стороны, увеличивает и ускоряет шаги.

221. Писание как форма молитвы.

222. Разница между Цюрау и Прагой. Я недостаточно тогда боролся?

223. Он недостаточно боролся? Он работал, но уже погибал; он знал это и прямо сказал себе: если я перестану работать, я погиб. Было ли тогда ошибкой то, что он начал работать? Едва ли.

224. Думая, что создает статую, он лишь непрерывно долбил в одну точку; это было проявлением упрямства, но еще больше — беспомощности.

225. Духовная пустыня. Трупы караванов твоих ранних и твоих поздних дней.

226. Ничего, только образ и ничего больше, полное забвение.

227. В караван-сараях никогда не заснешь, там никто не спит; но если там не спят, зачем же туда идут? Чтобы дать отдохнуть вьючным животным. Это был всего лишь маленький пятачок земли, крохотный оазис, но он был целиком занят караван-сараями, и тот, разумеется, уже был огромным. Чужаку сориентироваться там было невозможно — так, по крайней мере, мне казалось. Этому способствовал и характер построек. Входишь ты, к примеру, в первый двор; из него две арки, отстоящие друг от друга метров на десять, ведут во второй двор; проходишь сквозь одну из них и, вместо того чтобы, как ожидал, попасть в новый большой двор, оказываешься на маленькой темной площади между двух уходящих в небо стен и только высоко вверху видишь освещенные галереи. Ну, тут ты решаешь, что не туда попал, и хочешь вернуться назад в первый двор, но случайно проходишь не через ту арку, через которую вошел, а через другую, рядом. И тут же оказываешься совсем не на первой площади, а в каком-то другом дворе, который намного больше первого и наполнен шумом, музыкой и ревом скота. Тогда ты понимаешь, что заблудился, возвращаешься снова на темную площадь и проходишь в первую арку. Но это не помогает, ты снова оказываешься на второй площади и вынужден пройти несколько дворов, спрашивая дорогу, прежде чем снова окажешься в том первом дворе, от которого отошел, собственно, лишь на несколько шагов. А тут тебя ждет очередная неприятность, потому что этот первый двор вечно переполнен так, что едва можно найти, куда приткнуться. Почти что складывалось такое впечатление, словно места в первом дворе были заняты постоянными посетителями, чего в действительности никак не могло быть, так как здесь останавливались только караваны — кто бы еще захотел и смог жить в этой грязи и этом шуме, ведь маленькие оазисы не дают ничего, кроме воды, и удалены от больших оазисов на много миль. Так что постоянно здесь проживать, хотеть здесь жить не мог никто, за исключением хозяина караван-сарая и его работников, но я их, несмотря на то что несколько раз там был, никогда не видел и ничего про них не слышал. К тому же трудно было представить, что хозяин, если бы он там присутствовал, потерпел бы такие безобразия и даже акты насилия, которые были там обычным делом и происходили днем и ночью. У меня, напротив, складывалось впечатление, что там царил самый сильный в данный момент караван и, далее, остальные в последовательности убывания силы. Правда, и это не все объясняло. К примеру, большие въездные ворота были, как правило, крепко заперты; их открывание для приходящего или уходящего каравана всегда было каким-то прямо-таки торжественным действием, которое должно было совершаться с большими церемониями. Нередко караваны часами стояли перед воротами, прежде чем их впускали. И хотя это был явный произвол, тем не менее выяснением его причин не занимались. То есть стояли и ждали, имея время рассмотреть обрамление старинных ворот. Вокруг ворот шел глубокий барельеф; ангелы в два и в три ряда трубили в фанфары; одна из этих труб — как раз по центру арки — спускалась довольно низко в просвет ворот. Животных всегда приходилось с осторожностью проводить мимо, чтобы они не стучались об нее; удивительно было, особенно если принять во внимание обветшалость всей постройки, что эта, вообще говоря, красивая работа совершенно не пострадала — даже от тех, которые так долго в бессильной ярости ждали перед этими воротами. Возможно, это связано с тем, что...

228. Такова жизнь в кулисах. Вот — светло, это утро в полях, а потом сразу — темно, и это уже вечер. Не то чтобы это был какой-то сложный обман, но пока ты на подмостках, надо смиряться. И вырваться, если есть на это силы, можно только сквозь задник: пропороть холщевую стену и сквозь обрывки нарисованного неба, перелезая через всякую рухлядь, убежать в настоящую, узкую, темную, мокрую улицу, которая, правда, из-за близости к театру все еще называется Театральной, но она уже реальна и обладает всей глубиной реальности.

229. — И на этом куске изогнутого корня ты сейчас будешь играть, как на флейте?

— Сам и не подумал бы, я буду это делать только потому, что ты этого ждешь.

— Я этого жду?

— Да, ведь глядя на мои руки ты говоришь себе, что тут никакая деревяшка не устоит и зазвучит так, как я захочу.

— Ты прав.

230. В срединном потоке реки движется рыба, с радостным испугом глядя вниз, где в глубоком иле копошится что-то мелкое, и затем с радостным испугом — вверх, где в высоких волнах готовится что-то крупное.

231. Вечером он захлопывал дверь своего магазина и бежал от него припрыжку, как в каком-нибудь мюзик-холле.

232. Если ты все время несешься вперед, и плещешься в прохладном воздухе, распластав руки, как плавники, и видишь все, над чем проплываешь, лишь мельком, в полусне спешки, то когда-нибудь ты угодишь под поезд, и он тебя переедет. Если же ты остаешься на одном месте, силой взгляда заставляя корни разрастаться вглубь и вширь, ничто не может тебя отодвинуть (дело тут даже не в корнях, а только в силе твоего целеустремленного взгляда); и тогда ты увидишь и неподвластную переменам темную даль, из которой ничего не может появиться, но когда-то появляется как раз тот поезд; он накатывается, он становится все больше и в тот момент, когда он на тебя наезжает, он заполняет собой весь мир — и ты исчезаешь в нем, как ребенок в подушках какого-нибудь туристского поезда, мчащегося сквозь бурю и ночь.

233. Никакой образ вы не должны себе...

234. Вечером в тесной комнатке сидела за чаем маленькая компания. Вокруг летала птица, ворон; он выщипывал у девушек волосы и лазил клювом в чашки. Собравшиеся не обращали на него внимания, пели и смеялись, и он обнаглел...

235. Обременительность. «Позанимайся с детьми», — сказали мне. Маленькая комната была переполнена.

Некоторых так прижали к стене, что это выглядело угрожающе; они, конечно, защищались и отпихивали остальных, так что вся масса находилась в непрерывном движении. Лишь несколько детей постарше, которые возвышались над остальными и которым нечего было опасаться, спокойно стояли у задней стены и смотрели на меня поверх голов.

236. Загонщики собрались вместе, это были сильные, но гибкие господа, они назывались загонщиками, однако в руках у них были розги; они стояли у задней стены зала торжеств и в промежутках между зеркалами. Я вошел вместе с моей невестой, это была свадьба. Из узких дверей напротив нас выходили родственники; они вывинчивались оттуда: полные женщины, а слева от них, пониже ростом, — мужчины в застегнутых доверху парадных мундирах, укорачивавших шаги. Некоторые родственники, увидев мою невесту, от удивления всплескивали руками, но пока еще было тихо.

237. Во время одной воскресной прогулки я отошел от города дальше, чем, вообще говоря, собирался. И поскольку я зашел уже так далеко, меня потянуло еще дальше. На одном пригорке стоял старый, весь изогнутый, но не очень высокий дуб. Он как-то напомнил мне о том, что все-таки пора, наконец, возвращаться. Уже довольно заметно вечерело. Я остановился перед ним, погладил его жесткую кору и прочел несколько нацарапанных на ней имен. Я читал их, не отдавая себе в этом отчета, это было словно какое-то детское упрямство, которое, раз уж я не собирался теперь идти дальше, по крайней мере удерживало меня здесь, чтобы не позволить мне пойти назад. Иногда подпадаешь под влияние таких сил; его легко сбросить, ведь это всего лишь что-то вроде ласковой шутки друга, но было воскресенье и спешить было некуда, а я уже утомился и поэтому поддавался всякому влиянию. Тут до меня дошло, что одно из этих имен — Йозеф, и я вспомнил своего школьного друга, которого так звали. В моих воспоминаниях он был маленьким мальчиком, наверное, самым маленьким в классе, мы с ним несколько лет просидели за одной партой. Он казался уродливым даже нам, хотя мы тогда более склонны были считать красотой силу и ловкость, а у него было и то и другое, — тем не менее он казался нам страшным уродом.

238. Мы выбежали на улицу. Перед домом стоял какой-то попрошайка с гармошкой. Его одежда — что-то наподобие мантии — была внизу так разломачена, словно материю с самого начала не отрезали от рулона, а грубо, с силой оторвали. И этому как-то соответствовало замешательство в лице попрошайки; казалось, его разбудили от глубокого сна, и он, несмотря на все старания, не мог прийти в себя. Он словно бы все время снова засыпал, а его все время заново будили.

Мы, дети, не осмеливались с ним заговорить и попросить, как других нищих музыкантов, спеть песенку. К тому же он все время обегал нас глазами, словно, хоть и замечал наше присутствие, но не мог так ясно осознать его, как хотел.

Итак, мы ждали, когда придет отец. Он был сзади, в мастерской, и на то, чтобы прошагать длинный коридор, ему понадобилось некоторое время.

— Кто ты? — громко и строго спросил он, неприветливо выглянув из ближайшей комнаты; возможно, он был недоволен нашим поведением по отношению к этому попрошайке, но мы ведь ничего не сделали и, во всяком случае, ничего еще не испортили.

Мы, насколько это было возможно, стали еще тише. Было вообще совершенно тихо, только шелестела липа перед домом.

— Я пришел из Италии, — сказал попрошайка, но так, как будто не отвечал, а признавал какую-то вину.

Казалось, он узнал в нашем отце своего господина. Он прижимал гармошку к груди, словно она должна была его защитить...

239. Он прижимал нижнюю губу к верхним зубам, смотрел перед собой и не шевелился.

— Твое поведение совершенно бессмысленно. Что все-таки с тобой стряслось? Твой магазин не блещет, но не так уж и плох, и даже если бы он прогорел, — а об этом ведь и речи нет — ты очень легко смог бы где-нибудь зацепиться, ты молодой, здоровый, сильный, способный, имеешь торговое образование, должен заботиться только о себе и матери, так что я прошу тебя, возьми себя в руки и объясни мне, почему ты вызвал меня в середине дня и почему ты так сидишь тут?

Возникла небольшая пауза; я сидел на подоконнике, он — на стуле в середине комнаты. Наконец он сказал:

— Хорошо, я тебе все объясню. Все, что ты говорил, правильно, но посмотри сам: со вчерашнего дня не переставая идет дождь, вчера около пяти вечера он начался, и сегодня — он взглянул на часы — в четыре часа дня он все еще идет. Ведь уже это, наверное, заставляет задуматься. Но если обычно дождь идет только на улице, а в комнатах — нет, то на этот раз, кажется, наоборот. Пожалуйста, выгляни в окно — ведь внизу же сухо, правда? Ну, вот. А здесь вода непрерывно прибывает. Да и пусть, пусть прибывает. Это плохо, но я это перенесу. Было бы желание, и ты это перенесешь; ну, всплывешь со своим стулом немного повыше, больших изменений от этого

ведь не будет, все и так плавает, ну, будет плавать чуть выше. Но вот ударов дождевых капель по голове я не переносу. Это кажется мелочью, но именно этой мелочи я не переношу — или, возможно, я бы даже и это перенес, — я не переношу только свою беззащитность против этого. А я беззащитен; я надеваю шляпу, я раскрываю зонтик, я держу над головой доску — ничего не помогает: либо дождь просачивается сквозь все это, либо под шляпой, зонтиком, доской начинается новый дождь такой же ударной силы.

240. Я стоял перед горным инженером в его конторке. Это была дощатая будка, поставленная на глинистой, голой, лишь слегка выровненной земле. Над центром письменного стола горела электрическая лампочка без абажура.

— Вы хотите, чтобы вас приняли, — сказал инженер и подпер левой рукой лоб, перо в его правой руке замерло над какой-то бумагой. Он не задавал вопрос, он просто говорил сам с собой; это был тщедушный молодой человек ниже среднего роста, по-видимому, очень уставший; возможно, глаза у него были такими маленькими и узкими от природы, но казалось, что у него не хватает сил полностью их раскрыть. — Садитесь, — сказал он затем.

Там, однако, был только открытый сбоку ящик, из которого выкатились мелкие детали какого-то механизма. Инженер теперь совсем отодвинулся от письменного стола, только его правая рука все еще лежала на нем, не изменив положения, сам же он откинулся на спинку стула и, сунув левую руку в карман брюк, рассматривал меня.

— Кто вас прислал? — спросил он.

— Я прочел в одном отраслевом журнале, что сюда набирают людей.

— Понятно, — сказал он и усмехнулся, — значит, вы это прочли. Но вы очень грубо взяли за дело.

— Что это значит? — спросил я. — Я вас не понимаю.

— Это значит, — сказал он, — что сюда никого не набирают. А раз никого не набирают, то не можете быть приняты и вы.

— Конечно-конечно, — сказал я и в раздражении встал, — чтобы это узнать, мне не обязательно было садиться, — однако затем я взял себя в руки и спросил: — Не могу ли я здесь переночевать? Идет дождь, а до деревни больше часа пути.

— У меня нет комнат для гостей, — сказал инженер.

— А не могу ли я остаться здесь, в конторке?

— Я же здесь работаю, а там, — он показал в угол, — я сплю.

Действительно, в углу лежали одеяла и было брошено немного соломы, но там валялось столько разнообразных, едва узнаваемых вещей, главным образом инструментов, что до сих пор я не принимал это за постель.

241. ...мне поднять его. Я сделал это, и он сказал:

— Я путешествую, не мешайте мне, расстегните рубашку и придвиньте меня к вашему телу.

Когда я выполнил это, он сделал большой шаг и исчез во мне, как в доме. Я вытянулся, словно меня что-то сдавило, и едва не потерял сознание; бросив лопату, я пошел домой. Мужчины сидели за столом и ели из общей миски, были там и две женщины — у плиты и у корыта. Я сразу же рассказал, что со мной случилось, при этом упал на скамью у двери и все меня обступили. Поехали в близлежащее поместье за одним многоопытным старцем. Пока его ждали, ко мне пришли дети, мы протянули друг другу руки, соединили пальцы...

242. Это был поток, мутное течение, катившее низкие бесшумные волны очень торопливо, но все же как-то сонно, чересчур равномерно. Наверное, иначе и не могло быть при таком избытке воды...

243. По лесной дороге ехал всадник, впереди бежала собака. Сзади шли несколько гусей, их гнала перед собой прутиком маленькая девочка. Хотя все, от собаки впереди до этой маленькой девочки сзади, ускоряли движение как только могли, оно все же было не очень быстрым, и каждый без труда поспевал за остальными. К тому же вместе с ними бежали и лесные деревья по обе стороны дороги, а они, эти старые деревья, бежали как-то неохотно, устало. К девочке присоединился молодой атлет, пловец; он плыл мощными гребками, глубоко погрузив голову в воду, так как вода, волнуясь, окружала его и продвигалась вместе с ним по мере того, как он плыл; затем подошел столяр, которому нужно было доставить по назначению стол, он нес его на спине, придерживая руками за передние ножки; за столяром следовал царский курьер, несчастный из-за того, что встретил тут в лесу столько народу; он беспрерывно вытягивал шею, высматривая, что там впереди и почему все это движется так отвратительно медленно, однако вынужден был смирять себя, потому что столяра перед собой он, наверное, еще мог обогнать, но как бы он преодолел воду, окружавшую пловца? За курьером прибыл, как ни удивительно, сам царь, еще молодой человек, радовавшийся жизни, у него было округлое, но с тонкими чертами лицо и острая русая борода. Тут-то и проявились недостатки столь большой империи: царь знал своего курьера, курьер своего царя — нет; царь вышел всего лишь прогуляться для восстановления сил, а продвигался вперед не менее быстро, чем его курьер, следовательно, мог бы и сам доставить свою почту.

244. Я пробежал мимо первого охранника. Затем, с опозданием испугавшись, вернулся назад и сказал охраннику:

— Я пробежал тут в тот момент, когда ты отвернулся.

Охранник смотрел перед собой и молчал.

— Я, наверное, не должен был так поступать, — сказал я.

Охранник по-прежнему молчал.

— Значит ли твое молчание, что я могу пройти?..{134}

245. Вызвали двух молотильщиков, они стояли со своими цепями в темной риге. «Сюда иди», — сказали они, и меня положили на ток. В дверях, прислонясь к косяку, наполовину снаружи, наполовину внутри стоял крестьянин.

246. Тварь вырывает у Господина плетку и хлещет себя сама, чтобы стать Господином, не зная, что это лишь фантазия, порожденная новым узлом на хвосте плетки Господина.{135}

247. Человек — это чудовищное заболоченное пространство. Когда его охватывает воодушевление, то в целом это выглядит так, словно где-то в каком-то углу этого болота маленькая лягушка плюхнулась в зеленую воду.

248. Если бы хоть кто-то был в состоянии отстать от правды на одно слово, всякий (и я в этом высказывании) перегнал бы ее на сотню.

249. Говоря по правде, все это дело меня не очень интересует. Я лежу в углу, наблюдаю, насколько можно наблюдать лежа, слушаю, насколько способен его понимать, а в остальном уже несколько месяцев живу в каких-то сумерках и жду наступления ночи. В отличие от моего товарища по камере, бывшего капитана. Я могу понять его точку зрения. Он считает, что его положение в чем-то сходно с положением какого-нибудь безнадежно вмерзшего в лед полярного мореплавателя, который, однако, наверняка еще будет спасен или, вернее, который уже спасен, — как это и описано в истории полярных плаваний. И тут возникает следующая дилемма: что он будет спасен, для него несомненно, это не зависит от его желания, он будет спасен просто под давлением победоносного веса его личности, — но должен ли он этого желать? Его желание или нежелание ничего не меняют, он все равно будет спасен, однако вопрос о том, следует ли ему еще и желать этого, остается. Вот этот внешне отвлеченный вопрос его и занимает, он обдумывает его, излагает его мне, и мы его обсуждаем. Он не понимает, что такая постановка вопроса окончательно решает его участь. О самом спасении мы не говорим. Для спасения ему, похоже, достаточно того маленького молотка, который он как-то раздобыл; этот молоточек годится только для того, чтобы обивочные гвоздики в какой-нибудь планшет забивать, больше им ничего не сделаешь, но сосед ничего и не собирается им делать, он в восторге уже от того, что имеет его. Иногда он опускается подле меня на колени и вертит этот уже тысячу раз виденный молоток перед моим носом или берет мою руку, растопыривает на полу ее пальцы и обстукивает их этим молотком один за другим. Он знает, что таким молотком не сможет отбить от стены ни одного кусочка, да он этого и не хочет, он только иногда слегка чиркает этим молотком по стене, словно способен подать им дирижерский знак вступления, который приведет в движение всю гигантскую ожидающую машинерию спасения. Это будет не совсем так, в свое время спасение вступит независимо от взмаха молотка, но что-то он все-таки собой представляет: нечто осязаемое, некое ручательство, что-то такое, что можно поцеловать, тогда как само спасение поцеловать никогда нельзя.

Ну, мой ответ на его вопрос прост: «Нет, спасения желать не следует». Я не собираюсь устанавливать никаких всеобщих законов: это дело тюремщика, — я говорю только о себе. И что касается меня, то эту свободу, ту самую свободу, которая теперь должна стать нашим спасением, я едва ли смог бы перенести — или действительно не перенес, поскольку сейчас я ведь и сижу в камере. Правда, стремился я, собственно, не в камеру, а только вообще куда-нибудь подальше, может быть, на какую-нибудь другую звезду — скорее всего, на какую-нибудь другую звезду. Но разве смог бы я дышать тамошним воздухом и разве не задохнулся бы там, как здесь в камере? так что с тем же успехом я мог бы стремиться и в камеру.

Иногда в нашу камеру приходят двое тюремщиков поиграть в карты. Я не знаю, почему они это делают, ведь это, вообще говоря, — некоторое смягчение наказания. Приходят они, как правило, под вечер, меня в это время всегда немного лихорадит, я не могу полностью раскрыть глаза и лишь смутно вижу их в свете большого фонаря, который они приносят с собой. Но в таком случае разве это все еще камера, если она устраивает даже тюремщиков? Однако меня не всегда радуют такие соображения, во мне просыпается классовое сознание заключенного: что им надо здесь, среди заключенных? Да, меня радует, что они здесь; благодаря присутствию этих могучих мужчин я чувствую себя в безопасности, к тому же благодаря им я чувствую, что поднимаюсь над собой, но в то же время я этого и не хочу; я хочу раскрыть рот и одною только силой моего дыхания выдуть их из камеры.

Конечно, можно сказать, что заключение свело капитана с ума. Круг его мыслей столь узок, что в нем уже вряд ли есть место для какой-то мысли. К тому же эту мысль о спасении он буквально исчерпал до конца, от нее осталось совсем немного — как раз столько, сколько нужно, чтобы он мог хоть как-то судорожно за нее цепляться, но уже и эту опору он иногда выпускает, правда, затем снова хватается за нее и тогда прямо-таки пыхтит от счастья и гордости. Однако это не основание считать, что я в чем-то превосхожу его, — может быть, в методике, может быть, еще в чем-то несущественном, а так — ни в чем.

250. Дождливый день. Ты стоишь перед зеркалом какой-то лужи. Ты не устал, не печален, не задумчив, ты просто стоишь там со всей своей земной тяжестью и кого-то ждешь. И тут слышишь голос, один звук которого, даже помимо слов, заставляет тебя улыбнуться.

— Идем со мной, — говорит голос.

Но вокруг тебя нет никого, с кем ты мог бы пойти.

— Уже иду, — говоришь ты, — но я тебя не вижу.

И в ответ больше ничего не слышишь. Но подходит человек, которого ты ждал, — высокий, сильный мужчина с маленькими глазками, кустистыми бровями, толстыми, несколько отвислыми щеками и эспаньолкой. Тебе чудится, словно бы ты его уже когда-то видел. Естественно, ты его уже видел, ведь это твой старый деловой партнер, ты договорился с ним встретиться здесь и обсудить одно долгое незавершенное дело. Но хотя он стоит здесь, перед тобой, и с полей его хорошо знакомой тебе шляпы медленно каплет дождь, ты лишь с трудом узнаешь его. Что-то мешает тебе, ты хочешь освободиться от этого, хочешь войти в непосредственное соприкосновение с этим человеком и потому хватаешь его за руку. Но тут же невольно ее выпускаешь; тебя пробрала дрожь: к чему ты прикоснулся? Ты смотришь на свою руку и хотя ничего не видишь, тебя мутит до позывов на рвоту. Ты придумываешь какое-то извинение, которое, скорее

всего, не извиняет, так как пока ты его говоришь, ты о нем уже забываешь, и идешь прочь, идешь в стену дома; мужчина тебя окликает, по-видимому, предупреждая, но ты отмахиваешься от него, и стена расступается перед тобой; слуга, высоко подняв канделябр, идет впереди, ты следуешь за ним. Но он приводит тебя не в квартиру, а в аптеку. Это большая аптека с высокой полукруглой стеной, в которой сотни одинаковых выдвижных ящичков. Кроме того, здесь множество покупателей, большинство их вооружено длинными тонкими шестами, и они сразу хлопают ими по ящичку, из которого хотят что-то получить. После этого помощники быстрыми, но крохотно мелкими, цепкими движениями карабкаются вверх — не видно, за что они цепляются, трещь себе глаза и все равно этого не видишь — и достают требуемое. Сделано ли это только для развлечения или продавцы такими и уродились — как бы там ни было, но сзади у них вылезают из штанов пушистые хвосты наподобие беличьих, только намного длиннее, и во время лазанья эти хвосты подергиваются в такт всем их многочисленным мелким движениям. Из-за толкотни в потоках входящих и выходящих покупателей совершенно не видно места, где лавка сообщается с улицей, зато видно выходящее на улицу маленькое закрытое окошко, расположенное справа от предполагаемого входа. Сквозь это окошко видны трое людей, стоящие снаружи, они настолько полно закрывают обзор, что нельзя сказать, пуста ли за ними улица или, может быть, полна людей. Видно, в основном, одного мужчину, он целиком приковывает к себе взгляд; по обе стороны от него стоят две женщины, но их почти не замечаешь, то ли они согнулись, то ли опустились, то ли как раз сейчас погрузились куда-то в глубину, косо наклоняясь к мужчине, — они совершенно второстепенны, при том что и в самом мужчине есть нечто женское. Он крепок, на нем синяя рабочая блуза, у него широкое, открытое лицо с приплюснутым носом (кажется, что его приплюснули только что, и ноздри, раздуваясь, борются, стараясь поддержать нос), на щеках — яркий румянец. Мужчина все время заглядывает в аптеку, шевелит губами и наклоняется вправо и влево, словно что-то внутри высматривает. Среди посетителей обращает на себя внимание один человек; его не обслуживают, он ничего не требует, ходит, выпрямившись, по залу, старается все увидеть, придерживает двумя пальцами беспокойную нижнюю губу и время от времени поглядывает на часы. Это явно хозяин, покупатели указывают на него друг другу, его легко узнать по многочисленным тонким круглым кожаными ремешкам, которые не слишком свободно и не слишком туго обтягивают верхнюю часть его туловища вдоль и поперек. Светловолосый мальчик лет десяти цепляется за его френч, временами хватаясь и за ремень; он о чем-то просит, чего аптекарь не хочет ему позволить. В этот момент звенит дверной колокольчик. Почему он звенит? Столько покупателей входили и выходили, и он не звенел, но теперь он звенит. Толпа теснится прочь от двери; кажется, этого звонка ждали; кажется даже, что толпа знает больше того, в чем признается. Теперь становится видна и большая двустворчатая стеклянная дверь. За ней — узкая пустынная улица, аккуратно вымощенная кирпичом; там облачный, дождливый день, но дождя пока нет. Только что какой-то господин открыл с улицы дверь и этим привел в движение колокольчик, однако теперь господин засомневался, он снова отходит назад, снова читает надпись на вывеске — да, все правильно — и теперь заходит внутрь. Это, как известно каждому в толпе, доктор Иродиус. Держа левую руку в кармане брюк, он направляется к аптекарю, вокруг которого теперь образовалось свободное пространство, даже ребенок оказался в толпе — правда, рядом, в первом ряду — и смотрит оттуда широко раскрытыми голубыми глазами. Иродиус имеет привычку говорить в тоне насмешливого превосходства, откидывая голову назад, так что даже когда он сам говорит, создается впечатление, что он слушает. Притом он очень рассеян, многое приходится повторять ему дважды, к нему вообще трудно подступиться; кажется, что и над этим он тоже насмехается. Ну как может врач не знать аптеки? тем не менее он озирается вокруг так, словно он здесь впервые, и при виде продавцов с хвостами качает головой. Затем направляется к аптекарю, обнимает его правой рукой на уровне плеч, разворачивает его, и вот они уже вдвоем, тесно прижавшись друг к другу, проходят сквозь расступающуюся в стороны толпу вглубь аптеки; мальчик, идущий впереди, то и дело робко оглядывается. Они прошли за прилавок и сквозь портьеры, отдернутые перед ними мальчиком, затем — дальше, через лабораторные каморки, и наконец подошли к маленькой двери, открывать которую пришлось доктору, так как мальчик открыть ее не решался. Существовала опасность, что толпа, тоже ввалившаяся сюда, последует за ними и в комнату. Однако продавцы, протиснувшиеся за это время уже в первый ряд, повернулись и, даже не ожидая приказа хозяина, начали теснить покупателей; это были не только сильные, но и умные молодые люди, они медленно и спокойно оттесняли назад толпу, которая, впрочем, и увязалась-то вслед не с намерением помешать, а буквально только под давлением собственной массы. Тем не менее возникло все-таки и некое встречное движение. Источником его был тот мужчина с двумя женщинами; он оставил свой пост у окна, вошел в лавку и хотел теперь пройти дальше, чем все остальные. И именно вследствие податливости толпы, явно относившейся к этому месту с почтением, ему это удалось. Пройдя между продавцами, которых он отстранил не столько локтями, сколько двумя короткими взглядами, он вместе со своими женщинами уже подошел к господам и, будучи выше их обоих, всматривался между их голов в темноту комнаты.

— Кто там? — спрашивает слабый женский голос из комнаты.

— Не волнуйся, это доктор, — отвечает аптекарь, и теперь они входят в комнату.

Никто не догадывается зажечь свет. Доктор оставляет аптекаря и подходит к постели один. Мужчина и его женщины облакачиваются на спинку кровати в ногах больной, как на перила. Аптекарь не решается подойти; мальчик снова держится за него. Доктору мешают трое посторонних.

— Кто вы? — спрашивает он, приглушая голос из уважения к больной.

— Соседи, — отвечает мужчина.

— Что вам надо?

— Нам надо, — отвечает мужчина, говоря при этом намного громче доктора...

251. [Фрагмент рассказа «Младший прокурор».]

...было уже тошно устраивать охоты на уродов, иначе первой мишенью стал бы окружной судья. Но злиться на него бессмысленно. И поэтому младший прокурор злится не на него, а только на ту глупость, которая посадила подобного человека на место окружного судьи. Значит, глупость и будет вершитель правосудия. В плане личных обстоятельств младшего прокурора то, что он имеет такой низкий ранг, уже само по себе весьма прискорбно, но для его глубинных устремлений, возможно, оказалось бы недостаточно и ранга старшего прокурора. Даже для того, чтобы выдвинуть эффективное обвинение против тех глупостей, которые у него перед глазами, он должен был бы стать значительно более высоким прокурором. А уж тогда до обвинения окружного судьи он воистину не опустился бы, с высоты своего места обвинителя он бы его даже и не узнал. Но зато он установил бы везде такой отменный порядок, что этот окружной судья не смог бы в нем существовать, потому что у него — хоть бы к нему и не притрагивались — затряслись бы колени, и в конце концов ему пришлось

исчезнуть. Тогда, возможно, настало бы время перенести дело и самого младшего прокурора из закрытого дисциплинарного суда в открытое судебное заседание. Тогда младший прокурор лично в нем бы уже не участвовал, он тогда смог бы силой данной ему высшей власти разорвать наложенные на него цепи и уже сам вершить над ним суд. Он представляет себе, как перед началом заседания некая могущественная персона шепчет ему на ухо: «Теперь-то ты получишь удовлетворение». Обвиняемые советники дисциплинарного суда, естественно, лгут, лгут стиснув зубы, лгут так, как могут лгать только судейские, когда обвинение вдруг касается их самих. Но все так подготовлено, что факты сами стряхивают с себя всю ложь и разворачиваются перед слушателями свободно и правдиво. А присутствует много слушателей, они сидят по трем сторонам зала, и только судейские кресла пусты, судей не нашлось, судьи теснятся в том узком пространстве, где обычно стоит обвиняемый, и пытаются оправдаться перед пустыми судейскими креслами. И только официальный обвинитель, бывший младший прокурор, естественно, присутствует и сидит на своем обычном месте. Он намного спокойнее? чем обычно, он лишь изредка кивает, все идет правильно и идет как часы. Только теперь, когда дело освобождено от всяких документов, показаний свидетелей, протоколов допросов, обсуждений мотивов и оснований для вынесения решения, можно увидеть его мгновенно все перевешивающую простоту. Сам этот случай произошел около пятнадцати лет назад. Младший прокурор служил тогда в столице, считался толковым юристом, был очень любим начальством и имел даже надежду на скорое — впереди многих соискателей — назначение десятым прокурором. Второй прокурор проявлял к нему особую склонность и позволял ему замечать себя даже в не совсем незначительных делах. Так было и во время одного мелкого процесса по делу об оскорблении величества. Служащий одной фирмы, человек не без образования и политически очень активный, обретаясь в каком-то трактире вполпьяна и со стаканом в руке, совершил оскорбление величества. А некий, вероятно, еще более пьяный посетитель, сидевший за соседним столом, заявил на него; решив, по всей вероятности в пьяном угаре, что совершает превосходный поступок, он тут же побежал за полицейским и, блаженно улыбаясь, вернулся вместе с ним, чтобы передать ему этого человека. Правда, тот позднее если и не целиком, то, по крайней мере, в главном подтвердил свое высказывание, и, вообще, оскорбление величества должно было представляться совершенно очевидным, так как ни один свидетель не мог его полностью отрицать. Однако дословное его звучание не могло быть установлено с несомненностью; наиболее основательным было предположение, что обвиняемый указал стаканом вина на висевший на стене портрет короля и при этом сказал: «Засветить бы тебе фонарь!» Тяжесть этого оскорбления смягчалась только тогдашним частично невменяемым состоянием обвиняемого, а также тем, что свое оскорбление он произнес в какой-то связи со строкой песни «пока еще фонарик светит», чем затуманил смысл своего выкрика. О характере связи этого выкрика с песней почти у каждого свидетеля было свое мнение; заявитель даже утверждал, что пел не обвиняемый, а кто-то другой. Необычайно отягчающим обстоятельством была политическая деятельность обвиняемого, которая во всяком случае делала очень вероятным, что он был способен и в абсолютно трезвом состоянии совершенно сознательно это выкрикнуть. Младший прокурор так часто передумывал все эти вещи, что во всех подробностях помнит, как почти с воодушевлением принялся за обвинение — и не только потому, что вести процесс об оскорблении величества было почетно, но еще и потому, что этого обвиняемого и его деяние он искренне ненавидел. Не имея каких-то детально выработанных политических взглядов, он был все же насквозь, почти по-детски консервативен (несомненно, он в этом не одинок, есть и другие такие же младшие прокуроры) и полагал, что если все спокойно и доверчиво соединятся с королем и правительством, то обязательно явится возможность устранить все трудности, а будут ли при этом представлять перед королем стоя или на коленях, само по себе казалось ему несущественным; чем больше доверия, тем лучше, и чем больше доверия, тем ниже должны склоняться, причем не из раболепия, но в силу естественного убеждения. Однако достижение столь желанного состояния мешают люди вроде этого обвиняемого, которые вылезают из какого-то подземного мира и раскалывают своими криками плотную массу полезного народа... Там стоял политический честолюбец, которого не удовлетворяла честная профессия служащего фирмы, скорей всего потому, что не обеспечивала ему достаточных средств для попок, человек с гигантской челюстью, приводившейся в движение такими же гигантскими желваками мускулов, прирожденный народный трибун, оравший даже на следователя, но в этом конкретном случае, к сожалению, — еще и нервная, взвинченная личность. Следствие, при котором младший прокурор, движимый интересом к делу, нередко присутствовал, представляло собой непрерывную перебранку. Следователь и подследственный поочередно вскакивали на ноги, и каждый орал на другого. Это, естественно, неблагоприятно отражалось на результатах следствия, а поскольку младший прокурор должен был на этих результатах строить свое обвинение, то ему пришлось затратить много труда и остроумия, чтобы сделать его достаточно обоснованным. Он работал ночи напролет, но работал с радостью. Тогда стояли чудные весенние ночи; перед домом, на первом этаже которого жил младший прокурор, был маленький, два шага в ширину, палисадничек, и когда младший прокурор уставал от работы или одолевавшие его мысли требовали покоя и собранности, он вылезал из окна в этот палисадничек и ходил по нему взад и вперед или, закрыв глаза, прислонялся к садовой ограде. Он тогда не щадил себя, он несколько раз перерабатывал все обвинение, а некоторые его части — по десять и по двадцать раз. К тому же количество материалов, подготовленных для основного заседания, было почти неподъемно. «Дай Бог, чтобы я все это смог охватить и оценить», — было его постоянной ночной молитвой. Он считал, что составлением самого обвинения заканчивается лишь самая малая часть его работы, поэтому и похвалу второго прокурора, с которой тот возвратил ему после тщательного просмотра текст обвинения, воспринял не как награду, а лишь как одобрение, хотя похвала была велика и к тому же исходила от сурового, скупого на слова человека. Похвала эта, как часто повторял впоследствии в своих заявлениях младший прокурор (так и не сумев, впрочем, склонить второго прокурора к тому, чтобы вспомнить ее), звучала следующим образом: «Эта тетрадь, мой дорогой коллега, содержит не только обвинение, но, судя по всему, что доступно человеческому предвидению, она содержит и ваше назначение десятым прокурором». И поскольку младший прокурор скромно промолчал, второй прокурор добавил: «Уж поверьте мне». На основное слушание младший прокурор пришел уверенным и спокойным. Никто в зале не знал всех тонкостей и возможностей ведения процесса так, как он. Защитник был неопасен, это был известный младшему прокурору всегда кричащий, но малоостроумный человек. А в тот день он наверняка даже не очень-то и рвался в драку; он защищал, потому что должен был защищать, потому что дело касалось члена его политической партии, потому что могли представиться возможности для произнесения тирад и потому что случай привлек некоторое внимание партийной прессы, но надежды вытащить своего клиента у него не было. Младший прокурор припоминает еще, как незадолго перед началом слушаний он с демонстративной, подчеркнутой усмешкой смотрел на этого защитника, а тот, неспособный овладеть собой — он и вообще этого не мог, — смешивал все на своем столе в кучу, вырывал из своих записей листки, которые тут же, словно от дуновения ветра, испещрялись пометками, его маленькие ножки дергались под столом, и он каждую минуту, не отдавая себе в этом отчета, испуганным движением поглаживал лысину, словно искал там какие-то повреждения. Младшему прокурору он казался недостойным противником, и когда защитник в начале слушаний сразу же вскочил и отвратительным свистящим голосом потребовал, чтобы слушания проходили в открытом заседании, младший прокурор почти нехотя поднялся со своего места. Все было настолько ясно и настолько продумано, что казалось, будто все люди вокруг смешались в некое ему одному принадлежащее дело, которое он, в соответствии с характером этого дела, мог довести до конца в себе самом — без судьи, без защитника и без обвиняемого. И он присоединился к требованию защитника. Его поведение было настолько же неожиданным, насколько поведение защитника — само собой разумеющимся. Но младший прокурор

объяснил им свое поведение, и во время его объяснений в зале было так тихо, что если бы не множество глаз, устремленных на него со всех сторон и словно желавших притянуть его к себе, можно было бы подумать, что он разговаривает сам с собой в пустом зале. Он сразу заметил, что убедил. Судьи вытягивали шеи и удивленно переглядывались, защитник откинулся на спинку своего стула, как деревянный, словно перед ним только что свершилось явление младшего прокурора, выросшего из-под земли, обвиняемый скрежетал от напряжения гигантскими зубами, а слушатели в толпе крепко держались за руки. Они понимали, что все это дело, которое так или иначе их слегка касалось, какой-то человек совершенно отнимает у них и превращает в свою неотъемлемую собственность. Каждый, надеявшийся поприсутствовать на маленьком процессе об оскорблении величества, теперь слышал, как младший прокурор уже при рассмотрении первого требования упомянул о самом оскорблении всего лишь несколькими словами, как о чем-то несущественном. {136}

252. Я со страхом вошел через боковой вход, я не знал, какова обстановка, я был маленьким и слабым, я с беспокойством оглядел свой костюм; было довольно темно, за пределами непосредственно окружавшего меня пустого пространства ничего не было видно, под ногами была трава, и я засомневался, туда ли я попал; если бы я прошел через главный вход, никаких сомнений не могло бы возникнуть, но я прошел через боковой; возможно, стоило вернуться назад и прочесть надпись над дверью, но я, кажется, припомнил, что никакой надписи там не было. Тут я заметил вдалеке какой-то тусклый серебристый свет, это придало мне уверенности, и я пошел в том направлении. Там был стол, в центре его горела свеча, вокруг сидели трое и играли в карты.

— Я правильно сюда пришел? — спросил я. — Мне нужно к трем картежникам.

— Это мы, — сказал один из них, не открывая глаз от карт.

253. Как дышит в лунном свете лес! то он сжимается и делается маленьким, тесным, с высоко торчащими деревьями, то растягивается, расправляет все склоны и становится мелким кустарником — и даже еще меньше: туманным миражом вдали.

254. А. Давай начистоту! Когда еще тебе случится так доверительно, как сегодня, посидеть за пивом с тем, кто тебя выслушает. Давай начистоту! В чем заключается твоя власть?

Б. Да разве у меня есть власть? О какой власти ты говоришь?

А. Ты хочешь от меня увильнуть, скрытная ты душа. Может, твоя власть и заключается в твоей скрытности?

Б. Моя власть! Уж наверное, у меня много власти, если я усаживаюсь в этом плюгавом трактире и натыкаюсь на старого однокашника, который ко мне подсаживается.

А. Ладно, тогда я с другой стороны зайду. Ты сам как считаешь, есть у тебя власть? Но теперь отвечай начистоту, иначе я встану и пойду домой. Считаешь ты, что у тебя есть власть?

Б. Да, я считаю, что у меня есть власть.

А. Ну, то-то.

Б. Но это никого, кроме меня, не касается. Никто не видит никаких следов этой власти, ни крупницы, — и я тоже.

А. Но ты считаешь, что у тебя есть власть. А почему тогда ты считаешь, что у тебя есть власть?

Б. Это не совсем правильно так говорить: «я считаю, что у меня есть власть». Это чванство. Я — вот такой, какой сижу здесь: старый, дряхлый и грязный — не считаю, что у меня есть власть. Ту власть, о которой я говорю, употребляю не я, а другие, но эти другие подчиняются мне. Я, естественно, не могу этим гордиться, а могу только очень этого стыдиться. Либо я их слуга, которого они, по капризу больших господ, поставили над собой господином, тогда бы это еще ничего, тогда все было бы только видимостью, либо я действительно поставлен над ними господином — и что тогда мне, бедному, беспомощному старику, делать? Я без дрожи стакан от стола до рта донести не могу, а должен теперь править бурями и мировым океаном.

А. Ну вот, видишь, какая у тебя власть, и все это ты хотел скрыть. Но тебя знают. Хоть ты и сидишь всегда один в своем углу, каждый завсегдатай за этим столом тебя знает.

Б. Что да то да, завсегдатаи много знают, я слышу лишь малую часть их разговоров, но то, что я слышу, — это моя единственная наука и опора.

А. Что? Да неужели ж ты и правишь так, как здесь услышишь?

Б. Нет, конечно нет. А ты, значит, тоже из тех, которые верят, что это я правлю?

А. Так ты же сам только что это сказал.

Б. Чтобы я что-то такое сказал? Нет, я сказал только, что считаю, что у меня есть власть, но я этой власти не употребляю. Я не могу ее употреблять, потому что хотя мои помощники уже здесь, но еще не на своих постах и никогда там не будут. Легкомысленные они, болтаются везде, где не надо, и со всех сторон смотрят на меня, а я все одобряю и киваю им. Так разве я тогда не прав, говоря, что у меня нет власти? И не называй меня больше скрытным.

255. — На чем держится твоя власть?

— Ты считаешь, что у меня есть власть?

— Я считаю, что у тебя огромная власть, и почти так же сильно, как твоей властью, я восхищаюсь сдержанностью и

самоотверженностью, с которыми ты ее употребляешь, или, скорее даже, решительностью и убежденностью, с которыми ты употребляешь эту власть против самого себя. Ты не только сдерживаешь себя, ты даже борешься с собой. Я не спрашиваю о причинах, по которым ты так поступаешь, это твое своеобразнейшее своеобразие, а я спрашиваю только о происхождении твоей власти. Полагаю, я имею на это право, поскольку распознал эту власть так, как немногим до сих пор удавалось, и поскольку ощутил ее угрозу — чем-то большим она, благодаря твоему самообладанию, еще не стала — как почти неотвратимую.

— На твой вопрос мне нетрудно ответить: моя власть держится на двух моих женщинах.

— На твоих женщинах?

— Да. Ты ведь их знаешь.

— Ты имеешь в виду тех женщин, которых я видел вчера у тебя на кухне?

— Да.

— На этих двух толстухах?

— Да.

— На этих женщинах! Я почти что не обратил на них внимания. Извини, но они выглядели как две кухарки. И они были не совсем опрятны, — небрежно одеты.

— Да, они такие.

— Ну, если ты что-то говоришь, я этому немедленно верю, но только теперь я понимаю тебя еще меньше, чем раньше, — до того, как узнал об этих женщинах.

— Здесь нет никакой загадки, все лежит на поверхности; я попытаюсь тебе это изложить. Значит, я живу с этими женщинами; ты видел их на кухне, но готовят они лишь изредка, а еду, как правило, берут в ресторане напротив, иногда за ней идет Рези, иногда — Альба. Собственно, никто не возражает против того, чтобы готовить дома, однако тут возникают слишком большие затруднения, так как они друг друга не переносят — то есть они прекрасно друг друга переносят, но только тогда, когда не нарушается покой их совместного проживания. Они могут, к примеру, часами мирно лежать рядом без сна на узком диване, что уже немало, если учесть их толщину. Но в работе они друг друга не переносят, тут же возникает спор, а из спора сразу же — драка. Поэтому мы согласились — разумную речь они очень хорошо понимают — работать как можно меньше. Это, кстати, соответствует и их характеру. Они считают, например, что на редкость хорошо убирают квартиру, а в ней при этом так грязно, что мне порог переступить противно; правда, когда уже преступил порог, легко привыкаешь.

Вместе с работой отпали и все поводы для споров, в частности, ревность — она им совершенно незнакома. Да и откуда взяться ревности? Я же их почти не отличаю одну от другой. Ну, может быть, нос и губы у Альбы еще более негритянские, чем у Рези, но, опять-таки, иногда мне кажется, что как раз наоборот. Может быть, у Рези несколько меньше волос, чем у Альбы, — собственно говоря, у нее уже просто непозволительно маю волос, — но разве я обращаю на это внимание? Я все равно их почти не различаю.

К тому же я ведь прихожу с работы домой только вечером, а днем сколько-нибудь продолжительное время вижу их исключительно по воскресеньям. И так как после работы я люблю бродить как можно дольше в одиночестве, то, соответственно, домой прихожу поздно. Из бережливости мы по вечерам свет не зажигаем. У меня в самом деле нет таких денег: содержание этих женщин, способных есть, вообще говоря, беспрерывно, съедает все мое жалованье. Значит, звоню я вечером в свою темную квартиру. И слышу, как они обе, пыхтя, подходят к двери. Рези или Альба говорит: «Это он» — и обе начинают пыхтеть еще сильнее. Окажись на моем месте кто-нибудь чужой, мог бы и испугаться.

Затем они открывают, и обычно как только появляется просвет в двери, я шутки ради врываюсь внутрь и одновременно хватаю обеих за горло. «Ты», — говорит одна из них, это означает: «Невероятный ты человек» — и обе смеются, издавая глубокие гортанные звуки. Теперь они занимаются уже только мной, и не выдерни я одну руку, чтобы захлопнуть дверь, она бы всю ночь так и стояла открытой.

Затем — всегдашний проход через прихожую длиной в несколько шагов, который длится четверть часа и при котором меня почти что несут. Я и в самом деле чувствую усталость после далеко не легкого дня и иногда кладу голову на мягкое Резино плечо, иногда — на мягкое Альбино. Обе они почти голые, в одних рубашках, они большую часть дня так и ходят, только когда кто-то предупреждает о визите, как ты недавно, они натягивают на себя несколько грязных тряпок.

Затем мы подходим к моей комнате, и обычно они вталкивают меня внутрь и закрывают дверь. Это игра, так как теперь они борются за право войти первой. Но это не какая-то там ревность и не настоящая борьба, а только игра. Я слышу легкие звонкие удары, которыми они обмениваются, пыхтение, которое теперь означает уже действительно одышку, и, время от времени, отдельные слова. В конце концов я сам распахиваю дверь, и они вваливаются в комнату, разгоряченные, в разорванных рубашках, и от ароматов их дыхания щиплет глаза. Затем мы падаем на ковер, и тут постепенно все стихает.

— Ну и что же ты замолчал?

— Я забыл, к чему я это. С чего мы начали? Ты спросил меня о происхождении моей предполагаемой власти, и я назвал этих женщин. Ну, да, так оно и есть, моя власть идет от этих женщин.

— Просто от сожительства с ними?

— От сожительства.

— Ты что-то приумолк.

— Понимаешь, моя власть имеет пределы. И что-то приказывает мне замолчать. Будь здоров.

256. Лошадь споткнулась и рухнула на колени, всадника сбросило. Двое мужчин, слонявшихся независимо друг от друга где-то среди деревьев, вышли из тени и уставились на упавшего. Им обоим все это было как-то подозрительно: солнечный свет, лошадь, уже поднявшаяся на ноги, всадник, человек напротив, который неожиданно подошел, привлеченный происшествием. Они медленно приближались, брюзгливо выпячивали губы и каждый из них, запустив руку под расстегнутую спереди рубаху, нерешительно проводил ладонью по груди и шее.

257. Город как город, его прошлое величественнее его настоящего, но и настоящее все еще достаточно внушительно.

258. Бургомистр подписал несколько бумаг, затем откинулся на спинку кресла, взял для развлечения ножницы в руки, прислушался к долетавшим снаружи, со старой площади, полуденным звукам и сказал почтительно замершему, почти высокомерно почтительному секретарю, стоявшему возле письменного стола:

— Вы тоже заметили, что в городе готовится что-то необычное? Вы человек молодой, вы-то уж должны замечать такие вещи.

259. В ночь новолуния я возвращался из соседней деревни домой; недалекий путь лежал по прямой проселочной дороге, целиком открытой лунному свету, всякую мелочь на земле было видно лучше, чем днем. Я был уже недалеко от небольшой тополиной аллеи, которая заканчивалась у моста, ведущего в нашу деревню, как вдруг в нескольких шагах перед собой увидел — должно быть, я замечтался, иначе увидел бы раньше — маленькое сооружение из дерева и материи, какую-то маленькую, но еще и очень низкую палатку; в такой люди и сидеть не могли бы не сгибаясь. Она была совершенно закрытая, даже подойдя вплотную, обойдя ее кругом и ошупав, я не нашел никакого отверстия. На земле видишь всякое и благодаря этому приучаешься с легкостью судить даже о незнакомых вещах, но откуда здесь взялась эта палатка и что она означала, я не мог понять.

Какая-то босоногая, похожая на цыганку молодая женщина стелет перед алтарем из перин и одеял мягкую постель. На женщине красная с белым узором юбка и напоминающая рубашку белая небрежно расстегнутая спереди блузка, ее каштановые волосы дико спутаны. На алтаре стоит умывальный таз.{137}

260. На столе лежала большая коврига хлеба. Подошел отец с ножом, чтобы разрезать ее на две половины. Но хотя нож был крепкий и острый, а хлеб — не слишком мягкий и не слишком черствый, нож никак не хотел врезаться. Мы, дети, с удивлением подняли глаза на отца. Он сказал:

— Чему вы удивляетесь? Разве не более удивительно, когда что-то удастся, чем когда не удастся? Идите спать; может быть, я это все-таки еще сделаю.

Мы легли спать, но время от времени кто-нибудь из нас поднимался среди ночи в кровати и вытягивал шею, чтобы посмотреть на отца, а он, этот высокий человек в длинном сюртуке, оставив правую ногу, все еще пытался воткнуть нож в хлеб. Рано утром, когда мы проснулись, отец, только что отложивший в сторону нож, сказал:

— Видите, как это трудно, мне это все еще не удалось.

Нам хотелось отличиться и самим попробовать это сделать; он разрешил нам, но мы едва могли поднять нож, рукоятка которого, кстати, почти раскалилась от ладони отца; нож в наших руках буквально вставал на дыбы. Отец засмеялся и сказал:

— Оставьте, пусть лежит; я сейчас иду в город, а вечером снова попробую его разрезать. Я не позволю какому-то хлебу надо мной издеваться. В конце концов он должен дать себя разрезать, он имеет право только защищаться — ну, пусть защищается.

Но едва он это сказал, хлеб сжался, как сжимается рот человека, который решился на все, и теперь это был совсем маленький хлебец.

261. Я наточил косу и начал жатву. Передо мной падали густые, темные массы, я шагал между ними, я не знал, что это было. Из деревни кричали, предупреждая меня, но я принимал это за крики одобрения и шагал дальше. Я дошел до маленького деревянного мостика, дело было сделано, и я передал косу ожидавшему там мужчине, который протянул за ней одну руку, а другой, как ребенка, погладил меня по щеке. На середине моста у меня возникло сомнение в правильности моего пути, и я громко крикнул в темноту, но никто мне не ответил. Тогда я вернулся назад, на твердую землю, чтобы узнать дорогу у того мужчины, но его там уже не было.

262. — Это же все бесполезно, — сказал он, — ты даже меня не узнаешь, а ведь я стою перед тобой нос в нос. Как же ты собираешься двигаться дальше, когда я ведь стою перед тобой, а ты даже меня не узнаешь?

— Ты прав, — сказал я, — я и сам задаю себе этот вопрос, но поскольку никакого ответа не получаю, то так и остаюсь.

— И я точно так же, — сказал он.

— И я — не меньше, чем ты, — сказал я, — так что эти слова о том, что все бесполезно, относятся и к тебе.

263. В глуши заболоченных лесов я выставил охрану. Но все вокруг было пустынно, никто там не отзывался на оклики, охрана убежала, и я вынужден был выставлять новую. Я смотрел в свежее, крепко сбитое лицо мужчины.

— Превжний часовой сбежал, — сказал я, — не знаю, почему, но получается, что эта заброшенная земля сманивает человека с его поста. Так что учти это!

Он стоял передо мной, вытянувшись по стойке «смирно». Я еще прибавил:

— Но если ты все-таки позволишь себя сманить, то хуже будет только тебе. Ты утонешь в болоте, а я тут же выставлю здесь новую охрану, а если она окажется ненадежной, — еще новую и так далее без конца. И если я ничего этим не добьюсь, то все же ничего и не потеряю.

264. Мой отец вел меня к директору школы. Похоже, это было большое заведение: мы прошли несколько помещений, напоминавших залы; правда, все они пустовали. Ни одного служителя нигде не было, поэтому мы бесцеремонно шли дальше, тем более что все двери были открыты. И вдруг мы отпрянули: хотя в комнате, в которую мы вошли так же быстро, как и во все предыдущие, было очень мало мебели, все же она была обставлена как рабочий кабинет, и на диване лежал какой-то человек. Я узнал его по фотографиям — это был директор школы; не вставая, он предложил нам подойти поближе. Извинения отца, относившиеся к нашему невежливому вторжению в директорскую, он выслушал с закрытыми глазами и затем спросил, что нам угодно. Это и мне было интересно услышать, так что мы оба, директор и я, посмотрели на отца. Отец сказал, что ему очень важно, чтобы его сын, которому теперь восемнадцать...

265. Он выглянул в окно. Пасмурный день. Да, ноябрь. Ему кажется, что хотя у каждого месяца есть свое особое значение, но в ноябре появляется еще какая-то особая добавка особенности. Правда, пока ничего такого не видно, просто идет дождь вперемешку со снегом. Но, возможно, это лишь видимость, внешность, которая всегда обманывает, ибо люди в целом сразу же ко всему приспосабливаются, а судишь-то прежде всего по тому, как выглядят люди, поэтому, вообще говоря, никогда и не можешь осознать, что в мире что-то изменилось. Однако поскольку ты и сам тоже человек, знаешь свою способность приспосабливаться и судишь, исходя из нее, то все-таки что-то узнаешь и понимаешь, как относиться к тому, что движение внизу на улице не останавливается, но с ожесточенным, неустанным, непроницаемым высокомерием продолжается как в одну, так и в другую сторону.

266. Больной много часов пролежал в одиночестве, лихорадка немного отпустила; порой ему удавалось слегка вздремнуть, в остальное время он вынужден был, поскольку от слабости не мог пошевелиться, смотреть вверх на потолок и бороться со множеством наплывавших мыслей. Его мышление, кажется, вообще свелось исключительно к самообороне; о чем бы он ни начинал думать, это надоедало ему или мучило его, и он употреблял все силы на то, чтобы задушить свою мысль.

Уже наверняка был вечер (во всяком случае, давно стемнело, ведь стоял ноябрь), когда дверь в соседнюю комнату отворилась и, шаркая, вошла квартирная хозяйка, чтобы зажечь свет; за ней следовал врач. Больной удивился тому, как, собственно говоря, легко он болен — или какая легкая у него форма болезни, — так как он совершенно ясно узнавал вошедших, ни одной из знакомых ему черт в них не потерялось, и даже те из них, которые обычно вызывали у него досаду или отвращение, не казались в чем-то усугубившимися; все было, как всегда.

267. ...страхнуть с себя, в обычное время переносил спокойно, однако, выпив, восставал против этого. И хотя, естественно, те деликатные подробности, которые мне стали известны при подобных обстоятельствах, я ни в коем случае не собирался предавать гласности через газету, тем не менее в голове у меня уже обрисовались контуры статьи, в которой я хотел показать, что везде, где человеческое величие может открыто проявить себя, то есть прежде всего в спорте, немедленно собирается всякий сброд и бесцеремонно, даже не думая отдавать настоящую дань уважения героям и преследуя одни лишь собственные интересы, ищет наживы, в лучшем случае оправдывая свое поведение тем, что это идет на пользу общему делу.

268. ...Теперь перед К. лежала равнина, и вдали, на маленьком холме, виднелся почти растворявшийся в синеве горизонта дом, к которому К. стремился. Но много раз в течение дня цель пропадала из поля его зрения, и уже спустился вечер, когда темнеющая полевая дорога неожиданно вывела его к подножию этого холма. «Вот, стало быть, и мой дом, — сказал он себе, — маленький, старый, жалкий, но это — мой дом, и через несколько месяцев он должен выглядеть иначе». И по луговой тропинке он поднялся на холм. Дверь стояла открытая, да и вообще не могла быть закрыта, так как одна из створок отсутствовала. Кошка, сидевшая на пороге, громко заорала и исчезла; обычно кошки так не орут. Двери двух помещений, направо и налево от лестницы, были открыты; немного старой, полуразломанной мебели, больше — ничего. Однако сверху, с исчезавшей в темноте лестницы, чей-то дрожащий, почти хриплый голос спросил, кто пришел. К. сделал большой шаг через первые три ступени, которые были переломлены посередине, — места разломов, как ни странно, выглядели свежими, словно это случилось сегодня или вчера — и поднялся наверх. И наверху дверь в комнату тоже была открыта...

269. Я убежал от нее. Я бежал вниз по склону. Высокая трава мешала мне бежать. А она стояла наверху под деревом и смотрела мне вслед.

270. Здесь невыносимо. Вчера я разговаривал с Иерихоном. Он сидел, вжавшись в угол, и читал газету. Я спросил:

— Иерихон, вы будете за меня голосовать?

Он только покачал головой, продолжая читать. Я сказал:

— Мне нужен ваш голос не как один из многих, мне нужен именно ваш. Я ведь в любом случае не наберу достаточно голосов, провал мне обеспечен. Но...

271. Однажды и я был в центре выборной кампании. С тех пор, правда, минуло уже много лет. Один кандидат нанял меня на период выборов для написания текстов. Я, естественно, теперь уже очень смутно все это припоминаю.

272. Что ты строишь? — Я хочу прорыть ход. Это должно способствовать продвижению. Моя позиция слишком высоко вверх.

273. Мы копаем Вавилонскую шахту.

274. От него остались лишь три штриха зигзагом. Как он был погружен в свою работу! И как он на самом деле не был погружен.

275. Соломинка? Да кое-кто хватается за карандашный штрих и держится, не тонет. Держится? Мечтает, как утопленник, о спасении.

276. Смерти пришлось вытаскивать его из жизни, как вытаскивают инвалида из коляски. Он сидел в своей жизни так же крепко и грузно, как инвалид в коляске.

277. Те, которые были готовы к смерти, лежали на земле, опирались на мебель, стучали зубами, ощупывали, не поднимаясь с мест, стену.

278. Как-то январским вечером, в час, когда на большие званые обеды съезжаются гости, один молодой студент решил разыскать своего друга, сына крупного государственного чиновника. Он хотел показать другу книгу, которую сейчас читал и о которой уже много ему рассказывал. Это было трудночитаемое изложение основ истории экономики, следить за которым удавалось лишь с большим трудом, и в этом смысле показательны были слова одной из рецензий о том, что автор оберегает свою тему, прижав ее к себе, как отец ребенка, с которым скачет сквозь ночь. Но несмотря на все трудности, книга очень привлекала студента; пробившись через какое-нибудь особенно складное место, он ощущал огромное продвижение: не только непосредственно представленное воззрение, но и все вокруг словно бы озарялось, казалось лучше доказанным и более устойчивым. По дороге к другу студент не раз останавливался под фонарем и в сумеречном от морозного тумана свете прочитывал несколько фраз. Огромные, превышающие его способность понимания заботы угнетали его: нужно было уловить настоящее, но эта задача, стоявшая перед ним, была неопределенна, бесконечна и сравнима только с его силами, которые, по его ощущению, были такими же, но еще не пробудились.

279. Писание мое не продвигается. А значит, и проект автобиографических исследований. Не биография, а именно исследования и разыскание как можно более мелких подробностей. И на этом я хочу потом все строить, — как тот, чей дом ненадежен, хочет построить рядом другой, надежный, по возможности — из материала старого. Но плохо, если силы иссякнут в середине строительства, и вместо ненадежного, но законченного дома у него будет один, наполовину разрушенный, и другой, наполовину недостроенный, иными словами, не будет ничего. Следствием этого станет сумасшествие, то есть что-то вроде казачка между двумя домами, при котором казак до тех пор взрывает и взбрасывает землю каблуками, пока под ним не образуется его могила.

280. Легкомыслие детей непостижимо. Из окна моей комнаты я смотрю вниз в маленький общественный сад. Этот маленький городской сад ненамного больше пыльной открытой площади, отделенной от улицы поблекшим кустарником. Там всегда играют дети, и сегодня вечером — тоже.

281. — Как я сюда попал? — крикнул я.

Это был средних размеров зал, залитый мягким электрическим светом, и я обходил его вдоль стены. Хотя в ней и были двери, но, открывая их, ты оказывался перед темной гладкой стеной скалы, отстоящей от порога двери не более чем на ладонь и уходящей вертикально вверх и в обе стороны в непроглядную даль. Здесь выхода не было. Только одна дверь вела в соседнее помещение, за ней открывалась картина более обнадеживающая, но не менее поразительная, чем за другими дверями. Там были какие-то княжеские покои, там везде царили золото и пурпур, там было множество зеркал до потолка и висела огромная хрустальная люстра. Но это было еще не все.

282. Я не должен возвращаться, камера взорвана, я шевелюсь, я ощущаю свое тело.

283. Я приказал вывести из конюшни мою лошадь... [см. прим.]{138}

284. Я подошел, задыхаясь. На палке, немного косо воткнутой в землю, была табличка с надписью: «Погружение». «Похоже, я у цели», — сказала себе и огляделся вокруг. Всего в нескольких шагах от меня стояла невзрачная, целиком заросшая зеленью садовая беседка, из которой доносилось легкое позвякивание тарелок. Я направился туда, просунул голову в низкое отверстие входа, почти ничего не разглядел в темноте внутри, но все же поздоровался и спросил:

— Не знаете ли, кто обслуживает погружение?

— Я лично, к вашим услугам, — ответил чей-то приветливый голос, — сию минуту иду.

Теперь я понемногу разглядел собравшееся за столом небольшое общество; там были молодая супружеская чета, трое маленьких детей, лобики которых едва возвышались над столом, и один грудной ребенок — еще на руках у матери. Муж, сидевший в глубине беседки, хотел сразу же встать, чтобы пробираться к выходу, но жена горячо попросила его сначала доесть; он указал ей на меня, она стала возражать, что я любезно соглашусь немного подождать и оказать им честь, разделив с ними их скромный обед, так что, я наконец, крайне досадуя на самого себя, столь отвратительно разрушившего воскресную радость этих людей, вынужден был сказать:

— К моему великому сожалению, уважаемая, я не могу принять ваше приглашение, поскольку должен немедленно — да, в самом деле немедленно — погрузиться.

— Ах, — сказала женщина, — именно в воскресенье, да еще и в обед. Ах, эти людские капризы. Это вечное рабство.

— Не корите меня уж так-то, — сказал я, — я ведь вашего мужа вызываю для этого не из прихоти, и если бы я знал, как это делается, я бы давно уже все сделал сам.

— Да не слушайте вы жену, — сказал мужчина, который был уже рядом со мной и тащил меня прочь. — Нельзя же требовать понимания от женщины.

285. Это был узкий, низкий, выкрашенный белым коридор со сводчатым потолком, я стоял перед его входом, он под углом уходил в глубину. Я не знал, входить ли мне, и в нерешительности ковырял носком ботинка чахлую траву у входа. Мимо, видимо случайно, проходил какой-то господин; он был несколько сгорбленный, однако бодрый, так как захотел со мной говорить.

— Куда ты, малыш? — спросил он.

— Пока никуда, — сказал я, взглянув в его веселое, но надменное лицо, оно было бы надменным даже и без монокля, который он носил, — пока никуда. Я только думаю.

286. «Странно, — сказал пес и провёл лапой по лбу. — Где же я бегал? Сперва на рыночной площади, потом — по оврагу вверх на холм, потом много раз вдоль и поперек по большой возвышенности, потом — вниз по склону, потом кусок по проселку, потом влево к ручью, потом вдоль ряда тополей, потом мимо церкви, и вот я здесь. Но зачем же? И при этом был в отчаянии. Счастье, что я уже вернулся. Я боюсь этой бесцельной беготни, этих огромных пустых пространств; какой я там жалкий, беспомощный, маленький и совершенно брошенный пес! Да меня совсем и не тянет убежать отсюда, мое место — здесь, во дворе, здесь моя конура, здесь моя цепь на случай иногда накатывающей на меня кусачей злобы, здесь — всё и обильная кормежка. Ну, так в чем же дело? По собственной воле я никогда бы отсюда и не убежал, мне здесь хорошо, я горжусь моим положением, приятно, но оправданное чувство превосходства раздражает меня, когда я смотрю на прочую живность. Но разве ещё хоть одно из этих животных убегает отсюда так бессмысленно, как я? Ни одно; ну, кошку, эту мягкую когтистую тварь, которая никому не нужна и которой никто не нужен, я в расчет не беру, у нее свои тайные дела, которые меня не интересуют, и она шляется тут и там, занимаясь ими, но и то — только поблизости от дома. Так что я — единственный, кто время от времени дезертирует, и когда-нибудь я совершенно точно лишусь из-за этого моего господствующего положения. Сегодня, к счастью, этого, кажется, никто не заметил, но недавно Рихард, сын хозяина, уже сделал по этому поводу одно замечание. Это было в воскресенье, Рихард сидел на скамейке и курил, а я лежал у его ног, прижавшись щекой к земле. „Цезарь, — сказал он, — паршивый ты, вероломный пес, где ты был сегодня утром? В пять утра, то есть в то время, когда ты ещё должен сторожить, я тебя искал и нигде во дворе не нашел, ты вернулся только в четверть седьмого. Это беспрецедентное нарушение долга, ты это понимаешь?“ Значит, это опять открылось. Я встал, сел рядом с ним, обнял его одной рукой и сказал: „Дорогой Рихард, прости меня ещё один этот раз и не рассказывай об этом никому. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы больше это не повторилось“. И я так сильно разрыдался — из-за всего, из-за чего только возможно: от отчаяния из-за самого себя, от страха перед наказанием, от того, что у Рихарда было такое трогательно мирное выражение лица, от радости, что никакого орудия наказания в тот момент у него не было, — я рыдал так сильно, что замочил своими слезами пиджак Рихарда; он стряхнул меня и приказал заткнуться. То есть я обещал тогда исправиться, а сегодня повторилось то же самое, я отсутствовал даже дольше, чем тогда. Правда, я обещал сделать только то, что в моих силах. И не моя вина...».

287. Борьба со стеной камеры.

Вничью.

288. Это красивый и эффектный номер — скачка, которую мы называем «скачкой снов». Мы показываем его много лет; тот, кто его придумал, давно уже умер от чахотки, но вот это его наследство осталось, и у нас пока нет никаких причин исключать эту скачку из программ, тем более, что конкуренты повторить ее не могут: она — хоть это на первый взгляд и непонятно — неповторима. Мы обычно ставим ее на конец первого отделения: для финала вечера она бы не подошла, в ней нет ничего ослепительного, ничего дорогостоящего — ничего того, о чем можно вспомнить по дороге домой, а в финале должно идти что-то такое, что останется незабываемым впечатлением даже в самой тупой голове, что-то такое, что спасет от забвения весь этот вечер; ничего такого эта скачка из себя не представляет, но она годится для того...{139}

289. Друг, которого я не видел уже много лет (больше двадцати) и от которого подолгу, часто годами, не получал вестей, приходивших крайне нерегулярно, вынужден был теперь возвратиться в наш город — в свой родной город. Поскольку родных у него здесь уже не было, а среди друзей я был ближайшим — и намного ближе всех прочих, я должен был предложить ему комнату у меня и рад был узнать, что мое приглашение принято. Я был очень озабочен тем, как дополнить обстановку этой комнаты во вкусе моего друга, я пытался вспомнить его привычки и те особые пожелания, которые он иногда — в частности, когда мы вместе путешествовали во время каникул — высказывал, пытался вспомнить, что в ближайшем окружении ему нравилось и что вызывало отвращение, пытался в деталях восстановить в памяти, как выглядела его комната в юности, и из всего этого не извлек ничего такого, что я мог бы устроить в моей квартире, чтобы он чувствовал себя в ней немного уютнее. Он вырос в бедной многодетной семье, и отличительными особенностями их квартиры были нужда, шум и ссоры. В моих воспоминаниях я все еще ясно вижу комнату рядом с кухней, в которой мы иногда — довольно редко — могли посидеть одни, в то время как рядом, на кухне, остальные члены семейства занимались выяснением отношений, которое здесь не прекращалось никогда. В этой маленькой темной комнатке стоял неистребимый кофейный дух, поскольку дверь в еще более темную кухню не закрывалась ни днем, ни ночью. Мы сидели там у окна, выходящего на крытый балкон, тянувшийся вдоль всего дома, и играли в шахматы. Двух фигур в нашем комплекте не хватало, и нам приходилось заменять их брючными пуговицами; из-за этого, правда, иногда — когда мы путали значения пуговиц — возникали осложнения, но мы к этим заменителям привыкли и других не хотели. Дальше по коридору жил один торговец церковной парчой, веселый, но беспокойный человек с длинными торчащими усами, которые он обхватывал пальцами, как флейту. Возвращаясь вечером домой, этот человек должен был пройти мимо нашего окна; обычно он останавливался, наклонялся к нам в комнату, облакачивался на подоконник и смотрел на доску. Почти всегда он оставался недоволен нашей игрой, как моей, так и друга, давал ему и мне советы, потом сам хватал фигуры и делал ходы, с которыми нам приходилось соглашаться, так как если кто-то из нас хотел их поменять, то немедленно получал по рукам; мы долго терпели это, потому что он играл лучше нас — ненамного лучше, но все-таки лучше, — так что мы могли у него учиться, но однажды, когда уже было темно и он, наклонившись к нам, совсем забрал у нас доску и поставил к себе на подоконник, чтобы как следует рассмотреть позицию, я — а у меня как раз было значительное преимущество, и я опасался, что это грубое вмешательство может ему угрожать — в гневно-порыве ничего не учитывая ребенка, которому причиняют явную несправедливость, встал и сказал, что он мешает нам играть. Он коротко посмотрел на нас, взял доску, с иронической готовностью превосходства вернул ее на прежнее место, ушел и с тех пор с нами больше не знаясь. Только когда проходил мимо окна, всегда делал, не глядя на нас, отбрасывающее движение рукой. Вначале мы всему этому радовались, как какой-то большой победе, но потом нам все-таки стало не доставать его поучений, его веселости, вообще — его участия; не понимая тогда ясно причины, мы бросили игру и обратились вскоре к совсем другим занятиям. Мы начали собирать марки, и то, что у нас был общий альбом марок, означало, как я понял лишь впоследствии, почти непостижимо тесную дружбу. Одну ночь этот альбом проводил у меня, следующую всегда — у него. Затруднения, возникавшие уже из-за самого этого совместного обладания, усугублялись еще тем, что мой друг вообще не мог приходить ко мне домой: мои родители не разрешали. Этот запрет был направлен, собственно, не против него — мои родители его почти не знали, — а против его родителей, против его семьи. И в этом смысле запрет был, по всей

видимости, небезоснователен, но в такой форме все-таки очень понятен, так как в результате он ведь не достигал ничего, кроме того, что я ежедневно ходил к моему другу и тем самым только погружался в атмосферу этой семьи, причем глубже, чем если бы другу было разрешено приходить ко мне. Причина заключалась в том, что поведение моих родителей часто бывало не рациональным, а лишь тираническим, и не только по отношению ко мне, но и по отношению к миру. В данном случае им было достаточно того, — и это исходило больше от матери, чем от отца, — что этот запрет являлся наказанием и унижением для семьи моего друга. Что меня из-за этого охватывало сострадание и что родители друга в силу естественной реакции обращались со мной насмешливо и презрительно, мои родители, правда, не знали, но в этом отношении они обо мне вообще не заботились и если бы даже всё узнали, это их не очень бы взволновало. Так я оцениваю все это, естественно, только сегодня, оглядываясь назад, а тогда мы были двое друзей, вполне довольных положением дел, и мучительные переживания несовершенства окружающего мира нас еще не коснулись. Ежедневно таскать альбом туда и сюда было хлопотно, однако...

290. Из пивной доносилось пение; окно было открыто, раму не закрепили, и она болталась из стороны в сторону. Это была маленькая одноэтажная хибарка; вокруг было пустынно: она стояла уже далеко за городом. Подошел поздний гость, он был одет в обтяжку и продвигался крадучись, на цыпочках, наощупь, словно в темноте, хотя светила луна; послушав у окна, он покачал головой, не понимая, как такое красивое пение может исходить из такой пивной, и решительно опустился снаружи на низкий подоконник, что было довольно неосторожно, так как удержаться на нем он не смог и тут же завалился внутрь; падать, правда, пришлось недалеко, поскольку у окна стоял стол. Стаканы с вином полетели на пол; двое мужчин, сидевшие за столом, поднялись и без долгих размышлений выкинули нового посетителя обратно в окно, благо ноги его все еще оставались снаружи; он упал в мягкую траву, тут же вскочил и прислушался, пение, однако прекратилось.

291. Местечко называлось Тамиль. Там было очень сыро.

292. В тамильской синагоге живет зверь, размерами и видом напоминающий хорька.

293. Синагога в Тамиле — это простая, никак не украшенная невысокая постройка конца прошлого века. Синагога эта очень мала, тем не менее места в ней вполне хватает, потому что и община тоже мала, к тому же из года в год сокращается. Уже теперь общине трудно покрывать издержки на содержание синагоги, и некоторые члены общины открыто заявляют, что маленькой молельной комнаты для божеской службы более чем достаточно. {140}

294. В нашей синагоге живет зверек размером примерно с хорька. Зачастую его можно очень хорошо рассмотреть, он подпускает к себе человека на расстояние примерно двух метров. Окрас у него светлый, сине-зеленый. Шерсти его еще никто не касался, поэтому о ней ничего сказать нельзя, есть даже некоторые основания утверждать, что и настоящий цвет шерсти почти что неизвестен: видимый цвет, может быть, происходит только от пыли и известки, набившихся в шерсть (этот цвет и в самом деле близок к цвету шпукатурки внутри синагоги, только чуть посветлее). За вычетом его боязливости, это необыкновенно спокойный, усидчивый зверь, и если бы он не так часто пугался, он бы, наверное, почти и не двигался; его любимое место — решетка женской выгородки, он с видимым удовольствием цепляется когтями за ее прутья, вытягивается и смотрит вниз в молельное помещение; эта смелая поза, кажется, радует его, но синагогальному служаке приказано не подпускать зверя к решетке, чтобы он не привыкал там находиться: этого нельзя было допустить из-за женщин, которые боялись зверя. Почему они его боялись — неясно. Он, правда, на первый взгляд выглядит ужасающе, в особенности длинная шея, треугольная морда, почти горизонтально торчащие вперед верхние зубы и длинные, накрывающие эти зубы, явно очень жесткие светлые щетинки усов над верхней губой — все это может вызвать ужас, но вскоре всякий должен был понять, что весь этот ужас — видимость, опасности не представляющая. А главное, зверь явно избегает людей, он пуглив, как обитатель лесов, он, кажется, ни к чему, кроме здания, не привязан, и его индивидуальное несчастье заключается в том, что это здание — синагога, то есть временами очень людное место. Правда, если бы с этим зверем можно было объясниться, так его можно было бы утешить тем, что община нашего горного местечка из года в год сокращается и ей уже трудно покрывать издержки на содержание синагоги. Не исключено, что через какое-то время в синагоге устроят зернохранилище или что-нибудь в этом роде, и зверь обретет покой, которого сейчас ему так мучительно недостает.

Боятся зверя, разумеется, только женщины, мужчины давно уже к нему привыкли, одно поколение показывало его другому, его видели снова и снова, в конце концов на него перестали обращать внимание, и теперь даже дети, увидев его впервые, уже не удивляются. Он сделался домашним животным синагоги — а почему бы такому особому, нигде больше не встречающемуся домашнему животному и не жить в синагоге? Вообще, если бы не женщины, то о существовании этого зверя почти что уже и не знали бы. Но даже у женщин настоящего страха перед ним нет, да и слишком было бы странно годами и десятилетиями изо дня в день бояться такого зверя. Они, впрочем, оправдываются тем, что к ним этот зверь, как правило, значительно ближе, чем к мужчинам, и это действительно так. Спускаться вниз к мужчинам он не решается, его никогда еще не видели на полу. Если его не пускают к решетке женской выгородки, то он, хоть и на противоположной стене, но держится на той же высоте. Там есть такой совсем узкий выступ стены, каких-нибудь два пальца шириной, который идет по трем стенам синагоги; вот по этому выступу зверь иногда и бегаёт туда и сюда, однако чаще всего спокойно сидит в каком-то определенном месте напротив женщин. Почти невозможно понять, как ему удается так легко пользоваться такой узенькой дорожкой, и это надо видеть, как он там, наверху, дойдя до края, разворачивается, чтобы бежать назад; ведь это уже очень старый зверь, но он не колеблясь делает самое отчаянное сальто и никогда не промахивается; он переворачивается в воздухе — и вот уже вновь бежит по своей дорожке обратно. Правда, когда уже несколько раз это видел, это тоже приедается, так что нет никаких причин все время туда смотреть. Да и женщин подталкивает к этому не страх и не любопытство; если бы они больше занимались молитвой, они могли бы об этом звере совершенно спокойно забыть, — благочестивые женщины так бы и делали, если бы им это позволяли другие, но этих других подавляющее большинство, а они-то всегда рады обратить на себя внимание, и зверь дает им для этого желанный повод. Если бы они могли — и если бы посмели, — они привлекли бы этого зверя еще ближе к себе, чтобы иметь право еще больше ужасаться. А на самом деле зверь несколько к ним не стремится; когда на него не нападают, они ему так же мало интересны, как и мужчины; по-видимому, он больше всего хотел бы оставаться незамеченным — как в то время, когда нет службы, — живя, надо полагать, в какой-нибудь норе, которой мы еще не нашли. И появляется он, напуганный шумом, только когда начинают молиться. Чего он хочет? посмотреть, что случилось? или сохранить бдительность? или быть на свободе, чтобы можно было убежать? Он прибегает сюда от страха, от страха совершает свои прыжки и не решается убежать обратно, пока не кончится служба. Высоту он предпочитает, естественно, потому, что там ему безопаснее всего, а наилучшие возможности для бегства у него на решетке и на выступе стены, но он

самое не всегда находится там, иногда он спускается и ниже, к мужчинам; завеса ковчегга поддерживает блестящим медным шестом, который, кажется его притягивает: он довольно часто пробирается в святая святых, но там всегда ведет себя спокойно, и даже когда он там совсем рядом с ковчегом, нельзя сказать, чтобы он как-то мешал; кажется, что своими блестящими, всегда раскрытыми (у него, видимо, нет век) глазами он внимательно разглядывает общину, но, конечно, никого он не видит, а только высматривает опасности, которые, как он чувствует, ему угрожают.

В этом отношении он, по крайней мере до недавних пор, выглядел ненамного разумнее, чем наши женщины. Потому что — каких таких опасностей ему надо было бояться? Кто собирался ему что-то сделать? Или не живет он уже много лет целиком предоставленный самому себе? Мужчины не обращают внимания на его присутствие, а большинство женщин, скорей всего, были бы несчастны, если бы он исчез. И поскольку он единственный зверь в этом доме, то, соответственно, у него вообще нет врагов. В конце концов, но прошествии стольких лет он уже мог бы это понять. Да, конечно, служба с ее шумом может очень пугать зверя, но она же в небольших масштабах повторяется изо дня в день — и всегда регулярно, без перерывов, усиливается в праздничные дни, к этому даже самый пугливый зверь уже мог бы привыкнуть, особенно когда он слышит, что это не какой-то там шум погони, а такой шум, которого он вообще не понимает. Но нет, он все-таки боится. Что это? — воспоминание о давно минувших временах или предчувствие грядущих? Или, может быть, этот старый зверь знает больше, чем те три поколения, которые временами собираются в нашей синагоге?

Так вот, рассказывают, что много лет тому назад этого зверя вроде бы действительно пытались прогнать. Скорей всего, эти истории — только выдумка, хотя и очень возможно, что это-таки правда. Собственно, есть доказательства, что вопрос о том, позволительно ли терпеть подобного зверя в божьем доме, был тогда изучен с точки зрения религиозного закона. Были получены заключения разных знаменитых раввинов; мнения разделились, но большинство было за изгнание зверя и новое освящение божьего дома. Однако легко давать указания издали, в действительности же поймать зверя было просто невозможно, а поэтому его невозможно было и прогнать. Потому что только если его поймаешь и отправишь куда-нибудь подальше, только тогда и можешь быть в относительной уверенности, что отделался от него.

Так вот, рассказывают, что много лет тому назад этого зверя вроде бы действительно попытались-таки прогнать. Синагогальный служка якобы помнит, что его дед, который тоже был синагогальным служкой, любил без конца об этом рассказывать. Будучи маленьким мальчиком, его дед не раз слышал о невозможности отделаться от этого зверя, и вот им — а он прекрасно умел лазать на стены — овладело не дававшее ему покоя тщеславное желание; в одно ясное утро, когда вся синагога со всеми ее углами и закоулками была ярко освещена солнечными лучами, он проскользнул туда, вооруженный веревкой, прашей и кривым посохом.{141}

295. Я попал в непроходимые заросли колючего кустарника и громко позвал сторожа парка. Он пришел сразу, но не мог ко мне пробиться.

— А как вы туда, в самые эти колючки, забрались? — крикнул он. — Не можете ли вы и назад тем же путем?

— Исключено, — крикнул я, — мне той дороги уже не найти. Я спокойно гулял, задумался и вдруг обнаружил, что я тут, словно бы эти кусты выросли уже после того, как я сюда пришел. Не выбраться мне отсюда, пропал я.

— Вы прямо как ребенок, — сказал сторож, — сперва залезаете, куда не положено, в самые дебри, а потом хнычете. Вы же не в первобытном лесу, а в публичном парке, вас оттуда вытащат.

— Таких зарослей в парках не бывает, — сказал я, — и как меня отсюда вытащат, сюда же никому не пробраться. Но если будут пытаться, то это надо делать сейчас же, ведь сейчас уже вечер, а ночь я здесь не выдержу, я и так уже весь разодрался на этих колючках, и пенсне у меня упало, и я не могу его найти, а я же без него полуслепой.

— Все это очень мило, — сказал сторож, — но еще немного вам придется потерпеть, я ведь должен сначала найти рабочих, который расчистят дорогу, а до этого еще получить разрешение директора парка. Так что уж будьте любезны набраться немного терпения и мужества.

296. К нам пришел господин, которого я уже не раз видел, но особого значения его визитам не придавал. Он прошел с родителями в спальню; они были совершенно поглощены тем, что он говорил, и в рассеянности закрыли за собой дверь; когда я хотел войти вслед за ними, а Фрида, кухарка, меня задержала, я, естественно, начал отбиваться и плакать, но Фрида была самая сильная из всех кухарок, каких я только могу вспомнить, она сжимала мои руки так, что их было не вырвать и при этом прижимала меня к себе, чтобы я никак не мог ее лягнуть. Я был беспомощен и мог только ругаться.

— Ты как жандарм какой-то, — кричал я, — как тебе не стыдно, ты — девушка, а прямо как жандарм.

Но она была девушка спокойная, почти меланхоличная, и я ничем не мог ее пронять. Она отпустила меня только тогда, когда мать вышла из спальни взять что-то на кухне. Я вцепился в материну юбку.

— Что хочет этот господин? — спросил я.

— Ах, — сказала она и поцеловала меня, — ничего особенного, просто он хочет, чтобы мы уехали.

Тогда я очень обрадовался, потому что в деревне, куда мы всегда ездили на каникулы, было намного лучше, чем в городе. Но мать объяснила мне, что я не смогу поехать вместе с ними, я же должен ходить в школу, сейчас ведь нет каникул, и наступает зима, да и они поедут не в деревню, а в другой город, намного дальше; однако, увидев, как я испугался, мать поправилась и сказала, что нет, тот город не дальше, а намного ближе, чем деревня. Я не мог по-настоящему в это поверить, и тогда она подвела меня к окну и сказала, что тот город так близко, что его почти можно увидеть из окна, но это было не так, по крайней мере — не в такой пасмурный день, потому что там не было видно ничего, кроме того, что всегда, — узкую улицу внизу и церковь напротив. Потом, оставив меня, она побежала на кухню, вернулась со стаканом воды, отстранила Фриду, которая снова хотела на меня накинуться, и подтолкнула меня перед собой в спальню. Устало откинувшийся в кресле отец уже протягивал руку к воде. Увидев меня, он улыбнулся и спросил, что я скажу, если они уедут. Я

сказал, что очень хотел бы поехать с ними. Но он сказал, что я еще слишком мал, а это очень утомительное путешествие. Я спросил, почему же тогда должны ехать они. Отец указал на того господина. У господина на куртке были золотые пуговицы, и он как раз начищал одну из них носовым платком. Я попросил его, чтобы он оставил моих родителей дома, потому что если они уедут, мне придется остаться одному с Фридой, а это невозможно.{142}

297. Катящиеся колеса золотой кареты останавливаются, хрустя гравием; какая-то девушка хочет выйти, носок ее туфельки уже касается подножки, но тут она видит меня и вновь скрывается в карете.

298. Была когда-то такая головоломка — дешевая, незамысловатая игрушка размером ненамного больше карманных часов; ничего поразительного в ее устройстве не было. На красно-коричневой деревянной поверхности были вырезаны голубые запутанные дорожки, приводившие к маленькой ямке. И такой же голубой шарик под воздействием наклонов и встряхиваний сначала вбрасывался на одну из этих дорожек, а затем скатывался в ямку. Как только шарик оказывался в ямке, игра оканчивалась, и если хотели начать ее снова, шарик надо было вытряхнуть из ямки обратно. Все это было накрыто толстым стеклянным куполом, так что головоломку можно было сунуть в карман и носить с собой, и где бы потом ни оказался, можно было достать ее и играть.

Когда шарик был без дела, он обычно гулял, заложив руки за спину, туда и сюда по возвышенности, а дорожек избегал. Он полагал, что во время игры достаточно еще намучается с этими дорожками и что вне игры у него есть все основания претендовать на право отдыха на свободной поверхности. Иногда он по привычке смотрел вверх, на стеклянный купол, не имея, однако, намерения что-то там наверху узнавать. У него был один широкий желоб, и он утверждал, что не создан для узких дорожек. Что было отчасти справедливо, так как эти дорожки действительно едва могли его вместить, но и несправедливо, так как на самом деле он был очень тщательно подогнан под ширину этих дорожек, однако удобными для него эти дорожки не должны были быть, в противном случае не было бы головоломки.

299. Мне было разрешено войти в чужой сад. При входе пришлось преодолеть некоторые затруднения, но в конце концов какой-то мужчина, встав из-за столика, воткнул мне в петлицу темно-зеленую метку, проколотую булавкой.

— Это, наверное, орден, — сказал я в шутку, однако мужчина только слегка похлопал меня по плечу, словно желая успокоить, но почему надо было меня успокаивать?..

Обменявшись взглядами, мы пришли к молчаливому соглашению, что теперь я могу войти. Однако, пройдя несколько шагов, я вспомнил, что еще не заплатил. Я хотел вернуться, но как раз в этот момент увидел, что у столика стоит высокая дама в походном плаще из желтовато-серой грубой материи и отсчитывает на столе крохотные монетки.

— Это за вас, — крикнул мне через плечо низко склонившейся дамы тот мужчина, по-видимому, заметив мое беспокойство.

— За меня? — недоверчиво переспросил я и оглянулся назад, проверяя, не относится ли это к кому-то другому.

— Эта вечная мелочность, — сказал какой-то господин, который подошел по лужайке, медленно перешел мне дорогу и пошел по лужайке дальше. — За вас. За кого же еще? Здесь один платит за другого.

Я поблагодарил за это, впрочем, с неудовольствием данное разъяснение, однако заметил господину, что я еще ни за кого не заплатил.

— А за кого вы должны были заплатить? — спросил господин, уходя.

В любом случае, я намерен был подождать эту даму и попытаться с ней объяснить, но она пошла, шурша своим плащом, в другую сторону; позади ее мощной фигуры нежно колыхалась голубоватая вуаль шляпки.

— Любуетесь Изабеллой? — спросил рядом со мной какой-то гуляющий, тоже смотревший вслед даме. После некоторой паузы он прибавил: — Это Изабелла.

300. Это Изабелла, старая серая в яблоках лошадь, я не узнал бы ее в толпе, она стала дамой, мы встретились недавно в одном саду во время благотворительного праздника. Там есть маленькая, стоящая на отшибе группа деревьев, окружающих затененную прохладную лужайку; эту лужайку пересекает множество узких тропинок, иногда там бывает очень приятно. Мне этот сад знаком с давних пор, и, устав от праздника, я свернул к той группе деревьев. Едва оказавшись под деревьями, я увидел огромную даму,двигающуюся с противоположной стороны мне навстречу; ее рост меня почти ошеломил, в ближайшей округе не было никого, с кем я мог бы ее сравнить, но я был убежден, что и вообще не знаю такой женщины, которая не была бы ниже этой на несколько — в первом изумлении я подумал даже: «на несчетное количество» — голов. Однако вскоре, подойдя ближе, я успокоился. Изабелла, старая знакомая!

— Как же ты убежала из своей конюшни?

— Ах, это было нетрудно, меня ведь, собственно, только из жалости еще держат, мое время прошло; я объяснила своему хозяину, что вместо того чтобы бесполезно стоять в конюшне, я хочу еще немного и мир посмотреть, насколько силы позволят, — объяснила хозяину, он меня понял, отыскал кое-какую одежду отошедших в мир иной, даже помог мне ее надеть и отпустил, пожелав доброго пути.

— Как ты хороша! — сказал я не совсем искренне, но и не совсем лицемерно.

301. Зверь синагоги — Блаженный и Седобородый.

— Это уже всерьез? Строительный рабочий.

302. Свадьбе Елизаветы Блаженной и Франца Седобородого предшествовала очень тщательная подготовка.

303. Извините мою давешнюю неожиданную рассеянность. Вы сообщите мне о вашей помолвке — радостнейшее известие, какое

303. Герой может быть, — а я вдруг становлюсь безучастным к произвожу впечатление человека, занятого совершенно другими вещами. Но это, конечно, лишь видимость безучастности; мне, видите ли, припомнилась одна история — старая история, которая однажды разыгралась в непосредственной близости от меня и которую я, находясь, правда, в полной безопасности, тоже пережил, — я был в полной безопасности и, однако, заинтересован больше, чем в вещах, непосредственно меня задевавших. Такое уж это было дело, что невозможно было оставаться безучастным, даже если эта история задевала тебя хотя бы только самым дальним своим краешком.

304. Сторож тюрьмы хотел отпереть железные ворота, но замок проржавел, у старика не хватило сил, и ему пришлось вызвать помощника, на лице которого, однако, читалось сомнение, причем не по поводу заржавленного замка.

Героев выпустили из тюрьмы, они неуклюже построились в одну шеренгу; пребывание в заключении сильно отразилось на их подвижности. Мой друг, надзиратель тюрьмы, вынул из папки список (других бумаг в его папке не было; я отметил это без всякой злости: здесь ведь не канцелярия) и начал переключку героев с одновременным вычеркиванием их имен из списка. Я сидел в стороне за своим письменным столом, оглядывая вместе с надзирателем шеренгу героев.

305. Дон Кихот вынужден был эмигрировать: вся Испания смеялась над ним, дальнейшее его пребывание там стало невозможным. Он пересек Южную Францию, встретив по дороге разных милых людей, с которыми подружился, в разгар зимы с величайшими муками и лишениями преодолел Альпы, проехал затем по североитальянской низменности, где, однако, чувствовал себя уютно, и прибыл наконец в Милан.

306. Введение в М-ских поместьях должности так называемого бичевателя дало очень хорошие результаты. Однако успешно применять это нововведение можно, разумеется, лишь тогда, когда в вашем распоряжении есть человек, который так же идеально подходит для этой службы, как бичеватель в М. Нашел его сам князь; незадолго до начала собственно сбора урожая князь приходил, опираясь на клюку, по центральной улице деревни (он еще не стар, но уже несколько лет вынужден пользоваться клюкой из-за какой-то болезни ног, которая пока еще не очень серьезна, но врачи опасаются ее дальнейшего развития). И вот, медленно проходя там, время от времени останавливаясь и опираясь на свою клюку, обдумывал он предпочтительное распределение уборочных работ — он очень деятельный, страстно-деятельный, деловитый хозяин — и при этом вновь и вновь упирался в то, что, несмотря на немислимо растущую оплату, рабочей силы не хватало или, вернее, рабочей силы, собственно, хватало бы с избытком, если бы только эта сила действительно хотела работать по-настоящему, как это и происходит на крестьянских полях, однако, к сожалению, на господских полях ничего подобного и близко нет; он уже много раз с гневом думал об этом — и тогда больная нога начинала беспокоить его сильнее, чем обычно — и теперь обдумывал это снова, когда заметил на пороге одной полуразвалившейся лачуги какого-то парня, который привлек его внимание тем, что хотя на вид ему было уже лет двадцать, но он был бос, замызган и оборван, как какой-нибудь никудышный маленький школьник.

307. Самое нижнее помещение океанского теплохода, протянувшееся вдоль всего корабля, совершенно пусто; правда, высота его не больше метра. Такого пустого пространства требует конструкция судна. Впрочем, оно не совсем пусто, оно принадлежит крысам.

308. У меня с давних пор имелось определенное подозрение на собственный счет. Но возникало оно лишь изредка, на время, с большими паузами, достаточными, чтобы забыть о нем. К тому же все это были такие мелочи, которые наверняка возникают и у других — и у них тоже ничего серьезного не означают, — скажем, удивление при виде собственного лица в зеркале, или отражения своего затылка — или даже всей фигуры, — когда на улице неожиданно пройдешь мимо зеркала.

309. У меня с давних пор имелось определенное подозрение на собственный счет, — подозрение, примерно аналогичное тому, какое имеет усыновленный ребенок в отношении своих приемных родителей, даже если в нем заботливо поддерживается вера в то, что приемные родители — его родные. Это подозрение возникает, даже если приемные родители любят ребенка как своего собственного, не жалея для него нежности и терпения; это такое подозрение, которое проявляется, видимо, лишь временами, и с большими промежутками, и лишь по незначительным случайным поводам, но которое тем не менее живет, и если его не заметно, то оно не исчезло, а собирается с силами и в подходящий момент одним скачком может развиться из крохотного неудовольствия в огромное, дикое, злобное, ничем более не сдерживаемое подозрение и без размышлений уничтожить всякую общность между подозревающим и подозреваемым. Я чувствую его шевеление, как беременная женщина чувствует движение своего ребенка, и кроме того, я знаю, что его действительного рождения я не переживу. Живи, прекрасное подозрение, мой огромный, могущественный бог, и позволь мне умереть, породив тебя, позволившему себе родиться от меня.

310. Меня зовут Аир. Имя не то чтобы какое-то необычайное, но все же достаточно бессмысленное. Оно всегда давало мне пищу для размышлений. «Неужели, — спрашивал я себя, — тебя зовут Аир? Это правда?» Даже если ограничиться только твоей большой родней, и то найдется много людей, которые носят имя Аир и своим существованием придают этому, вообще говоря, бессмысленному имени вполне положительный смысл. Они родились Аирами, Аирами и умрут, примиренные, — по крайней мере, примиренные с именем. {143}

311. Один юный честолюбивый студент, очень интересовавшийся феноменом эльберфельдских лошадей и досконально изучивший и обдумавший все, что по этому поводу появлялось в печати, решил своими силами провести эксперименты в том же направлении, с самого начала взявшись за дело совершенно иначе и, по его мнению, несравненно правильнее, чем его предшественники. Правда, собственно денежные его средства были недостаточны, чтобы он мог позволить себе проведение широкомасштабных экспериментов, и если бы лошадь, которую он намеревался закупить для своих опытов, оказалась твердолобой — а это даже при напряженнейшей работе можно было установить только через несколько недель, — то он на продолжительное время лишился бы всяких перспектив начать новые эксперименты. Это, однако, не слишком его пугало, так как его методом можно было преодолеть, по всей вероятности, любую твердолобость. Тем не менее, будучи по натуре человеком предусмотрительным, он уже при подсчете расходов, которые у него возникнут, и средств, которые он может мобилизовать, действовал строго систематически. Деньги, требовавшиеся для минимального обеспечения его существования в процессе обучения, до сих пор регулярно каждый месяц присылали ему родители, бедные провинциальные коммерсанты; от этой поддержки он и впрямь не собирался отказываться, хотя, естественно, учение, за которым издалека с большими надеждами следили его родители, безусловно придется бросить, если он хочет добиться ожидаемого большого успеха в той новой области, в которую он теперь вступит. О том, чтобы родители поняли эту его работу или, тем более, стали помогать ему в ней, нечего было и мечтать, значит, он должен скрывать от них свои намерения, как бы это ни было для него мучительно, и поддерживать в них уверенность в том, что он планомерно продолжает свое прежнее обучение. Этот обман родителей был лишь одной

из жертв, которые он должен был принести на алтарь своего дела. Для покрытия предполагаемых в плане его работы больших расходов, присылаемых родителями сумм хватить не могло. Так что начиная с этого момента студент собирался большую часть дня, — до сих пор он посвящал ее занятиям, — употреблять для дачи частных уроков. А вот уже большая часть ночи должна была использоваться для самой работы. Выбрать это ночное время для обучения лошади студент принужден был отнюдь не только под влиянием неблагоприятных внешних обстоятельств; для реализации тех новых принципов, которые он хотел ввести в обучение лошадей, в силу различных причин больше подходила ночь. Так, он считал, что даже самое краткое отвлечение внимания лошади наносит непоправимый ущерб обучению, и ночь обеспечивала ему максимально возможную защиту от этой опасности. Что же касается повышенной возбудимости, которая охватывает человека и животное, когда они ночью бодрствуют и работают, то она определенно требовалась для осуществления его плана. В отличие от других знатоков, он не боялся проявлений дикого нрава лошади, наоборот, они были ему нужны, он даже намерен был их вызывать, если и не кнутом, то раздражающим воздействием своего постоянного присутствия и постоянных занятий. Он утверждал, что при правильном обучении лошади не должно быть никаких частных успехов, а те частные успехи, которыми в последнее время так неумеренно хвастались разнообразные лошадики, представляли собой либо просто-напросто плоды воображения воспитателей, либо, что еще хуже, совершенно явные признаки того, что до какого-то общего успеха дело так никогда и не дойдет. Сам он как раз более всего хотел уберечь себя от достижения частных успехов; самодовольство его предшественников, полагавших, что если удаются маленькие счетные фокусы, то уже что-то достигнуто, казалось ему непостижимым: это было все равно, как если бы обучение ребенка хотело начинать с тупого вдалбливания ему начала таблицы умножения — хоть бы он при этом оставался слеп, глух и бесчувствен по отношению ко всему человечеству. Это было так глупо, эти вопиющие ошибки других лошадиных тренеров казались ему иногда столь пугающе ясными, что у него даже возникали сомнения на свой собственный счет, потому что это ведь было почти невозможно представить, чтобы какой-то одиночка, к тому же еще и неопытный одиночка, движимый лишь неким непроверенным, но, правда, глубоким и прямо-таки звериным убеждением, был прав, а все остальные знатоки — нет.

312. В связи с внезапной смертью адвоката Мондерри первоначально были установлены следующие факты:

Однажды утром, примерно в половине пятого, — было чудесное июньское утро, и уже совсем рассвело — госпожа Мондерри выбежала из своей квартиры на четвертом этаже, перегнулась через перила лестницы и, раскинув руки, закричала с очевидным намерением призвать на помощь весь дом: «Моего мужа убили! Спасите! Спасите! Моего доброго мужа убили!» Первым увидел и услышал госпожу Мондерри мальчишка-разносчик, который, неся в обеих руках большую корзину булок, как раз в это время преодолевал последние ступени перед площадкой четвертого этажа. Он же на первом допросе утверждал, что слово в слово запомнил этот призыв госпожи Мондерри. Однако позднее на очной ставке с госпожой Мондерри от своих слов отказался, объяснив, что все-таки мог ошибиться, так как в первый момент был слишком напуган этим появлением госпожи. Это, разумеется, было вполне правдоподобно, так как даже по прошествии нескольких недель он, изображая происшедшее, был так возбужден, что сопровождал свой рассказ избыточными движениями рук и ног с целью вызвать у слушателей представление, хотя бы отчасти приближающееся к тому, какое запечатлелось в нем. По его словам, госпожа Мондерри с криком вылетела из двери, которая, как он полагает, уже до этого была открыта, поскольку ее открывания он совершенно не заметил, раскинула в стороны сцепленные до этого над головой руки и бросилась к перилам. Из одежды на ней не было ничего, кроме ночной рубашки и маленького серого платка, не вполне закрывавшего даже верхнюю половину тела. Волосы ее были распущены и частично спадали на лицо, что также не способствовало отчетливости звучания ее призыва. Едва увидев разносчика, она кинулась к нему, дрожащими руками притянула его к себе, забежала ему за спину и, обхватив за плечи, стала толкать перед собой, как своего рода щит. Из-за этой поспешности мальчишка даже не подумал о том, что может поставить куда-нибудь свою корзину с булками, и все это время не выпускал ее из рук. Таким образом они быстрыми, но совсем маленькими шажками — женщина, с возрастающим страхом, все крепче прижимала к себе мальчика — подошли к двери квартиры, переступили ее порог и вошли в узкую темную прихожую. Лицо женщины все время нависало над мальчиком то справа, то слева, она наклонялась вперед и, казалось, подстерегала что-то, что должно было сейчас появиться; иногда она отдергивала мальчика назад так, словно продвигаться дальше было уже невозможно, но затем все-таки снова всем телом толкала его вперед. Дверь первой лежавшей на их пути комнаты женщина открыла одной рукой, другой она крепко держалась сзади за шею мальчика. Она осмотрела пол, стены и потолок комнаты, ничего не нашла, оставила дверь открытой и теперь уже решительнее, но все еще не отпуская мальчика, направилась к следующей двери. Эта дверь уже была широко раскрыта. С порога не удалось разглядеть почти ничего, кроме двух стоявших рядом кроватей. В комнате было темно, так как тяжелые, полностью задернутые гардины оставляли лишь узкие щелки, сквозь которые едва пробивался дневной свет. На ночном столике у ближайшей к двери кровати горел маленький огарок свечи. В этой кровати ничего особенного не было заметно, но вот в другой что-то, по-видимому, произошло. Теперь уже мальчик не хотел идти дальше, но женщина кулаками и коленями подталкивала его вперед. На одном из допросов его спросили, почему он не решился подойти — не из страха ли перед тем, что он ожидал увидеть в этой кровати? На это он ответил, что вообще ничего не боится и тогда тоже не испугался, но что у него было такое чувство, словно что-то прячется где-то в комнате и может вдруг выскочить. Вот этого «чего-то», которое он не мог описать яснее, он и хотел сперва дожидаться, прежде чем идти вперед. Но поскольку женщине, кажется, было очень важно подойти ко второй кровати, то он, наконец, уступил.

313. На мне лежало полотнище большого знамени, я с трудом выбрался из-под него. И обнаружил, что нахожусь на какой-то возвышенности, а вокруг меня — луга попеременно с голыми скалами. Подобные же возвышенности волнами разбегались во все стороны света, уходя к далеким горизонтам, и только на западе туман и сияние заходящего солнца размывали их контуры. Первым человеком, которого я увидел, был мой командир, он сидел на камне, скрестив ноги и оперевшись локтями в колени, и спал, положив голову на руку.

314. Глубокий колодец. Нужны годы, чтобы оттуда поднялось ведро, и в один миг оно срывается вниз — быстрее, чем ты успеваешь наклониться к нему; тебе еще кажется, что ты держишь его в руках, а ты уже слышишь всплеск в глубине — нет, даже и его не слышишь.

315. Молчаливость — один из атрибутов совершенства.

316. [О мнимой смерти].

Тот, кто по собственному опыту знает, что такое мнимая смерть, может рассказывать, об этом ужасные вещи, но рассказать, каково там, после смерти, не может, ведь он, собственно, даже не был ближе к смерти, чем кто-либо другой, он, в принципе, только «пережил» нечто необычное и благодаря этому стал больше ценить обычную жизнь. Так бывает со всяким, пережившим нечто необычное, особенное. К примеру, Моисей на горе Синай, несомненно, пережил нечто «особенное», но вместо того чтобы посвятить себя этому особенному —

скажем, как тот мнимо умерший, который не подает признаков жизни и остается лежать в гробу, — сбежал с горы вниз, имея, естественно, сообщить важные вещи, и чувствовал к тем людям, к которым сбежал, еще большую любовь, чем прежде, и посвятил им затем свою жизнь, можно, наверное, сказать, из благодарности. От обоих, от вернувшегося мнимо умершего и от вернувшегося Моисея, можно узнать многое, но самого главного от них узнать нельзя, потому что они сами этого не узнали. А если бы узнали, то уж тогда не вернулись бы. Но мы вовсе и не хотим этого знать. В чем нетрудно убедиться, если, к примеру, вспомнить, что у нас может когда-то возникнуть желание испытать — при обеспечении гарантированного возвращения, то есть «свободного проезда» — переживания мнимо умершего или Моисея, более того, мы даже можем желать себе смерти, но мы и в мыслях не пожелали бы оставаться живыми в гробу или на горе Синай без всякой возможности вернуться... (Это, собственно, не имеет отношения к страху смерти...){144}

Разговорные листки{145}

1. Теперь появляется какое-то представление о том, что такое туберкулез: посередине оgranенный камень, сбоку пилы, а вокруг — пустые сухие выброшенные наружу отходы.{146}

2. [Рисунок].

Это потому что я много часов ничего не делал гортанью, она так болит? Скрытое-то раздражение у меня все время

3. Вы ничего не слышали о Швенингере, враче Бисмарка? Он разрывался между официальной медициной и совершенно самостоятельно изобретенной им натуропатией; великий человек, которому очень трудно приходилось с Бисмарком, так как тот был выдающийся обжора и пьяница.

4. Эти малые количества и постоянные позывы доказывают, что там есть препятствия для полного очищения, которые должны быть устранены, прежде чем пытаться купировать лекарствами.

5. Где-то в сегодняшних газетах есть замечательная маленькая заметка о том, как обращаться с сорванными цветами, у них такая ужасная жажда; какая бы ни была газета.

6. Косо, это почти моя идея, чтобы они могли больше выпить, убрать листья.{147}

7. Немного воды, эти куски пилуль застревают в мокроте, как осколки стекла.

8. Если бы эти макароны были не такие нежные, я бы вообще не мог есть, всё обжигает, даже пиво.

9. «Библиотека путешествий и приключений», лейпцигское издательство «Брокгауз».

10. № 27, Артур Бергер, «На острове вечной весны». Я уже читал несколько книг из этой библиотеки, это, в основном, отрывки из великих книг для детей, очень хорошие. Их, наверное, много, большой выбор; скажем, Лехнер (Грабен), но вот Хеллер, например, — нет, тут нужно иметь нюх, чего при нынешней жаре я от вас требовать не могу. Погодите с этим до тех пор, пока не принесут одежду.

11. Но это же только какие-то глупые наблюдения. Как только я начинал есть, в гортани что-то такое опускалось, что меня удивительно освобождало, и я уже начинал думать о всевозможных чудесах, но это сразу же проходило.

12. Верить, что когда-нибудь я смогу запросто отважиться на большой глоток воды.

13. Понемногу проглатывается.

14. Я бы особенно позаботился о пионах, они такие хрупкие.

15. И сирень — к солнцу.

16. Спроси, есть ли хорошая минеральная вода, просто из интереса.

17. Есть у вас минутка времени? Тогда, пожалуйста, полейте немного пионы.

18. Господин доктор, вы разбираетесь в винах? Вы уже пили — этого года?

19. Даже теперь я в таком состоянии, что мне потребуются недели, чтобы оправиться — если это удастся. Пожалуйста, посмотрите чтобы пионы не касались дна вазы. Для этого их надо держать в обертке.

20. В комнату залетала птица.

21. Хороший совет: положить в вино ломтик лимона.

22. Если нельзя купаться в ручье, то и воздушные ванны

23. Как-нибудь шутки ради я мог бы и минеральной воды

24. 8 дней я это, может быть, еще выдержу, я надеюсь, тут столько нюансов.

25. Я буду его слушаться, в особенности, если это приятно после лимонада; расскажи еще раз, как твоя мама пила — только воду, стойкие боли, жажда. Но раньше, когда ей давали хорошую воду, она была рада.

26. У нее никогда не было какой-нибудь сопутствующей болезни, которая ей какое-то время не позволяла пить?

27. Вы уже видели книги от «Шмиде»?{148}
28. Образовательная поездка для Р. Государственная стипендия на 6 недель.{149}
29. Третий из середины вычеркнута.{150}
30. А могут эти боли на время прекратиться? в смысле — на продолжительное время?
31. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы я вас не обкашлял.
32. Письмо «Шмиде».
33. Как я вас мучаю, это просто безумие.
34. У Бисмарка тоже был личный врач, тоже мучился.
35. Этот врач тоже был великий человек.
36. Этого я всегда боялся больше, чем всего прочего, уж лучше отказаться от лекарств и всего остального; после сегодняшнего утра — хотя всё ведь обманывает — эти конфетки действуют лучше, чем впрыскивание, если не считать последующего бесконечного жжения. Я не могу сразу после растворения, потому что тогда очень жжет. Это «лучше» выражается в том, что боли, которые возникают ведь и после впрыскивания, тут не такие острые — так, как если бы те раны, над которыми течет пища, были слегка прикрыты. Я просто хочу описать эффект. Впрочем, я это только сегодня утром почувствовал. Все это вполне может быть и не так.
37. Постоянный страх.
38. Из-за того, что вы так ко мне добры, мои боли, естественно, усиливаются, именно в этом смысле больница — очень хорошо.
39. Человека рядом со мной они угробили, все эти ассистенты забегали на одну минутку и, ничего не спрашивая Они позволяли ему разгуливать с воспалением легких и температурой 41. Это было великолепно, как потом ночью все эти ассистенты лежали в своих кроватках, а там был только священник с помощником. Он не должен был исповедоваться. Совершив последнее помазание, священник снова.{151}
40. Мне сегодня трудно говорить.
41. Я ведь так грущу только оттого, что все эти безумные мучения с едой напрасны.
42. Здесь, сейчас, с этими силами я должен это писать Только сейчас они присылают мне материалы.{152}
43. Да ведь даже слишком ясно видно, как медицинский черт прокладывает дорогу другому.{153}
44. Плохое должно оставаться плохим, иначе будет еще хуже.
45. Вы знаете Гисхюбль? Местечко под Карлсбадом Источник Леса
46. Если бы не было темы, тогда был бы материал для беседы.
47. Сколько лет сможешь ты это выдержать? Сколько я смогу выдержать то, что ты это выдерживаешь?
- Я сейчас хочу это прочесть.
- Да, это может слишком меня разволновать, и все-таки я должен пережить это снова.
48. Почему мы никогда не пили пиво в саду.
- Долгая дорога.
- Вино — Меран. Пиво Мошка.{154}
49. Я рад, когда какое-то время тихо.
- [Рисунок (Италия и Сицилия)].
50. Озеро же не имеет стоков.
51. Молоко очень хорошо, но ужасно, что опять будет очень поздно, хотя моей вины тут нет. Это такой всеобщий жалобный вопль.
52. Плохо, что я даже один-единственный стакан воды выпить не могу, но немного насыщаешься и самим желанием.
53. И эти удивительные воспоминания, к примеру, о Гисхюбле, одном удивительно красивом маленьком лесном селении под Карлсбадом.
54. Если верно — а это, по-видимому, верно, — что мое теперешнее питание недостаточно, чтобы вызвать улучшение изнутри, тогда вообще никакой надежды, только на чудо.

55. Я и теперешнее питание недолго смогу выдержать при таких болях и таком кашле.
56. Отец рад, но и сердится за срочные письма.
57. Посмотрите на сирень, она свежее утра.
58. Девочке нужно сказать про стекло, она иногда приходит босиком.{155}
59. Ergo bibamus[5]. Так выпьем же.{156}
60. Это мне не нравится, слишком много работы, требует слишком глубоких познаний. Совсем другое дело — ухаживать за комнатными цветами.
61. Я теперь так отравлен, что чистый фрукт моему телу уже вряд ли понятен.
62. Это можно есть ложкой, так тоже хорошо, только не чисто, но поскольку я буду есть совсем немного, то самое лучшее — все перемешать и немного отлить мне в стакан.
- Без воды я не могу это проглотить. Йогурта мне бы вполне хватило, да и любому хватило бы при такой лихорадке. Это меняется с погодой, когда жарко, это еще немного лучше, гуще, кроме того, когда жарко, и это лучше, не такое хрупкое и плотное.{157}
63. Чтобы муравьи не доели.
64. Мы теперь отошли на порядочное расстояние назад от того дня, когда в саду той гостиницы мы
65. Это было словно какое-то соглашение в полусне. Мне было обещано, что мне удастся переспать этот шум, но за это я должен был пообещать что-то другое, я пообещал, но забыл
66. Она не может есть, значит, у нее нет болей. Она еще вернется?{158}
67. Вечно это «пока», я ведь могу применить это и к себе. Мы все время говорим об этой гортани так, словно все может развиваться только в сторону улучшения, но это же неправда.
- Естественно, влияет и настроение, к примеру, волнующая тема разговора.
68. Как мы могли так долго обходиться без Р.?
69. Мне сейчас снилось, что Р. стоит у двери, а я должен подать ему знак, что я с чем-то справился, но в то же время я знаю, что ты [Дора] на террасе, и не хочу этим знаком тебя потревожить. Трудный случай.
70. Даже если я в самом деле немного отойду от всего этого, то от болеутоляющих наверняка — нет.
71. Кто звонил по телефону? это не Макс был?
72. Бесконечно много мокроты, легко и все-таки утром — боли; сквозь эту пелену мелькнула мысль, что за такое количество и за такую легкость каким-то образом дают Нобелевскую премию
73. За это водяных нимф и любят
74. Мы купим какую-нибудь маленькую книжечку про эти вещи, это нужно знать точно
75. Но теперь пока достаточно цветов.
- Покажи мне эту Аглаю, слишком яркий, чтобы ставить вместе с другими.
- Боярышник совсем спрятался, слишком в темноте.
- Больше воды. Плоды.{159}
76. Ты хвалишь так произвольно, когда я хорошо ем; сегодня я много съел, и ты бранишься, а другой раз так же незаслуженно хвалишь.
77. Где эта вечная весна?
78. Разве в газете не написано: зеленоватые прозрачные вазы?{160}
79. Вчера вечером еще одна пчела выпила белой сирени. Очень косо срезать, тогда они могут касаться дна.
80. В сотах я его ем с удовольствием, но они бывают, наверное, только осенью, и кроме того, светлые красивые соты очень редки.
81. А ракитника нельзя достать?
82. Он сегодня воды еще не пил. И жить, как мы здесь живем, в «Венском лесу» было бы невозможно.{161}
83. Нельзя ли мне сегодня попробовать, может быть, мороженого

84. Преданный друг — добрый мудрый по-отечески заботливый ангел-хранитель.

85. Как легко это проходило тогда в постели, когда вы приходили, и притом у меня было даже не пиво, а, разумеется, компот, плоды, фруктовый сок, вода, фруктовый сок, плоды, компот, вода, фруктовый сок, плоды, компот, вода, лимонады, сидр, плоды, вода.{162}

86. Как это удивительно, правда? сирень, умирая, пьет, все еще всасывает.

87. Такого не бывает, чтобы умирающий пил.

88. Даже если дело идет к заживлению — простите эти мои вечные отвратительные расспросы, но ведь вы мой врач, правда? — это продлится годы и так же долго придется ждать безболезненной еды?

89. Риторический вопрос

90. При такой питательной способности я пока не смогу пойти с отцом в пивную в саду городской школы плавания.

91. В прежние годы Венеция Рива Дезенцано и тот же Нордерней Гельголанд дядя Зигфрид.{163}

92. Я однажды должен был ехать с ней (с ее знакомым) на Балтийское море, но постеснялся из-за своей худобы и, в общем, нерешительности.

Насколько это того стоило, понимать меня. Такая она была во всем.

Она была не красивая, но стройная, с благородной фигурой, которую она, как рассказывают (сестра Макса, ее подруга) сохранила.{164}

93. Положи мне на минутку руку на лоб, чтобы мне набраться мужества.

94. Эта газета приходит в 3 экземплярах 2 раза в неделю.

95. Каждый член устал, как человек.

96. Почему я в больнице даже не попробовал с пивом лимонад это все было так бесконечно.

97. Итак, помощь снова уходит, не оказав помощи.{165}

98. У рассказа теперь новое название: «Певица Жозефина, или Мышиный народ». Такие названия с «или» не очень красивы, но, может быть, здесь это имеет особый смысл. Оно несколько напоминает весы.

99. Когда я был маленьким и еще не умел плавать, отец, который тоже не умел плавать, иногда брал меня с собой в отделение для неумеющих. И потом мы сидели с ним, голые, у стойки, и перед каждым были пол-литра пива и колбаса. Колбасу отец обычно приносил с собой, так как в школе плавания она была слишком дорогая. Ты должна хорошо себе это представить: огромный мужчина держит за руку маленького робкого заморыша... например, как мы с ним раздеваемся в темноте в маленькой кабинке и как он потом меня оттуда вытаскивает, потому что я стесняюсь, как он пытается преподать мне свои мнимые плавательные познания и тому подобное. Но потом — пиво!

100. У тебя нет такого чувства, что перед Леонхардом, когда он диктует, стоит стаканчик пшора?{166}

101. Мой кузен был замечательный человек. Когда этот Роберт — ему было уже лет сорок — ближе к вечеру: раньше он не мог, он был адвокат и был очень занят, как делами, так и удовольствиями, — так вот когда он после пяти вечера появлялся в Софиевой школе плавания, несколькими движениями сбрасывал одежду, прыгал в воду и бултыхался там с силой красивого дикого зверя, сверкая водой и сияя глазами, и мгновенно оказывался далеко у самой запруды, — это было великолепно. А полгода спустя он был уже мертв, замученный насмерть врачами. Какая-то загадочная болезнь селезенки, с которой боролись, в основном, инъекциями молока, зная, что это ничем не поможет.

102. У Макса 27 мая день рождения.

103. Чаще предлагай сестре вина.

104. Здесь хорошо дарить, потому что здесь ведь каждый — немного знаток.

105. Это счастье — дарить то, что другому наверняка и в тот же миг доставит искреннюю радость.

106. Надо бы еще позаботиться о том, чтобы самые нижние цветы там, где они прижимаются к вазе, не страдали. Как бы это сделать? Может быть, действительно лучше всего — чашки.

Речь о еврейском языке{167}

Перед тем как прозвучат первые стихи восточно-еврейских поэтов, я хотел бы уверить вас, глубокоуважаемые дамы и господа, в том, что вы понимаете идиш намного лучше, чем вы думаете. Я, собственно, не забочусь о тех впечатлениях, которые получит каждый из вас на сегодняшнем вечере, но я хочу, чтобы с первого же мгновения они — если они того заслуживают — воспринимались свободно. Однако этого не может произойти, пока некоторые из вас испытывают перед идиш такой страх, что он почти читается на лицах. О тех, кто относится к идиш с пренебрежением, я вообще не говорю. Но страх перед идиш — если угодно, страх, смешанный с неким известным отвращением — в конце концов вещь, в принципе, понятная.

Если мы окинем предусмотрительно-беглым взглядом нашу западноевропейскую жизнь, мы найдем ее весьма упорядоченной, все спокойно идет своим чередом. Мы живем в каком-то прямо-таки веселом согласии, понимаем друг друга, когда нам это необходимо, обходимся друг без друга, когда нас это устраивает, но понимаем друг друга даже и тогда; кто, существуя при таком порядке вещей, смог бы понять этот путаный идиш — да и кто вообще захотел бы его понимать?

Идиш — это самый молодой европейский язык, ему всего четыреста лет — даже, собственно, еще намного меньше. Он еще не выработал такие ясные языковые формы, какие используем мы. Его выражения коротки и остры.

У него нет никакой грамматики. Любители пытаются составить грамматику, но идиш постоянно живет в речи и не может устояться. Народ не оставляет его грамматикам.

Он состоит из одних иностранных слов. Но они в нем не покоятся, а сохраняют ту торопливость и живость, с которой были усвоены. Переселения народов пронизывают идиш от одного его края до другого. Все это немецкое, древнееврейское, французское, английское, славянское, нидерландское, румынское и даже латинское идиш воспринял с любопытством и легкомыслием; немалая сила нужна уже для того, чтобы удержать эти языки вместе в таком состоянии. Поэтому ни один разумный человек и не помышляет о том, чтобы превратить идиш в какой-то мировой язык, как ни близок он, вообще говоря, к таковому. Заимствования из него популярны только в воровском жаргоне, потому что арго меньше нуждается в языковых связях, чем в отдельных словах. А также потому, что идиш все-таки долго был презируемым языком.

Но и в таком бытовании языка господствуют осколки известных языковых законов. К примеру, начало формирования идиш относится ко времени перехода средневерхненемецкого в нововверхненемецкий. Тогда происходил выбор форм, средневерхненемецкий выбрал одну, идиш — другую. Иными словами, идиш развивал формы средневерхненемецкого языка последовательнее, чем даже нововверхненемецкий, так, например, выражение на идиш *mir seien* (нововверхненемецкое *wir sind*[6]) естественнее развилось из средневерхненемецкого *sin*, чем это современное *wir sind*. То есть идиш продолжал придерживаться форм средневерхненемецкого несмотря на развитие нововверхненемецкого. Все, что попадало в гетто, не скоро выходило оттуда. Так сохраняются формы *Kerzlach*, *Vkmlach*, *Liedlach*[7]. И затем в это языковое образование, смешивающее закон и произвол, вливаются еще и диалекты. Да и весь идиш состоит только из диалекта, даже письменный, несмотря на то, что о написании, в основном, имеется единое мнение.

При всем том я думаю, что в большинстве своем вы, глубокоуважаемые дамы и господа, пока что пребываете в убеждении, что ни единого слова на идиш не поймете.

Не ожидайте от объяснений поэзии никакой помощи. Если уж вы даже идиш понять не в состоянии, никакое конкретное объяснение вам не поможет. В лучшем случае вы поймете его и заметите себе, что там будет что-то сложное. К примеру, я мог бы вам сказать: господин Леви прочтет сейчас — как это в самом деле и будет — три стихотворения. Вначале «Grine» Розенфельда. «Grine» это «Grünen», «зеленые», «новобранцы», новоприбывшие в Америку переселенцы. В этом стихотворении такие еврейские эмигранты со своими грязными дорожными узлами маленькой группкой идут по улице Нью-Йорка. Естественно, собираются зеваки, с удивлением их рассматривают, следуют за ними и смеются. Взволнованный этой уличной сценой до глубины души, поэт поднимается над ней и обращается ко всем евреям и ко всему человечеству. И кажется, что когда говорит поэт, эта группа эмигрантов застывает, хотя они далеко от него и не могут его услышать.

Второе стихотворение принадлежит Фругу и называется «Песок и звезды». Это горькая интерпретация одного библейского предсказания. В нем говорится, что мы станем как песок у моря и как звезды на небе. Ну, как песок нас уже попирают — когда же теперь сбудется и про звезды?

Третье стихотворение — Фришмана, называется «Ночь тиха». Влюбленная пара встречается ночью благочестивого ученого, идущего в молеальный дом. Они пугаются: теперь на них могут донести, потом успокаивают друг друга.

Как вы видите, такие объяснения ничего не дают. Привязанные к этим объяснениям, вы затем в читаемом будете искать то, что уже знаете, и того, что там есть на самом деле, не заметите. Но, к счастью, всякий, знающий немецкий язык, способен понять и идиш. Так как если смотреть с некоторого — правда, большого — удаления, то внешняя понятность идиш образована немецким языком; в этом преимущество идиш перед всеми языками земли. Однако — по справедливости — и у них у всех есть преимущество перед ним. И именно то, что идиш нельзя перевести на немецкий. Связи между идиш и немецким слишком тонки и значимы, они мгновенно разрываются, когда идиш возвращают к немецкому, то есть возвращают уже не идиш, а нечто бессущностное. Переводом, к примеру, на французский идиш может быть сообщен французам, переводом на немецкий он уничтожается. Так, «toit» это не «tot» и «Blüt» — никоим образом не «Blut»[8].

Но не только из этой дали немецкого языка можете вы, уважаемые дамы и господа, понять идиш; вы можете подойти к нему на шаг ближе. Уже сравнительно недавно появился хорошо известный разговорный язык немецких евреев — в качестве некоторого более или менее отдаленного, но все еще сохраняющего множественность оттенков (в зависимости от места проживания носителей: в городе или деревне, на востоке или на западе) приближения к идиш. Поэтому историческое развитие языка идиш можно было бы проследить в современной плоскости почти так же хорошо, как и в глубине истории.

И уже совсем близко вы подойдете к идиш, если вспомните о том, что, помимо знаний, в вас живут способности и сочетания способностей, позволяющие вам понимать идиш чувством. Лишь так может объясняющий помочь вам — успокоив вас, чтобы вы не чувствовали себя исключенными и осознали, что уже не можете жаловаться на непонимание языка. Это — самое важное, ибо с каждой жалобой понимание ускользает. В то же время, сохранив спокойствие, вы вдруг окажетесь внутри этого языка. Но раз уловив идиш — а он соединяет всё: и слово, и хасидскую мелодику, и само существо этого восточно-еврейского актера, — вы уже не сможете вновь обрести ваше прежнее спокойствие. Вы тогда так сильно почувствуете истинное единство этого языка, что испугаетесь, но уже не идиш, а себя. И вы не сможете в одиночку выносить этот страх, если одновременно из того же идиш к вам не придет вера в себя, равная этому страху — и еще более сильная, чем он. Впитывайте ее в себя настолько, насколько сможете! Если же потом, завтра или позднее, она вас

оставит — да и как сможет она удержаться в воспоминаниях об одном-единственном вечере! — то я желаю вам позабыть и этот страх. Ибо мы не хотим, чтобы все это стало для вас наказанием.

Письма к Феликсу Вельчу

[Визитная карточка. По-видимому, 1907 г.].

В конце концов начинаешь чувственно воспринимать уже весь город. И вот, там, где находилась Ваша комната, меня всегда болезненно коржило, поскольку вы там так отчаянно занимались.

Теперь это в прошлом. Слава Богу!

Ваш Франц К.

[На бланке «Общества по страхованию рабочих от несчастных случаев». Прага, 20 сентября 1912 г.].

Феликсу Вельчу и Максу Броду.

Любезные мои счастливики!{168}

С радостью, довольно, впрочем, нервной, пишу вам среди рабочего дня. Я не стал бы этого делать, если бы еще мог писать письма, не пользуясь пишущей машинкой. Но соблазн уж слишком велик. Настроения иногда — и почти никогда — нет, а кончики пальцев есть всегда. Вынужден предполагать, что это вас очень интересует, поскольку пишу вам это в такой спешке.

Спасибо, Макс, за дневник. Твоя фрейлейн была настолько любезна, что сразу же выслала его; он пришел вместе с твоей первой открыткой. Но и я сразу же премило поблагодарил и, откровенно говоря, сразу же попросил о randevu, для которого — надеюсь, в соответствии с твоими желаниями — предложил квартиру твоего дяди, с тем чтобы мы, трое покинутых, как-нибудь собрались вместе.

Ты не должен прекращать дневник! А еще лучше было бы, если бы вы все вели дневники и присылали их. Если уж нас гложет зависть, то мы желаем знать, почему. Уже после нескольких страниц я начал немного представлять себе юг, а те итальянцы в купе, о которых ты в своем непрерывном благоденствии вообще даже не вспоминаешь, сильно меня захватили.

Вчера вечером, Макс, был у твоих родителей. Отца, правда, не застал, он ушел на какое-то собрание, был брат, но у меня как-то не было сил заниматься при нем распаковкой твоей корреспонденции. Из новостей надо [здесь машинописный текст обрывается].

На этом интригующем месте меня прервали: прибыла депутация земельного союза владельцев лесопилок (не иначе как ради того впечатления, какое это произведет на вас) и останется здесь навсегда.

Так что прощайте!

И привет госпоже Югландии.

Ваш Франц.

У моей сестрицы Валли в субботу была помолвка, доставьте ей радость — поздравьте ее открыткой, не признаваясь, откуда вы это узнали.

[Открытка. Вена{169}; штемпель: 10. 9. 1913].

Мало удовольствий, больше обязанностей, еще больше скуки, еще больше бессонницы, еще больше мигрени — так я живу и вот сейчас имею ровно десять минут свободного времени, чтобы полюбоваться на дождь, льющий во дворе гостиницы.

Франц.

[На почтовой бумаге «Санатория д-ра фон Хартунгена». Рива, сентябрь 1913 г.].

Нет, Феликс, не будет хорошо, ничего у меня не будет хорошо. Порой мне кажется, что я уже не в этом мире, а болтаюсь где-то в преддверии ада. Ты полагаешь, что в сознании вины я нахожу какую-то опору, какое-то разрешение, — нет, сознание вины у меня только потому, что для моей природы это прекраснейшая форма сожаления, и тут не нужно очень внимательно всматриваться; это сознание вины — просто некое требование возврата. Но едва оно возникает, как тут же вырастает куда более страшное, чем сожаление, чувство свободы, избавления, относительной удовлетворенности, намного превосходящее все сожаления. Сегодня вечером получил письмо от Макса. Ты в курсе?{170} Как я должен поступить? Может быть, не отвечать? — конечно, это единственно возможный ответ.

А что будет, это сказали карты. Несколько дней назад мы тут собрались вечером компанией в шесть человек, и одна молодая, очень богатая, очень элегантная русская, от скуки и безысходности, — ибо элегантные люди среди неэлегантных чувствуют себя куда более потерянно, чем последние среди первых — всем погадала на картах. Причем каждому — дважды, по двум разным системам. Нагадалось разное, большей частью забавное или полусерьезное и, в конечном счете, даже если этому и верить, совершенно ничего не говорящее. Только в двух случаях получилось нечто вполне определенное, такое, что всеми может быть проверено, причем результаты совпадали по обеим системам. Одной девушке расклад предсказал, что она останется старой девой, а в моем раскладе было то, чего даже близко ни у кого не было: все карты, обозначавшие человеческие фигуры, разбежались от меня так далеко на края, как только возможно, и даже этих удаленных фигур было один раз только две, а другой раз, по-моему, вообще не было. Вместо них вокруг меня крутились беспрерывные «заботы», «богатство» и «честолюбие», то есть все абстракции, какие вообще знают карты, за исключением «любви».

Так уж прямо верить картам, по всем вероятностям — глупость, однако попытка с их помощью или с помощью любой другой внешней случайности внести ясность в запутанную и непроницаемую сферу представлений внутренне оправданна. Я говорю здесь, естественно, о воздействии моих карт не на меня, а на других и могу подтвердить это тем, как подействовал на меня расклад той девушки, которой предсказано остаться старой девой. Речь идет о вполне милой молодой девушке, в которой ничто, за исключением, может быть, прически, не предрекает будущности старой девы, и тем не менее мне, хотя до этого решительно никаких ясных мыслей о ней у меня не было, с самого начала было жаль ее, причем не в связи с ее настоящим, а — совершенно однозначно — в связи с ее будущим. Но с того момента, как ей выпали эти карты, для меня стало совершенно несомненным, что ей суждено остаться старой девой... Твой случай, Феликс, возможно, сложнее моего, но он все-таки ирреальнее. В своем крайнем выражении, в реальности всегда самого мучительного варианта, он все-таки — только теоретическая возможность. Ты стараешься разрешить некий признанный неразрешимым вопрос, тогда как его решение, если исходить из того, что можно себе представить, не принесет пользы ни тебе, ни кому-либо еще. Насколько же все-таки я в качестве неудачника превосхожу тебя! Будь у меня хоть малейшая надежда на то, что это чему-то поможет, я вцепился бы в столб ворот на въезде в санаторий, чтобы не надо было уезжать.

Франц.

[Почтовая бумага: «Мариелист{171}, курорт Эстерзё», конец июля 1914 г.].

Максу Броду и Феликсу Вельчу.

Дорогой Макс, дорогой Феликс,

Запаздываю с ответами, да? Но вы послушайте, что у меня произошло. Помолвка моя расторгнута, пробыл три дня в Берлине, все были мне добрыми друзьями, и я был всем добрым другом; впрочем, я точно знаю, что так — лучше всего, и поскольку необходимость произошедшего столь ясна, то я в отношении всего этого дела совсем не так встревожен, как можно было бы предполагать. Хуже другое. Я потом был в Любеке, купался в Травемюнде; в Любеке встретил д-ра Вайса{172}, ехавшего на этот датский курорт, и вместо Глешендорфа приехал сюда. Довольно пустынный пляж и несколько действительно своеобразных датчан. Я оставил свое мнимое упрямство, которое стоило мне помолвки, ем почти одно только мясо, от которого меня мутит, и ранним утром, лежа после скверной ночи с раскрытым ртом, ощущаю свое оскверненное и наказанное тело так, словно в моей постели насвинячил кто-то чужой. Отдохнуть у меня здесь не получится, но хотя бы проветриться. Здесь доктор В. со своей подружкой. В субботу вечером, наверное, уеду в Прагу.

Привет всем милым женам и невестам.

Франц.

[Визитная карточка. Прага, сентябрь 1914 г.].

Мой дорогой Феликс,

как я слышал, ты и твоя милая супруга почти обижены тем, что я вас еще не посетил. Если это так, вы не правы. Не говоря уже о том, что мое непоявление есть уважение к вашему медовому месяцу, но я, кроме того, еще пребываю в жалком состоянии постоянного недосыпания, завален делами и к тому же живу в противоположном конце города, далеко за Ригерпарком. В силу в всех вышеуказанных причин я и посылаю эти книги, вместо того чтобы занести их лично. И насколько важен был выбор этих книг, которые должны представлять в вашей квартире меня и все то хорошее, что я вам желаю, настолько же я боюсь, что все-таки выбрал плохо.

К несчастью, мой внутренний голос вечно начинает говорить только тогда, когда выбор уже сделан.

С сердечным приветом

Франц.

[Открытка. Прага; штемпель: 13. 1. 1915].

Дорогой Феликс,

пожалуйста, потерпи до понедельника. Если до того времени она{173} откуда-нибудь не вылезет — я, правда, не представлю себе, как это может произойти, — мне придется заплатить.

Сердечный привет тебе и жене

Франц.

[Открытка. Мариенбад; штемпель: 11. 7. 1916].

Дорогой Феликс,

почему не отвечаешь? При твоей пунктуальности это почти необъяснимо. Или опять что-то с рукой? Но ведь есть же твоя жена, которая, как я по-прежнему — не веря дурным приметам — считаю, хорошо ко мне относится, а теперь не пишет и она. Комната с балконом все еще ждет, но долго ждать не будет.

Сердечный привет от

Франца.

[Далее следует адрес, написанный рукой Ф. Б. {174}].

[Открытка. Мариенбад; штемпель: 19. 7. 1916].

Дорогой Феликс,

если бы все действительно обстояло так, как ты пишешь, то для меня это действительно было бы поводом приехать и я бы приехал. Но это не так, во всяком случае, уже второй день — не так. «Так» пусть остается только отсутствие фурункулов. Мне же, напротив, совсем не хорошо. Головные боли. Головные боли! (Лангер {175} сказал бы: переписка двух дачников.) Лангер здесь, да и вообще, здесь что-то вроде центра иудаистского мира, поскольку здесь раввин из Бельцов. Я уже дважды был в его свите во время вечерних прогулок. Он один оправдывает дорогу из Карлсбада в Мариенбад... А ты знаешь, что Баум — во Франценсбаде, в отеле «Сан-Суси»?

Сердечный привет и наилучшие пожелания тебе и твоим.

Франц.

[Открытка. Прага; штемпель: 2. 1. 1917].

Дорогой Феликс,

вчера хотел поздравить вас с Новым годом, но не получилось. Я увидел тебя читающим так мирно, в таком глубоком покое — и ты еще потом открыл папку, вынул бумагу и начал писать, — что для меня это был даже не вопрос: я не мог тебе помешать. Правда, рядом с тобой стояла чашка, и дверь в освещенную квартиру была полуоткрыта, так что я сказал себе, что если ты начнешь серьезнее заниматься чашкой или если войдет твоя жена, тогда, может быть, и я буду вправе войти. Но это была ошибка. Ибо когда твоя жена, наконец, вошла и ты, с хорошим аппетитом во что-то вгрызаясь, начал с ней разговаривать, я, естественно, постыдился подглядывать дальше, а потому не смог установить, был ли этот перерыв в работе продолжительным, и потому ушел. В следующий раз. Большой привет. Между прочим, хорошие новости в газетах.

Франц.

[Прага, лето 1917 г.]

Дорогой Феликс,

ты очень хорошо сделал, и я рад за тебя безгранично. В будние дни мне трудновато, но в воскресенье, может быть, заеду. Не захватить ли мне с собой Оскара? Жаль только, что я никогда не знаю, буду ли я завтра жив или еле жив, и что последнее всегда более вероятно. Я привезу тебе тогда одну отличную, неподъемную — но с твоей помощью, может быть, все-таки удастся ее поднять — статью Хеймана {176} о политике и избирательном праве из «Рундшау».

Сердечный привет тебе и жене.

Франц.

[Прага], 5. 9. 1917 г.

Максу Броду и Феликсу Вельчу.

Дорогой Макс,

пишу под копирку тебе и Феликсу: первое объяснение с матерью прошло на удивление легко. Я просто сказал между прочим, что, может быть, не буду пока снимать никакой квартиры, поскольку чувствую себя не совсем здоровым: расшатались нервы, а лучше попытаюсь взять более продолжительный отпуск и поеду тогда к О. {177} Вследствие ее безграничной готовности при малейшем намеке давать мне любые отпуска (когда это зависит от нее), она не увидела в моем объяснении ничего подозрительного, так что пусть это — пока во всяком случае — так и остается; то же самое — и в отношении отца. Поэтому в случае, если ты будешь с кем-нибудь говорить об этом деле, прошу тебя одновременно — или задним числом, если это уже имело место — предупреждать собеседника, чтобы с моими родителями он об этом не говорил даже в том случае, если бы в разговоре у него стали что-то выспрашивать (само по себе это, естественно, отнюдь не тайна; наличность моего земного имущества, с одной стороны, как раз увеличилась на туберкулез, правда, с другой стороны, несколько и уменьшилась). Пока можно не создавать родителям лишних забот, это безусловно надо постараться сделать, тем более, что это ведь так легко.

Еще раз — уже без копирки — благодарю, Макс; действительно, очень хорошо, что я туда ходил, а без тебя этого наверняка не случилось бы {178}. Ты, кстати, сказал там, что я легкомыслен, — напротив, я чересчур расчетлив, а судьба таких людей уже предсказана в Библии. Но я и не собираюсь жаловаться, сегодня — менее, чем когда-либо. К тому же я и сам это предсказал. Помнишь рану, расцветающую в «Сельском враче»? Сегодня пришли письма от Ф. — спокойные, приветливые, без всякого злопамятства, — точно такие, какими я их видел в моих лучших снах. Тяжело теперь писать ей.

[Цюрау, 22 сентября 1917 г.]

Дорогой Феликс,

похоже, произошло недоразумение. Мы пригласили тебя, то есть вас, с тем чтобы вы здесь побыли, а не с тем чтобы вы увезли отсюда то немногое, что здесь есть. Намек на что-либо подобное был бы чистым соблазном. Главным затруднением мне представлялось

получение отпуска, но как раз эта трудность тебя пугает меньше всего. Поселиться здесь можно и вдвоем, а вот земных благ действительно не много. Для местного потребления и для приезжих больных пока хватает, имеется даже некоторое изобилие, но очень мало что можно увезти — и то лишь время от времени. Однако для вас в любом случае кое-что приберегут.

Перспектива переселения повергает меня в истинный трепет, меня и куда меньшее выбивает из колеи. Чаепитие мне не нравится, но с моими легкими я в вопросах здоровья голоса уже, наверное, иметь не могу. Достаточно сказать, что при этом лечении ты должен носить куртку, в задний карман которой вставлен наполовину торчащий оттуда термос.

В какой клуб это приглашение? В еврейский, да? Если ты намерен прочитать там публичный доклад и об этом будет своевременно объявлено, то у тебя даже будет один слушатель, который собственной персоной явится из провинции, при условии, разумеется, что еще будет транспортабелен.

Пока что это несомненно так, за первую неделю здесь я прибавил килограмм и в этих первых проявлениях болезни усматриваю скорее вмешательство ангела-хранителя, чем дьявола. Но, по всей видимости, как раз такое развитие всего этого дела и есть дьявольщина, и, может быть, потом, оглядываясь назад, увидишь, что это мнимо-ангельское было худшим в нем.

Вчера пришло письмо от д-ра Мюльштейна{179} (я ему только сообщил в письме, что был у профессора П.{180}, и приложил копию заключения), в котором, между прочим, говорится: вы несомненно можете рассчитывать на улучшение (!), правда, констатировать его можно будет лишь по прошествии значительного промежутка времени.

Таким образом, мои перспективы, с его точки зрения, постепенно затуманиваются. После первого обследования я был почти совершенно здоров, после второго все было даже еще лучше, позже появился легкий левосторонний бронхит, еще позже — «чтобы ничего не преуменьшать и ничего не преувеличивать» — туберкулез справа и слева, который, однако, пройдет и в Праге, и бесследно, и скоро, и, наконец, теперь я несомненно могу рассчитывать на улучшение, которое когда-нибудь — когда-нибудь да наступит. Такое впечатление, словно он своей широкой спиной хотел заслонить от меня ангела смерти, стоящего за ним, и словно теперь он понемногу отходит в сторону. Оба они меня (к сожалению?) не пугают.

Здесьняя моя жизнь превосходна — во всяком случае, была при той прекрасной погоде, которая до сих пор стояла. Солнечной комнаты у меня, правда, нет, зато есть великолепное место для лежания на солнце. Некий пригорок или, скорее, некая маленькая возвышенность в центре широкой полукруглой котловины, над которой я господствую. Я возлежу там, как король, почти на одной высоте с цепью ограничивающих котловину высот. При этом благодаря удачному профилю местности меня вряд ли кто-то видит, что очень приятно, если принять во внимание сложное устройство моего лежака и то, что я лежу на нем полуголый. И лишь очень редко на границе моей возвышенности поднимает голову оппозиция и кричит мне: «А ну, слазь оттудова!» Более радикальные призывы я по причине содержащихся в них диалектизмов понять не могу. Есть, впрочем, надежда, что я еще стану здесь сельским дурачком; похоже, теперешний, которого я сегодня видел, живет, практически, в соседней деревне и уже стар.

Комната моя не так хороша, как это место, в ней нет ни солнца, ни покоя. Но хорошо расположена и вам понравится, поскольку в ней вы будете спать. Я же прекрасно могу спать в какой-то другой комнате, как я, к примеру, вчера и поступил, когда здесь была Ф.

В связи с Ф. одна библиотечная просьба. Ты знаешь наш с ней старый спор о слове «bis»[9]. Так вот, я ее неверно понимал. Она считает, что хотя «bis» и может использоваться как союз, но только в значении «до тех пор пока». Поэтому нельзя, например, сказать: «Bis Du herkommst, werde ich Dir funfhundert Kilogramm Mehl geben»[10] (Правда, это только грамматический пример.)

Не будешь ли ты так добр посмотреть по Гриммам (я уже забыл примеры) или по другим книгам, права ли Ф. Дело это не так уж незначительно для характеристики моего двойственного положения по отношению к ней: служебная собака и цербер «в одном лице».

Кстати, еще одна просьба, хорошо сочетающаяся с первой: во втором томе «Болезненных нарушений влечений и эмоциональной сферы (онанизм и гомосексуализм)» д-ра Вильгельма Штекеля — или как-то похоже, да ты знаешь этого венца, разменявшего Фрейда на мелочь, — есть пять строк о «Превращении». Если у тебя есть эта книга, сделай одолжение, спиши их для меня.

И это еще не все, есть еще одна просьба, но уже последняя. Я тут читаю почти только чешское и французское, причем исключительно автобиографии и письма, естественно, хоть сколько-нибудь прилично напечатанные. Не мог бы ты мне повыдавать таких томов? Выбор — на твое усмотрение. Почти все в этом жанре — если не слишком ограничено военными, политическими или дипломатическими делами — для меня очень ценно. Выбор чешских, по всей вероятности, будет особенно мал, к тому же я сейчас прочел, может быть, лучшую из этих книг: избранные письма Божены Немцовой{181} — неисчерпаемый источник человековедения. Как там твоя политическая книжка? {182}

Большой привет.

Франц.

Еще вспомнил: «Жизнь любви в романтизме» тоже было бы неплохо. Но вышеназванные важнее. Если нужен залог, я передам, чтобы принесли. Те четыре тома (каменные мосты и Прага) ты, очевидно, уже имеешь. Если ты потом мне как-нибудь черкнешь, что книги у тебя, их заберет кто-нибудь из нашего магазина, и я получу их в посылке, которые мне время от времени присылают. Отгла со вчерашнего дня в Праге, иначе тоже бы написала.

Зачеркнутые слова на предыдущей странице — это начало вопроса, который я опустил, так как в нем было бы слишком много грубого профессионального любопытства. Теперь, когда я в этом признался, вопрос стал лучше, и я могу спросить: что тебе известно о Роберте Вельче?{183}

[Цюрау, начало октября 1917 г.].

Дорогой Феликс,

ты, следовательно, не сердись, и это хорошо, но то, что вокруг «лжи» должно видеть сияние глубокой правды, лжеца утешить не может. О самом этом деле следовало бы, впрочем, еще кое-что сказать в дополнение, однако, говоря с тобой, в этом нет нужды. (Между строк: сегодня после отнюдь не скверного дня я так туп и так против себя настроен, что лучше было бы отложить письмо.)

Масштабы, которые приобретает твоя педагогическая деятельность, поразительны — не в том, что касается учеников: я это всегда предсказывал, по мне, так они даже слишком медленно стекаются, — а в том, что касается тебя. Сколько для этого нужно самообладания, постоянства, присутствия духа, надежности, истинно рабочего настроения или, говоря высоким слогом, мужества, чтобы пуститься в такие дела, чтобы не бросить их и, преодолевая действительно сильнейший встречный ветер, еще и обратить их в собственную духовную пользу, как ты это фактически делаешь, хотя и пытаешься отговариваться. Так что пусть это будет сказано, даже и я в этом отношении почувствую себя лучше. Теперь тебе осталось научиться только воспринимать крик детей как ликование по поводу успеха этих занятий. К тому же по мере погружения в осень всякие шумы должны исчезать так же, как здесь, где никаких поводов для ликования нет, понемногу запирают гусей, прекращают выезжать в поля, ограничивают кузнечные работы мастерской, а детей все больше держат дома, и только звонкий напев диалекта и лай собак звучат по-прежнему, в то время как перед твоим домом уже давно тишина, и ученицам ничто не мешает смотреть на тебя во все глаза.

Здоровье у тебя, значит, получше (занятна твоя тайная страсть к фурункулам, побеждаемая еще большей — к йоду), у меня — не хуже, при том, что на свой привес, который теперь составляет уже три с половиной килограмма, я смотрю как на нечто нейтральное. Относительно причин болезни я не упрям и, поскольку все-таки располагаю в некотором смысле оригинальными свидетельствами об этом «случае», то и остаюсь при своем мнении, и слышу, как даже то легкое, которое в этом процессе участвует недавно, хрипит прямо-таки подтверждающе.

Для выздоровления прежде всего необходимо — тут ты, естественно, прав — желание выздороветь. У меня оно есть, — есть, правда, если можно это сказать без жеманства, и встречное желание. Это какая-то особая, если хочешь, какая-то заемная болезнь, совершенно не похожая на то, с чем я сталкивался до сих пор. Примерно так же говорит счастливый любовник: «Все прежнее было лишь заблуждениями, только теперь я люблю».

Спасибо за разъяснение на «bis»[11]. Мне подходит только пример «Borge mir, bis wir wieder zusammenkommen»[12], при условии, что он означает «Ты одолжишь мне только тогда, когда мы снова встретимся», а не «Ты одолжишь мне на то время, которое пройдет до нашей следующей встречи»; если просто привести пример, это не ясно.

Насчет книг ты меня не так понял. Мне, в основном, нужно бы почитать оригинальные чешские или оригинальные французские, а не переводы. А серию эту я знаю, они (по крайней мере, раковицовский том{184}) для меня слишком плохо напечатаны: света здесь в моем северном окне несколько не больше, чем в городе. Французских мне, естественно, не перечесать, и если других чешских не найдется, я взял бы что-нибудь в этом же роде, но из научной серии «Лайхтер».

Читаю, в общем, не много; деревенская жизнь очень меня устраивает. Главное — такое чувство, словно все неприятности жизни преодолены и ты живешь в каком-то по новым принципам устроенном зоопарке, в котором зверям предоставлена полная свобода, и потом, нет более покойной и, в особенности, более свободной жизни, чем в деревне, — в духовном смысле свободной, минимально задавленной окружающим и предшествующим миром. И попрошу не путать эту жизнь с жизнью в маленьком городке, которая, по всей вероятности, ужасна. Я хотел бы все время жить здесь, но, видимо, в самое ближайшее время поеду в Прагу, и это будет мне тяжело.

Сердечный привет тебе и жене. Сейчас уже двенадцать, я сижу так часов с трех, четыре дня подряд, что плохо отражается как на моем экстерьере, так и на запасе керосина, который очень мал и может понадобиться для чего-то еще, но уж слишком привлекательно именно это, а не что-то еще.

Франц.

[Цюрау, середина октября 1917 г.].

Дорогой Феликс,

единственно для краткой иллюстрации того впечатления, которое произвели на меня твои лекции, — сегодняшний сон: это было великолепно — то есть не то, как я спал (спал-то я, собственно, очень плохо, как и вообще в последнее время; если я ослабею и профессор заберет меня из Цюрау, — что я буду делать?), и не то, что мне снилось, а твоя деятельность в этом сне.

Мы встретились на улице, я, очевидно, только что приехал в Прагу и очень рад тебя видеть, правда, нахожу тебя каким-то странно худым, нервным и профессорски-вывихнутым (так манерно-расслабленно теребишь ты цепочку своих часов). Ты сообщаем мне, что идешь в университет, где сейчас должен читать лекцию. Я говорю, что с необычайным удовольствием пойду с тобой, но только должен на минутку забежать в контору, перед которой мы как раз стоим (все происходит где-то в конце Длинной улицы напротив большого тамошнего трактира). Ты обещаешь подождать меня, но в мое отсутствие передумываешь и пишешь мне письмо. Как я его получаю, я уже не помню, но я все еще вижу строки этого письма. В нем, помимо прочего, говорится, что лекция начинается в три часа, что ты не можешь больше ждать, потому что среди слушателей будет профессор Зауэр{185}, которого ты не можешь оскорбить опозданием, и что много девушек и женщин придут к тебе в основном из-за него и если не будет его, то не будет и тысяч других. Поэтому ты должен спешить.

Но я, быстро двинувшись вслед, догнал тебя у дверей подъезда. Какая-то девочка, игравшая с мячиком на заброшенном пустыре перед входом, спросила тебя, что ты теперь будешь делать. Ты ответил, что будешь сейчас читать лекцию, и точно указал, о чем именно, назвав двух авторов, сочинения и номера глав. Это было очень научно, я запомнил одного Гесиода. О втором авторе я знаю только то, что это был не Пиндар, а лишь кто-то, похожий на него, но намного менее знаменитый, и я удивлялся, почему ты не взял «хотя бы» Пиндара.

Мы вошли, когда занятия уже начались; по-видимому, это ты их и начал и только вышел на улицу посмотреть, не иду ли я. Наверху, на подиуме, сидела высокая, сильная, зрелая, некрасивая, одетая в черное девушка с темными глазами и носом картошкой и переводила Гесиода. Я совершенно ничего не понимал. Как я теперь вспоминаю — во сне я даже этого не знал, — это была сестра Оскара, только немного стройнее и намного выше ростом.

Я (очевидно, помня твой сон о Цукеркандле{186}) чувствовал себя совершенным писателем, сравнивал свое незнание с чудовищными познаниями этой девушки и не раз говорил себе: «скудно... скудно!»

Профессора Зауэра я не увидел, но дам было много. Во втором ряду передо мной (дамы там расположились удивительно мудро — спиной к подиуму) сидела госпожа Г., у нее были длинные локоны, и она трясла ими; возле нее сидела дама, которая, как ты мне объяснил, была госпожой Хольцнер{187} (но эта была молодая). В ряду перед нами ты показал мне и других таких владетельных учениц с Господской улицы. То есть все такие учились, стало быть, у тебя. В другой части зала я увидел, среди прочих, и Оттлу, с которой незадолго перед этим спорил о твоих лекциях (именно о ее нежелании приходить на них, но вот, значит, она, к моему удовлетворению, все же пришла, причем очень скоро).

Везде говорили о Гесиоде, даже там, где просто болтали. Меня несколько успокоило то, что при нашем появлении выступавшая усмехнулась и, найдя отклик в аудитории, долго еще не могла справиться со своей смешливостью. При этом, правда, она не прекращала правильно переводить и объяснять.

Когда она закончила свой перевод и ты должен был приступить собственно к чтению лекции, я наклонился к тебе, чтобы тоже почитать в твоей книге, но к моему величайшему изумлению увидел, что перед тобой лежит только какой-то грязный, замусоленный рекламный проспект, и, следовательно, греческим оригиналом ты — Боже правый! — «владеешь». Это выражение пришло мне на помощь из твоего последнего письма. Но тут — возможно, потому, что я понял: при таких обстоятельствах следить за тем, как дело пойдет дальше, я уже не смогу — все сделалось менее отчетливым, ты стал немного походить на одного моего давнишнего соученика (которого я, кстати, очень любил, который потом застрелился и который, как мне теперь пришло в голову, тоже имел небольшое сходство с выступавшей ученицей), то есть ты изменился, и началась новая лекция, менее конкретная, — о музыке; ее читал маленький черноволосый краснощекий молодой человек. Он был похож на одного моего дальнего родственника, химика и, по всей видимости, сумасшедшего (показательно для моего отношения к музыке).

Вот такой был этот сон, все еще далеко не достойный твоих лекций; сейчас иду ложиться, чтобы увидеть, может быть, более убедительный сон о них.

Франц.

[Цюрау, середина — конец октября 1917 г.].

Дорогой Феликс,

я не выбираю специально таких дней, чтобы писать тебе, и не всегда они такие, но сегодня я снова в полном упадке, неуклюж, тягелобрюх — и даже хуже, таким я был в разгар дня, а теперь, после общего ужина (Оттла в Праге), пал еще ниже. Ко всему этому я сейчас обнаружил, что после сегодняшней большой уборки, за которую я так благодарил, в стекле лампы снизу образовалась дыра, и даже после того как я закрыл ее деревяшкой, в нее просачивается воздух, и пламя мерцает. Но, может быть, все это как-то располагает к писанию писем.

Деревенская жизнь была и остается прекрасна. Дом Оттлы стоит на рыночной площади, и когда я смотрю в окно, я вижу еще один домишко на другой стороне площади, но за ним — уже чистое поле. Наилучшее место для того, чтобы перевести дыхание — в каком угодно смысле. Что касается меня, то хоть я и продолжаю пыhtеть (во всех смыслах, и менее всего — телесно), но в любом другом месте задохнуться мне было бы проще, каковой процесс, впрочем, может, как мне известно из опыта моей деятельности и бездеятельности, тянуться годами.

Мои связи с людьми здесь так непрочны, словно это вообще уже не земная жизнь. К примеру, встречаю сегодня вечером на темной деревенской улице двоих людей, мужчин ли, женщин или детей — не знаю; они здороваются, я отвечаю; может быть, они узнали меня по очертаниям плаща — я и при свете дня скорей всего не знал бы, кто они, во всяком случае, по голосам я их не узнал (когда люди говорят на диалекте, это, похоже, вообще невозможно). Они уже прошли мимо, но тут один из них поворачивается и кричит: «Господин Герман (так зовут моего зятя, чье имя, таким образом, перешло ко мне), сигареток не имемте?» Я: «К сожалению, нет». И это — всё; слова и ошибки отошедших. Для меня — в том состоянии, в каком я пребываю — ничего лучшего и не может быть.

То, что ты подразумеваешь, говоря о «проникновении» «встречного желания», я, как мне кажется, понимаю; это — из проклятого круга психологических теорий, которых ты не любишь, но на которых ты помешан (и я, очевидно, тоже). Естественные теории неправы так же, как и их психологические сестры. Это, однако, не затрагивает решения вопроса о возможности излечить этот мир, исходя из одной точки.

Лекцию о Шнитцере{188} я бы с удовольствием послушал. То, что ты о нем говоришь, очень верно, но все же таких людей легко недооценить. Он совершенно безыскусен, поэтому замечательно откровенен и поэтому в качестве оратора, писателя, даже мыслителя, то есть там, где у него ничего нет, не то что «несложен», как ты выражаешься, а попросту туп. Но встань напротив него, попробуй окинуть взглядом его — и его воздействие, — попытайся на миг приблизиться к направлению его взгляда, и ты увидишь, что с ним не так просто разделаться.

Моя книга действительно могла бы быть интересна, я тоже хотел бы ее прочесть — она стоит где-то на небесных стеллажах. Но чтобы ее преподносили в дар на 77-летие какой-то 77-летней старухи (разве что ее правнук: «Я маленький, и подарок мой маленький...»), чтобы от этого вскипела кровь рода Клемансо, чтобы гофрат{189} пришел к какому-то окончательному решению, но подняв указующего перста (какое-то обстоятельство, кстати, с несомненностью доказывает, сколь глубокое презрение он питает ко всему этому делу) — все это уже

слишком, это ошибка. К гофрату я всегда питал особое уважение, и не потому что я, сколько помнится, очень бледно из него выглядел, а потому, что он, в отличие от других, которые вечно давили на подиум всем весом своей обстоятельности, являл нам лишь чистый, пятью штрихами очерчиваемый контур, то есть, должно быть, скрывал свои глубинные намерения, и перед ними некоторым образом преклонялись.

Три курса? А разве на пол ставки в неделю для них вообще хватит времени? Это слишком много, ведь этого почти хватило бы, чтобы целиком заполнить жизнь преподавателя гимназии. Что думает об этом Макс?

Предложение о чтениях, которое ты сделал старшим школяркам, было, возможно, несколько непедагогичным, то есть попросту пугающим, вот они со всей своей девичьей энергией и сплюснули твою прежде гигантскую фигуру до масштабов «Молодой Германии»{190}, которая и тебе вовсе не так чужда, как ты вынужденно жалуешься. Кстати, со следующего месяца начинает выходить журнал «Молодая Германия», издание Немецкого театра, редактор Корнфельд{191}.

А «Дер Менш»{192}? Хотя объявление несколько косматое и взъерошенное, но тем не менее, может быть, и неплохое дело. Ты о нем совсем не упоминаешь.

Большой привет тебе и жене.

Франц.

[Приписка на полях:] Не дай Вольфу тебя отпугнуть, его рисовка вынужденная. Каких только шишек на него не валится! Он просто не в состоянии различить их.

[Цюрау, начало ноября 1917 г.].

Дорогой Феликс,

если бы я был тогда в театре, ты определенно должен был бы пойти со мной и, я думаю, получил бы достаточное представление о Цюрау. Но на следующее утро у меня еще были кое-какие дела, потом зашел к Макс, а ты свое истинное лицо там не показывал, и возможности поговорить по-настоящему не было; отправленная накануне телеграмма не позволяла мне задерживаться, внимание мое слишком концентрировалось на обломанном дантистом зубе, да и решимости у меня в Праге не прибавилось, так все это и осталось, и я уехал один. Цюрау меня по-прежнему не разочаровало. Сейчас, правда, не самый подходящий момент, чтобы хвалить его так, как того требует объективность, поскольку я несколько подпортил себе желудок; днем в какое-то до сих пор не установленное время в доме вдруг возникает шум и мешает (с несомненно разумным умыслом) надлежащей ревизии моего содержимого. Я ведь с самого начала привез с собой в эту местность из Праги много дряни и вынужден постоянно это учитывать. Сельскохозяйственное, в известном смысле, мышление здесь всегда будет полезно.

Резкую противоположность здешней жизни составляет твоя домашняя жизнь, поэтому я временами думаю о ней. Она меня ошеломила. Уже твое прежнее жилище было роскошно, но в этом просто чувствуешь тепло гнезда. Какой же, однако, независимостью духа должен ты обладать и как тщательно должен он быть уравновешен, если ты не только без ущерба переносишь это (что я, судя по всему, должен признать), но еще и можешь существовать в этом без всякого внутреннего уединения, принимаешь это — пусть не как свою собственную, но — как дружественную стихию. Видимо, Макс все же прав, ставя тебя на такую высоту, с которой ты видишь только вершины, но уже не замечаешь фундамента этого величественного подобия руин. И все же хочется высказать какое-то предостережение — и не можешь сделать это с полной убежденностью, и остаешься в состоянии отвратительной неопределенности.

Моя поездка в Прагу, кроме прочего, лишила меня половины твоего письма. В порядке возмещения прошу только две вещи; вкратце: с чем связана нерешительность в отношении того развития, которое со временем получит твоя этика, и второе: что с лекциями (Молодая Германия), они ведь тоже — искушения наполовину побежденных демонов твоей жизни.

[Приписка на полях:] Ты сейчас, наверное, часто ходишь на лекции в «Уранию»{193}? От Вольфа ничего?

[Цюрау, середина ноября 1917 г.]

Дорогой Феликс,

вот первый крупный недостаток Цюрау: мышьяная ночь. Жуткое переживание. Ну, меня самого не тронули, и седины в волосах у меня наутро не прибавилось, но все же это был сам ужас мира. Уже и раньше время от времени — мне приходится поминутно отвлекаться от письма, причину узнаешь позже, — время от времени я слышал в ночи нежный грызущий звук, однажды я даже встал, дрожа, и посмотрел, но он тут же прекратился, однако на сей раз это был просто какой-то бунт. Что за ужасный, тихо шумящий народец! Около двух часов меня разбудил шорох возле моей кровати, и с этого момента он не прекращался до самого утра. По угольному ящику вверх, с угольного ящика вниз, через комнату по диагонали, по комнате кругами, дерево грызут, в тишине тихонько свистят, и при этом постоянное ощущение покоя и тайной работы придавленного, пролетарского народа, которому принадлежит ночь. Чтобы мысленно спастись, я локализовал основной шум у печи, отделив его от себя пространством комнаты, но он был везде; хуже всего было, когда где-то откуда-нибудь спрыгивала одновременно целая куча. Я был совершенно беспомощен, нигде во всем моем существе я не находил опоры; встать и зажечь свет я не решался, единственное, что я попытался сделать, это несколько раз крикнуть, чтобы испугать их. Так прошла ночь; утром от омерзения и тоски я не мог встать и до часу оставался в кровати, напрягая слух, чтобы услышать, как одна какая-то неутомимая все утро заканчивала в ящике ночную работу или подготавливала завтрашнюю. Теперь я взял себе в комнату кошку, которую я с давних пор втайне ненавижу, и вынужден раз за разом отгонять ее, когда она собирается вспрыгнуть ко мне на колени (вот что отвлекает от письма); когда она гадит, мне приходится вызывать девушку с первого этажа, а когда она (кошка) ведет себя хорошо, она ложится у печки, в то время как у окна недвусмысленно скребется какая-нибудь преждевременно проснувшаяся мышшь. Все для меня сегодня испорчено, даже славный дух и вкус парного домашнего хлеба кажется мышьяным.

Вообще, какая-то неуверенность у меня была еще вчера, когда я ложился. Хотел тебе написать, даже написал две страницы другого письма, но это не пошло, не смог серьезно подойти к делу. Может быть, еще и потому, что ты в начале своего письма так несерьезно о себе говоришь, смехаясь над собой там, где это совершенно невозможно. С такой якобы легкомысленной совестью ты бы наверняка так не состарился, я имею в виду — при прочих равных условиях. И не могу я быть таким, чтобы рядом с «твердой, как скала, верой» уживались «легкомысленные теории», которые ее в принципе устраняют, а рядом с ними — «отточенная мысль», которая, в свою очередь, устраняет их, так что в конечном счете только эта «отточенная мысль» и остается или, вернее, даже ее не остается, поскольку она не может одна воспарить из самой себя. Так что подобным образом ты был бы совершенно счастливо устранен, но, к большому счастью, ты все-таки существуешь, и это прекрасно. Но тебе следовало бы по этому поводу удивляться, восхищаясь этим как духовным завоеванием, то есть солидаризироваться со мной и Максом.

И в остальном ты тоже, вообще говоря, не прав. (Поразительно: она что-то услышала и отважилась прыгнуть в темноту за ящик! Теперь сидит у ящика и стережет. Какое облегчение для меня!) Поверь обладателю крысиной норы, что твоя квартира роскошна, и мешает в ней (не говоря о прочем, что тебе как раз, удивительным образом, не мешает) то, что «избыток пространства» порождает «недостаток времени». Твое время как раз там и лежит — например, как ковер в прихожей. И пусть лежит, оно прекрасно как ковер, оно хорошо как домашний покой, но будущее время должно остаться для тебя и для всех непретворенным.

Как я теперь вижу, мой вопрос об этике был, собственно говоря, просьбой о письменных лекциях, это чудовищно, и я беру его назад. Правда, я тогда уже не знаю, как быть с твоим замечанием о вере и милости и о расхождениях с Максом и даже со мной.

Здоровье мое вполне прилично, в предположении, что мышечная боязнь не является симптомом туберкулеза.

Еще интересная подробность военной программы нашего союза на 1918 год: окончание срока моего освобождения — 1. 1. 1918. Тут Гинденбург немножко опоздал.

Сердечный привет тебе и твоей супруге (у которой я со времени той истории с сумкой, к сожалению, больше ничего не забывал){194}.

Франц.

[Цюрау, начало декабря 1917 г.].

Дорогой Феликс,

Макс уже сообщил Оттле, что у тебя все хорошо, и твое письмо, даже помимо твоей воли, это подтверждает. Какая работа! По три-четыре книги каждый день, даже если одни и те же! Удивляет, естественно, не это количество само по себе, а напряженность поиска, в нем выражающаяся. Я тоже читал, правда, сравнительно мало, почти ничтожно мало, но я способен выдерживать только такие книги, которые по характеру мне очень близки, — так близки, что задевают за живое, все же остальное проходит мимо меня походным маршем, а искать я плохо умею.

Если бы ты мог указать мне хорошо отпечатанное и доступное издание «Исповеди» Августина (ведь, кажется, так называется его книга), я бы с удовольствием заказал. Кто такой Пелагий?{195} Я уже столько читал о пелагианстве, а ни малейшего понятия; наверное, что-нибудь католическо-еретическое? Если ты читаешь Маймонида, то, возможно, найдешь что-то полезное в «Жизнеописании Соломона Маймона» (Фромер, издание Георга Мюллера{196}), да и сама по себе книга хорошая, в высшей степени яркий автопортрет человека, мечущегося, словно призрак, между восточным и западным иудаизмом. И к тому же еще очерк учения Маймонида, в котором Маймон видит своего духовного отца. Но, по всей вероятности, ты знаешь эту книгу лучше меня.

Тебя удивляет, что ты дошел до религии? Ты исходно строил свою этику — по-моему, это единственное, что я определенно о ней знаю — без фундамента, и вот теперь ты, возможно, замечаешь, что она все-таки имеет фундамент. Разве это так уж странно?

От мышей я избавился с помощью кошки, но как мне избавиться от кошки? Ты полагаешь, что ничего не имел бы против мышей? Ну, разумеется, ты ничего не имеешь и против людоедов, но если бы они ночью выползали из-под всех ящиков и скрежетали зубами, то уже и ты бы наверняка не смог их терпеть. Кстати, я тоже теперь во время прогулок стараюсь закалять себя наблюдением за полевыми мышами; да, они не вызывают отвращения, но комната — не поле и сон — не прогулка.

Фанфар, конечно, здесь уже нет — и твои тоже отгремели, — а дети, которые всегда роскошно шумели и тем не менее никогда всерьез мне не мешали, с тех пор, как замерз утиный пруд, стали тихими и милыми (на расстоянии в сто шагов).

Есть просьба: дочь одного богатого — может быть, самого богатого — здешнего крестьянина, чрезвычайно милая девушка лет восемнадцати, хочет три месяца пожить в Праге. Цель: изучение чешского, продолжение занятий на фортепьяно, школа домашнего хозяйства и — по-видимому, главная цель — достижение чего-то более высокого, не поддающегося точному описанию; в здешнем ее положении есть нечто безысходное, ибо вследствие своего состояния и монастырского воспитания она, с одной стороны, не имеет равных себе подруг, а с другой, не знает, где ее настоящее место. В таких обстоятельствах и самая что ни на есть христианская девушка может стать не столь уж непохожей на еврейку. Впрочем, все это я говорю на основании лишь внешнего впечатления, в моих собственных разговорах с ней едва ли было пять десятков слов.

Твоего совета в этом деле я прошу потому, что сам не могу его дать, и потому, что ты знаком со многими чехами, которые девушку с состоянием, исключаящим голод, может быть, с удовольствием готовы будут принять в семью и к тому же действительно смогут помочь ей в достижении того, чего она хочет. Но совет нужно дать в ближайшее время.

Призыв меня мало заботит, к тому же наверняка что-нибудь излишнее предприняло и мое Общество. Больше

— может быть, не забот, но — поводов для размышлений доставляют мне как раз мои отношения с Обществом; в самое ближайшее время с этим все-таки придется что-то решать. Собственно, если бы все шло так, как предсказывал профессор, я бы уже сидел в

конторе.

С сердечным приветом

Франц.

[Цюрау, середина декабря 1917 г.].

Дорогой Феликс!

Если бы ты приехал! Ибо заметь, что в твое распоряжение будет предоставлено все без исключения, что я представляю и что имею в Цюрау (в качестве прибежища — не в качестве цели: ни я, ни Цюрау — не цель), весь экипаж — и муж, и мышь.

Я, вообще говоря, не думаю, что такое раздражение необходимо для работы, а требуемое для работы стремление найти прибежище обусловлено уже всеобщим древним реберным чудом и проистекающим из него изгнанием.

Я не поверил бы, что девушке так трудно найти свое место, эта трудность, очевидно, — часть ее проклятия (которое она, впрочем — чтобы у тебя не сложилось об этом неверного представления, — несет очень мужественно). Может быть, мы найдем что-нибудь вместе, так как, скорее всего, я уже послезавтра приеду в Прагу. Если бы это от меня зависело, я поехал бы попозже, но приезжает Ф.

Франц.

Соглашение с Вольфом меня очень радует.

[Открытка. Цюрау, начало января 1918 г.].

Дорогой Феликс,

сон при 6–8 градусах мороза и открытом окне, раннее умывание — после того как в кувшине пробита ледяная корка, а в тазу образовалась новая — естественно, раздевшись догола, восемь таких дней и все еще никакого насморка, тогда как перед этим, денно и ночью — затяжная изжога, превратившаяся в привычку, — все это ты теперь должен за мной повторить. И это в самом деле великолепно, ради этого можно даже бросить на восемь дней библиотеку. При встрече я вам еще и не такое расскажу. Сердечнейший привет Оскару. И пианино есть, фрау Ирма!

С подлинным верно

хозяин санатория и главбольшой

Франц.

[Цюрау, январь 1918 г.].

Дорогой Феликс,

надеюсь, дело завершилось благополучно. В твоём кабинете я сильно загрустил, так как тебя уже не было, а я прибежал к тебе больным и совершенно выдохшимся как раз в надежде, что ты меня оживишь. К тому же еще некий суровый господин довольно строго ко мне отнесся. Но если дело сделалось, то, надо надеяться, оно стоит того, чтобы преодолевать противодействия.

Здесь, разумеется, можно было бы делать куда более значительные дела, правда, без личного присутствия это едва ли получится. Не смог бы ты для этой цели приехать сюда на несколько дней? Места хватит. Моя сестра, которая недавно тебя видела, находит, что ты неважно выглядишь. Может быть, и с этим за несколько дней стало бы лучше. Приглашение, естественно, относится и к твоей супруге; правда, я пока не вижу подходящего места, чтобы ее разместить, но, наверное, найдется. Итак?

С сердечным приветом

Франц.

Как дела у Роберта Вельча?

[Цюрау, начало февраля 1918 г.].

Дорогой Феликс,

большое тебе спасибо и Фюрту{197}, конечно, тоже. Так — очень хорошо. Дело сладится, как сладилось бы и без всякой посторонней помощи; я вызвался помочь, определенно заявив, что очень слабо в эту помощь верю, повторю это и потом, и все же какой-то фальшивый нимб благодетеля остался бы надо мной даже в том случае, если бы ничего не вышло. Откуда идет эта фальшь?

То, что я не услышу твоих лекций, для меня потеря, и тем большая, что ты, очевидно, выскажешь самое важное. Не мог бы ты как-нибудь дать мне возможность приобщиться? Нет ли у тебя, например, к первой лекции «Литература и религия» какого-нибудь читабельного наброска или конспекта?

Твои на основании открытки сделанные замечания о Цюрау справедливы. С временем суток и временами года здесь все в порядке, и благо тебе, если ты можешь к ним приспособиться. Некоторое значение имеет и церковь. Недавно посетил проповедь, она была

деловито-простодушна, из обсуждавшихся библейских текстов (Лука 2,41–52) были извлечены три заявления: 1) родители не должны оставлять своих детей играть на улице в снегу, а должны вести их с собой в церковь (посмотрите, пустые скамьи!); 2) родители должны заботиться о своих детях, как родители в Святом семействе заботились о своих (это при том, что именно о ребенке Иисусе никакой заботы проявлять, собственно, не требовалось); 3) дети должны разговаривать со своими родителями так же почтительно, как Иисус со своими. На чем и закончили, так как было очень холодно, но во всем этом тем не менее еще чувствовалась какая-то последняя сила. Или вот вчера, например, были похороны; хоронили какого-то бедняка из соседней деревни, которая еще беднее, чем Цюрау, но все было очень торжественно, да и не могло быть иначе на большой заснеженной рыночной площади. Из-за пересекающей половину площади канавы катафалк не мог подъехать прямо к церкви, а должен был сделать большой крюк вокруг утиног пруда. Пришедшие проститься, то есть вся соседняя деревня, давно уже стояли у дверей церкви, а катафалк все еще совершал свой объезд; перед ним — маленький, смерзшийся, словно каким-то духовым инструментом обвитый оркестр, за ним — пожарная команда (в ее составе и наш управляющий); рабочие лошади шли спокойным шагом. А я лежал у своего окна в шезлонге и наблюдал за этим поучительным зрелищем именно как человек, живущий по соседству с кирхой.

Сердечный привет и удачных тебе лекций.

Франц.

[Цюрау, начало февраля 1918 г.].

Дорогой Феликс,

да, у меня много времени, здесь ты прав, но это, собственно, не то свободное время, в которое я могу свободно делать, что захочу. Если ты так думаешь, ты меня переоцениваешь. Дни пролетают очень быстро, а если в какой-нибудь день — такие бывают — покажется, что ты потерял всё, чего достиг, потратив все предшествующие, такой день пролетает еще быстрее. Впрочем, ты знаешь это не хуже меня, это можно преодолеть, однако свободного времени остается не много.

Ты, естественно, теперь занят сверх меры, я понимаю это лучше, чем ты; еженедельно не под защитой какой-то должности, а в одиночку, на свой страх и риск выступать перед людьми, которые настоятельно требуют, чтобы ты сообщил им что-то существенное, — и которые, как ты сам считаешь, имеют на это все права,

— это нечто очень большое, нечто почти духовное. Я настолько под впечатлением от этого, что опять видел это во сне. Правда, содержание твоего выступления было какое-то ботаническое (расскажи об этом профессору Краусу{198}), ты показывал аудитории какие-то похожие на одуванчики цветы или, скорее, несколько видов таких цветов; это были большие одиночные экземпляры, один под другим, от подиума до потолка, и ты демонстрировал их публике; я не понимал, как ты ухитряешься делать это, пользуясь только двумя своими руками. Потом откуда-то сзади (там как раз были люди в масках, какой-то печальный дурной ритуал, повторяющийся несколько раз почти каждый вечер, какая-то проверка, которой тебя подвергают, так как эти маски молчат, чтобы не выдать себя, расхаживают по комнате как хозяйева, и их надо развлекать и ублажать) или, может быть, из самих цветов исходит свет, и они начинают сиять. В публике я тоже что-то заметил, но забыл что.

О существенном, о самих лекциях ты вообще не упоминаешь, а я ведь как раз об этом и просил рассказать; по всей видимости, сейчас это невозможно, но когда-нибудь потом, когда ты их отчитаешь, ты вышлешь мне

полную рукопись. Если же ты и раньше можешь сделать что-либо подобное, — сделай.

Того, что я должен вбить Оскару в голову, у него там более чем достаточно, бедняга уже привозил все это с собой в Цюрау. Очень бы хотелось узнать, как у него; впрочем, я, по возможности, уже на следующей неделе приеду в Прагу (по военным делам, если уж придется). От Макса получил недавно ошеломляюще спокойное письмо.

Сын моего старшего инспектора с горем пополам сдал. Благодарность я, правда, получил, но, кажется, осталось незамеченным кое-что необычное. Юноша очень опечален исходом дела и утешает себя тем, что его отправляют отсюда только потому, что он был одним из последних.

В настоящий момент нахожу себя совершенно здоровым, если не считать не желающего заживать большого пальца, который я ободрал, копая в саду. Я слаб, в работе не могу угнаться за самой маленькой крестьянской девчонкой. Так, правда, было и раньше, но перед лицом полей — позорнее; печально это еще и потому, что убивает всякое желание заниматься чем-либо подобным. Вот таким кружным путем я вновь возвращаюсь к прежнему: предпочитаю сидеть в кресле у окна и читать — или даже не читать.

С сердечным приветом

Франц.

[Цюрау, май — июнь 1918 г.].

Дорогой Феликс,

в видах возобновления словообмена мой тебе последний привет из Цюрау, следующий — в Праге. Перед тобой мне извиняться не нужно, ты наверняка понимаешь мое молчание, по крайней мере, имеешь на сей счет догадки, а точнее и я его не понимаю. Мне не о чем было писать — говорить, впрочем, тоже. Много думал о тебе, и не только в связи с «миром» и «Рундшау»{199}.

До встречи!

Франц.

[Открытка (с видом Румбурга), по-видимому, осень 1918 г.].

Вот польза от этого лета, Феликс: никогда больше не поеду в санаторий. Теперь, когда я действительно начинаю заболевать, я уже больше в санаторий не поеду. Все — наоборот. Твоя сестра сегодня уехала, я хотел проводить ее на дороге с цветами, но, слишком задержавшись у садовника, пропустил карету и имею теперь возможность украсить мою комнату цветами.

Сердечный привет тебе и жене.

Франц.

[Турнау, сентябрь 1918 г.].

Дорогой Феликс,

вот самые первые результаты переговоров с одной весьма рассудительной молодой домохозяйкой, равно как и собственных изысканий: во всей округе едва ли можно что-то отыскать, так как лесные пансионаты уже закрываются, если еще не закрылись, или вообще не открывались. И потом, даже если произойдет нечто совершенно невероятное и удастся там устроиться (что возможно только при очень близких личных отношениях), поздней осенью или зимой твоя сестра будет себя чувствовать там очень одиноко. Кроме того, в этих пансионатах тоже должны испытывать большую нужду (особенно в угле), тогда как в самом Турнау все-таки что-то еще находится.

Эти соображения приводят к моему пансионату, о котором я сразу же вспомнил, и та фрейлейн меня по крайней мере не отговаривала. Его преимущества: хорошее обслуживание, отменная чистота и, по моему мнению, отличная кухня. Недостатки — но не только этого пансионата: исключительно мясной стол (правда, еды вволю, сколько хочешь) и яйца, что-то другое — в редчайших случаях, даже овощей не дают.

Я предпринимал самые разнообразные попытки достать хоть сколько-нибудь молока и масла, но мне это до сих пор так и не удалось, несмотря на предложение хорошего мыла и сигарет. Правда, женщины в этом отношении сообразительнее. Хлеб, который дает община, очень плох и будет еще хуже, я его вообще не переносу.

Леса очень красивы, ни в чем не уступят мариенбадским, повсюду прекрасные, вселяющие бодрость ландшафты.

Еще одно преимущество Турнау: отличные яблоки и груши. Твоя сестра, я полагаю, не очень хорошо говорит по-чешски, это, конечно, немного затруднит пребывание здесь, но — не в гостинице, где много постояльцев из Северной Богемии; здесь получают «Рейхенбергер Цайтунг», «Прагер Тагблатт», «Цайт», подают меню на немецком.

Цены (естественно, только на данный момент): комната — 3 кроны, говядина с соусом и картофелем — 4.50, кнели из жареной свинины с зеленью — 11 крон, жаркое из телятины — 7–9 крон, сливовые кнели (большая редкость) — 4 кроны, яичница с картофелем — 6 крон и т. п.

Возможно, для живущих более продолжительное время устанавливают особые цены, мне в первый день хозяин в этом отказал (под громкие восклицания и смех), но мы уже помирились.

Вот пока и все, но я продолжаю осматриваться.

С сердечным приветом

Франц.

[На отдельном листке:] Дорогой Феликс, одно добавление: в Кацанове под Турнау есть один отель-пансионат, который, как ни удивительно, расклеил здесь плакаты, в коих просит публику оказать честь и т. д. Сегодня днем я там побывал; от Турнау — час езды, красивый, просторный дом в окружении лугов и лесистых холмов, даже не слишком в низине, окна — на юг.

Там новый арендатор, человек, с которым можно разговаривать, и явно целеустремленный, но, кажется, кроме расклейки плакатов, ничего значительного пока не сделавший; дом производит впечатление заброшенного, не кормят, подают только выпивку. Он объясняет это тем, что туда пока не приехала его жена, она еще остается в их прежнем заведении, но через две недели приедет, тогда он сможет более точно сказать и о питании, и о ценах, но уже сейчас утверждает, что принять твою сестру он тогда сможет. Ясно, что это дело очень ненадежное и еще должно быть точно проверено.

Более подробные сведения о Турнау получишь устно, я ведь, собственно, еще и не знаю, как у твоей сестры дела. В субботу или в воскресенье я — уже в Праге. Может быть, в воскресенье вечером зайду к тебе или ты приходи в понедельник ко мне в контору. С сердечным приветом

Франц.

[Весна 1920 г.]

Дорогой Феликс,

спасибо за терпение, но прошлую неделю я был как-то совсем по-особому рассеян, к тому же хотелось сделать тщательно{200}, то есть прочесть дважды, поэтому ушло много времени.

Мелкие поправки, не вызывавшие у меня сомнений, я делал прямо в гранках, но эти исправления ты, естественно, должен еще

просмотреть, что же касается печаток, то, я думаю, едва ли мог какую-то пропустить. Прочие мелкие вопросы и предложения смотри на прилагаемом листе. Соответствующие места в гранках отмечены на полях.

Но все это лишь мелочи, с более серьезными вопросами я не отваживаюсь подступать ни к тебе, ни к предмету. В качестве учительной книги — а она такова в значительно большей мере, чем я думал — она много для меня значит и будет много значить в будущем.

Когда придут новые корректуры, не забудь, пожалуйста, обо мне.

Твой Франц.

[Прилагается лист, на котором около сорока поправок (предложений и вопросов).]

[Меран, 10 апреля 1920 г.]

Максу Броду и Феликсу Вельчу.

Дорогой Макс,

это мой первый вечер в новой комнате, она, кажется, вполне хороша; мучения поисков, принятия решения и, в особенности, прощания со старой комнатой (она представляется тебе единственной надежной опорой, и ее выбивают из-под тебя какие-то несколько лир и прочие мелочи, которые, с другой стороны, опять становятся важны, но только в более надежных жизненных обстоятельствах), — все эти мучения новая комната, естественно, не может компенсировать, да этого и не нужно, они минуют, а их первопричина остается и цветет более пышным цветом, чем вся здешняя тропическая растительность.

Я пишу на балконе, сейчас полвосьмого вечера (летнее время), тем не менее довольно свежо, балкон нависает над садом, немного даже слишком низко, я предпочел бы повыше (но поди найди такой балкон, когда на него не менее тысячи претендентов), однако никаких практических недостатков в этом нет, ибо солнце ярко светит мне сюда до шести вечера, зелень вокруг прелестна, и меня навещают птицы и ящерицы.

До сих пор я жил в одной из лучших гостиниц, возможно, вообще в лучшей, так как прочие того же класса закрыты. Постояльцами были знатные итальянцы, кроме них несколько пришельцев, прочие, в основном, евреи, часть их — крещеные (но какие же отталкивающие еврейские силы могут переполнять крещеных евреев! это сглаживается только в христианских детях христианских матерей). Там был, к примеру, один турецко-еврейский торговец коврами — я обменялся с ним парой слов, которые я знаю на иврите — совершенный турок по фигуре, неподвижности и спокойствию, закадычный друг главного константинопольского раввина (которого он, как ни странно, считал сионистом). Затем, один пражский еврей, который до краха был (конфиденциально) членом как «Немецкого дома», так и «Городской беседы»{201}, а теперь только по большой протекции добился увольнения из офицерского клуба [зачеркнуто так, что нет никакой возможности прочесть] и немедленно перевел сына в чешское реальное училище, «он теперь не будет знать ни немецкого, ни чешского, он будет лаять». А выбирал он «по конфессиональному принципу», разумеется. Но все это его ничуть не характеризует и даже отдаленно не затрагивает его жизненного нерва; это добрый, живой, остроумный, способный увлекаться старый господин.

Общество в моем теперешнем пансионе (я нашел его неожиданно; после долгих безуспешных поисков позвонил случайно в дверь, не обратив, как я теперь вспоминаю, внимания на полученное незадолго до того предостережение, когда одна вышедшая из себя прихожанка кирхи — а был пасхальный понедельник — прокричала на улице: «Лютер — черт!»), так вот, общество — исключительно немецко-христианское; выделяются: несколько старых дам, далее, один бывший — или нынешний, это ведь одно и то же — генерал и один такой же полковник, оба — умные, симпатичные люди. Я попросил, чтобы в общей столовой мне сервировали на отдельном столике, я видел, что и другим так сервируют, к тому же так вегетарианское меньше бросается в глаза, а главное, можно лучше пережевывать, да и вообще надежнее. Правда, это и комично, в особенности, когда выяснилось, что, строго говоря, я — единственный, сидящий отдельно. Я позднее обратил на это внимание хозяйки, но она успокоила меня, к тому же знала что-то о пользе длительного пережевывания пищи и желала мне поправиться. Но сегодня, когда я вошел в столовую, этот полковник (генерала еще не было) так сердечно пригласил меня к общему столу, что я вынужден был уступить. Ну, дело шло своим чередом. С первых же слов выяснилось, что я из Праги; оба, и генерал (напротив которого я сидел), и полковник, знали Прагу. Я чех? Нет. Изволь, объявляй прямо в эти верные немецкие военные глаза, кто ты, собственно, такой. Кто-то сказал: «Немецкая Богемия», кто-то другой: «Мала-Страна»{202}. После этого тему оставили и продолжили трапезу, но генерал с его чутким, филологически натренированным в австрийской армии слухом, остался неудовлетворен и после еды вновь начал выражать сомнения относительно звучания моей немецкой речи, впрочем, может быть, глаза сомневались больше, чем уши. Теперь я мог попробовать объявить о своем еврействе. В качестве исследователя он был удовлетворен, в качестве человека — нет. В тот же момент — надо полагать, случайно, так как все не могли слышать этот разговор, но, возможно, все же в какой-то связи с ним — все общество поднялось, собираясь уходить (вчера, по крайней мере, они долго поддерживали компанию, я это слышал, так как моя дверь — у самых границ столовой). Генерал тоже был очень беспокоен, однако из вежливости довел небольшой разговор до какого-то подобия конца, прежде чем поспешить прочь большими шагами. По-человечески меня это, разумеется, тоже не слишком обрадовало: с какой стати мне их мучить? но, вообще, это хорошее разрешение, я снова буду один без этого комического уединения, — в предположении, что они не надумают принять какие-то меры. Но пока что я выпью молока и пойду спать. Будь здоров!

Твой Франц.

Дорогой Феликс, мои маленькие новости предназначены также и для тебя. Что касается солнца, то я никогда не думал, что здесь всегда ясно и солнечно, и это-таки не так; за все время — сейчас вечер четверга — я насчитал полтора солнечных дня, и то прохладных (правда, это было исключительно приятно), а в остальные — дождь и чуть ли не холода. Да и можно ли было ожидать чего-то другого так близко от Праги? тут только растительность обманывает: в такое время, когда в Праге почти что лужи замерзают, здесь под моим балконом медленно распускаются цветы.

Всего наилучшего! Приветы женщинам и Оскару.

Твой Франц.

Послушай, не сможешь ли ты прислать мне «Зельбствер»?{203} (Номер с твоей чудо-статьей я уже прочел.)

[Меран, апрель — май 1920 г.].

Дорогой Феликс,

спасибо за открытку и «Зельбствер». Газеты мне в самом деле недоставало уже как некой весточки от тебя, о том же, что ты и сам мне напишешь, я даже не помышлял; напряженность твоей работы и, в особенности, твоя воля к ней и в ней для меня просто непостижимы. И с какой продуманностью, с каким спокойствием и верностью себе ведешь ты все дело. Твоих личных болячек, о которых ты упоминаешь в открытке, не заметно ни в малейшей степени — я искал между строк; чтобы так вести газету, надо уже при жизни достичь просветления. И это еще при том, что искусство политики я почти не способен оценить.

Недавно у одного здешнего пекаря, Хольцгетана, увидел на прилавке несколько номеров «Зельбствера»: какой-то молодой человек брал их на время у хозяйки; говорили о газетах вообще, и у меня не было возможности вмешаться. Но во всяком случае, я был чрезвычайно удивлен и хотел сразу же сообщить тебе это интересное наблюдение о распространении «Зельбствера». К сожалению, я упустил момент, а сегодня уже слишком поздно, так как я узнал, что это были мои газеты, которые я дал почитать врачу, пражскому сионисту (до этого я отдаживал их еще одной старой даме из Праги), а он оставил их у пекаря и назад уже не получил. Хотел на днях прислать тебе номер местного католического листка с передовицей о сионизме, но она показалась мне слишком скучной. Это было обсуждение вышедшей в Вене книги Вихтля{204} о сионизме и масонстве. Сионизм, как утверждалось, это созданное из масонства и уже частично перешедшее в большевизм изобретение, имеющее целью разрушение всего существующего и достижение еврейского мирового господства. Решено все это было на первом Базельском конгрессе, на котором хоть и занимались разными на первый взгляд смешными вещами, но на самом деле обсуждали исключительно средства достижения мирового господства. К счастью, экземпляр этих секретных протоколов{205} был выкраден и опубликован великим русским ученым Нилусом (забавно: передовица особо отмечала, что «он действительно существовал и был великим русским ученым»). Цитировались отдельные места из этих протоколов «Сионских мудрецов», как себя называли сами участники конгресса; эти места были так же глупы и одновременно так же ужасны, как и сама передовица.

Твое известие о Лангере, которому я передаю огромную благодарность; меня очень обрадовало; знаю, что это в значительной мере детская радость, но мне за нее не стыдно. Ребенок во мне, очевидно, не успокоился и карабкается вверх по лестнице лет, зарабатывая головокружение. Мои здешние дела хороши, когда не мучает бессонница, но она у меня очень частая и очень свирепая гостья. Может, виноват горный воздух, может — что-то еще. Верно: я не очень люблю жить ни в горах, ни у моря, для меня это нечто слишком героическое. Но это все-таки только шутка, а бессонница — это серьезно. Тем не менее я останусь здесь еще на пару недель — или перееду поближе к Больцано.

Сердечный привет Макс, Оскару и женам, а также твоим родителям и брату. Не приближается ли великий момент? Всего наилучшего этой храброй женщине.

Твой Франц.

[Открытка. Меран; штемпель: 12. 6. 1920].

Дорогой Феликс,

огромное спасибо, нет, я не читал «Вельтбюне»{206}, если можешь, сохрани для меня, пожалуйста. А «Зельбствер» опять не пришла; после той первой посылки, за которую я тебя уже поблагодарил, больше ничего не было. И именно теперь, когда, судя по газетным сообщениям, в Палестину хлынули бедуины, и, может быть, даже тот маленький рабочий столик переплетчика{207}, стоявший в углу, разломан.

Сердечный привет тебе и жене.

Твой Франц.

И Оскару, пожалуйста, передай привет. Приеду в конце месяца.

[Матлиари; штемпель: 5. 6. 1921].

Дорогой Феликс,

пожалуйста, не надо о «стене молчания», — ничего подобного: я пишу Макс, значит, и тебе; Макс пишет мне, а ты мне посылаешь «Зельбствер», значит, пишешь и ты. Мне очень жаль, что тебе... — я решительно не могу написать это слово, — но в твоих статьях ничего такого нет и в помине, значит, и в твоих мыслях — тоже.

Настоящим уведомляю, что «Зельбствер» приобрела здесь одного нового подписчика, коим стал местный врач д-р Леопольд Штрелингер (адрес: Татранске Матлиари П. Татранска Ломница), так что прошу со следующего номера высылать ему. Я для этого ничего не сделал, кроме того что дан ему почитать несколько номеров. Он пришел в восторг, очень меня удивив, ибо вообще-то, как мне казалось, занят совсем другими вещами.

Сердечный привет тебе, жене и ребенку.

Твой Ф.

[Открытка. Плана, конец июня 1922 г.].

Дорогой Феликс,

я не ошибаюсь, ты уже в Шелезене? Ты же, по-моему, говорил, что июль у тебя рабочий месяц. Так пусть он будет замечательно рабочим! Я тогда просто не мог с тобой расстаться, к тому же я в театре сделал глупость, одолжив тебе программку, чем достиг двойного результата: во-первых, мной ты больше не интересовался, а во-вторых, программку я назад уже не получил. Но прелестный был вечер, правда? В конечном счете вещь все-таки еще лучше, чем было исполнение, да? К примеру, эта сцена: на улице звенят бубенцы саней, Хлестаков, быстро покоривший сердца еще двух дам и за этим занятием почти забывший об отъезде, опоминается и выбегает с обеими женщинами в дверь. Эта сцена — словно какая-то приманка, брошенная евреям. Потому что евреям невозможно представить эту сцену без сентиментальности, — даже пересказывать ее без сентиментальности невозможно. Когда я говорю «на улице звенят бубенцы», это сентиментально, — и рецензия Макса{208} была сентиментальна, но в самой пьесе этого нет и в помине.

Мне здесь терпимо; если бы еще только окружающий мир не так сильно шумел; надеюсь, в Шелезене ты этого не замечаешь.

Всего наилучшего тебе, жене и ребенку.

Твой Ф.

[Плана, начало июля 1922 г.].

Дорогой Феликс,

то, что ты говоришь о моем шуме, почти справедливо, во всяком случае я принял это мнение, и оно стало одной из нескольких моих вспомогательных конструкций, одним из тех сравнительно чудовищных помостов, с которых я тружусь над моей жалкой выгородкой, — мнение о том, что вследствие плотности мира всякий преодоленный шум сменяется новым, который еще только должен быть преодолен, — и так до бесконечности. Но сейчас это лишь почти справедливо, и потому стремление ответить на твои аргументы было бы глупым или пошлым, более того, этот шум — и дело тут не в характере описания, а в самом факте — в то же время и кричащий упрек всем, кому ты не безразличен, кто выказывает здесь свою слабость и беспомощность и сознательно избегает ответственности, но этим и за это возлагает на себя еще более тяжелую. В шуме есть нечто завораживающе-дурманящее; когда я сижу в одной из комнат (я, к счастью, иногда могу выбирать одну из двух) и напротив, так же, как и у тебя, работает пила — некоторое время это еще можно выносить, но когда потом включают циркульную, а в последнее время это происходит постоянно, начинаешь проклинать жизнь, — когда я, таким образом, сижу в этой несчастной комнате, я не могу уйти, хотя могу и должен перейти в соседнюю комнату, потому что выдержать это невозможно, но переселиться я не могу — только переходить из одной комнаты в другую и, находясь в этой второй комнате, при случае констатировать, что и там беспокойно и под окном шумят дети. Вот такие дела. Я все время надеюсь, что эта циркульная пила вдруг, как уже было однажды, прекратит работу; я шапочно знаком с тамошним бухгалтером, даже это дает мне какие-то надежды; он, правда, не знает, что мне мешает их циркульная пила, да и просто никак обо мне не беспокоится, и вообще замкнутый человек, но будь он даже самым открытым человеком, он не смог бы остановить циркульную пилу, если для нее есть работа; тем не менее я в отчаянии смотрю в окно и все-таки думаю о нем. Или я думаю о художнике, летняя жизнь которого была где-то описана — как он ежедневно в полшестого (он был тогда очень здоровым и прекрасно спал) купался на воле и затем бежал в лес, где у него была «компоновочная хижина» (завтрак там уже был приготовлен), и работал до часу дня, а деревья, которые потом так шумят под пилой, стояли вокруг беззвучной и защищающей от шума стеной. (Потом, после обеда, он спал, а семейную жизнь начинал только с четырех, и лишь изредка его жене выпадало счастье узнать вечером что-нибудь о его утренней работе.) Но я собирался рассказать о пиле. Сам я от нее отделаться не могу — должна прийти сестра, чтобы, ценою невероятных жертв с ее стороны, для меня была освобождена другая комната (которая, впрочем, тоже далеко не компоновочная хижина, но об этом я уже не говорю), и тогда на некоторое время я от пилы избавлен. Вот так и тебя надо было бы перевести куда-нибудь в какую-нибудь тихую комнату.

Первое впечатление от твоего письма было роскошным, я вначале просто вертел его в руках, радуясь, что оно у меня есть; потом, бегло прочитав, отметил только два места, в одном было кое-что об этике, в другом «маленькая Рутген — чудо», и я, естественно, был очень доволен. Правда, у меня есть и другие твои письма, скажем, письмо о родительском собрании (особенно прелестное) или еще, о Ратенау{209} (ты читал фельетон Х. о Ратенау? поразительное отсутствие вкуса для такого всегда столь безупречного автора; эта ирония просителя, отзывающегося о своем убитом благодетеле, невольно создает впечатление, что репортер, который так иронично, как равный, говорит об умершем, и сам должен быть по крайней мере отчасти мертв. И венец всего, конечно же, самоирония, ибо если Х. ожидал, что Ратенау скажет: «Мы, Ратенау, рабочие лошади», то и я точно так же твердо уверен, что Х. где-нибудь еще напишет: «Я, несчастный сукин сын, замредактора»). При этом я не хочу обидеть Х., наверняка и я написал бы что-нибудь в том же роде, но значительно хуже — разве что не стал бы это публиковать, впрочем, может быть, именно и только потому, что это было бы написано значительно хуже).

Я хотел бы еще кое-что сказать и попросить в связи с тем, что я — подумай только! — «от страха» не еду в Германию, хотя сам просил Оскара подыскать мне там комнату, что он любезно и прекрасно исполнил. Это не страх перед поездкой — хуже: это страх перед всем на свете.

Сердечный привет и беспомощные пожелания тебе, жене и ребенку.

Твой Ф.

(Привет от Оттлы).

[Открытка. Берлин-Штеглиц; штемпель: 9. 10. 23].

Дорогой Феликс,

большое спасибо за «Зельбствер», я все-таки пробыл здесь дольше, чем предполагал, и мне ее очень не хватало. У Лизы{210} пока не был; дни такие короткие, пролетают еще быстрее, чем в Праге, и, к счастью, намного незаметнее. Правда, это грустно, что они так быстро проходят, но с этим временем и вообще — так, стоит только один раз убрать руку с его колеса, как оно начинает со свистом пронеситься мимо, и для руки уже больше не видно места. Я почти не выбираюсь дальше ближайших окрестностей квартиры, что, вообще-то, удивительно, так как моя улица — едва ли не последняя в городе, за ней уже сплошные сады и виллы, — старые роскошные сады. Теплыми вечерами стоит такой сильный аромат, что я и не припомню, слышал ли где еще. Кроме того, в четверти часа от меня — большой ботанический сад и от силы в полчасе — лес, в котором я, правда, пока не был. Для любителя небольших вылазок условия прекрасные.

Еще одна просьба, Феликс: если можешь, помоги немного бедному Клопштоку (с устройством на работу).

Сердечный привет тебе и твоим.

Ф.

[Открытка. Берлин-Штеглиц; штемпель: 18. 11. 1923].

Дорогой Феликс,

огромное спасибо за регулярное снабжение и за то, что заботаешься о нас, как ни тяжело тебе это, может быть, дается. Я, кстати, переехал, сделай, пожалуйста, переадресовку: Берлин-Штеглиц, Грюневальдштрассе, 13, в доме г. Зейферта; и еще: напиши, пожалуйста, сколько с меня, я тогда сразу передам сестре, чтобы она оплатила. Организуй, пожалуйста, если еще не сделал этого, присылку моего пражского экземпляра, я, очевидно, останусь здесь еще на некоторое время, несмотря на безумную дороговизну. К твоим родным я так пока и не выбрался, хотя искренне желал; мне слишком тяжело даются прогулки в такое время года и когда такие короткие дни. Два раза в неделю — но только при хорошей погоде — я добредаю до Высшей школы иудаики, и это уже предел моих возможностей.

Самый сердечный привет тебе, твоим и Баумам.

Твой Ф.

[Открытка. Берлин-Штеглиц; штемпель: 28. 1. 1924].

Дорогой Феликс,

хоть я и пишу тебе только когда переезжаю (из страха, что могу остаться без «Зельбствер», которая теперь все время так регулярно приходит — вернейшая из верных по пунктуальности и содержанию — к самому непунктуальному из подписчиков), но и это — повод для письма. С первого февраля (то есть уже для следующего номера) мой адрес: Берлин-Целендорф, Хейдештрассе, 25–26, в доме г-жи Буссе. Я, возможно, совершаю ошибку (и уже вперед наказан отчаянно высокой платой — хотя для такой квартиры она ничуть не завышена, но для меня на самом деле непосильна), переезжая в дом умершего писателя Карла Буссе{211} (он умер в 1918 г.), которому, по крайней мере при жизни, наверняка внушал отвращение. Может быть, ты помнишь его ежемесячные критические обзоры в «Вельхаген унд Крайингс Монатсхефте»{212}? Тем не менее я делаю это; мир полон опасностей, так пусть из темноты неизвестного вылезет еще и эта, особенная. Впрочем, некое родственное чувство, каким-то странным образом возникающее даже в этом случае, делает этот дом для меня привлекательным. Правда, делает привлекательным только потому, что из моей нынешней прекрасной квартиры я выставлен как нищий неплатежеспособный иностранец.

Сердечный привет тебе и твоим.

Набросок к «Рихарду и Самуэлю»

Самуэль знает наперечет по крайней мере все поверхностные взгляды и способности Рихарда, но он привык мыслить точно и связно, поэтому даже мелкие или хотя бы не вполне ожидаемые непоследовательности в высказываниях Рихарда его ошеломляют и заставляют задуматься. В их дружбе мучительное для Рихарда заключается в том, что Самуэль никогда не нуждается в какой-то не выраженной публично поддержке, поэтому уже из чувства справедливости не хочет, чтобы кто-то ощущал поддержку с его стороны, и вследствие этого никакой субординации в дружбе не терпит. Он следует одному неосознаваемому принципу: тем, чем, к примеру, восхищаются в друге, восхищаются не собственно в друге, а в ближнем, и дружба, следовательно, должна начинаться уже там — до и намного глубже всяких различий. И это обижает Рихарда, который часто готов был бы с удовольствием подчиниться Самуэлю, который часто хочет показать Самуэлю, какой он прекрасный человек, но который лишь в том случае мог бы это начать, если бы предвидел, что ему всегда будет это позволено и никогда не придется это прекратить. В то же время из этих навязанных ему Самуэлем отношений он извлекает сомнительное преимущество: сознавая свою внешне до сих пор сохраняемую независимость, ставить себя выше Самуэля, видеть, как тот падает в его глазах и предьявлять ему — разумеется, лишь внутренне — некие требования, тогда как, вообще говоря, рад был бы просить Самуэля предьявлять их ему. Так, например, то, что Самуэль нуждается в деньгах Рихарда, в понимании Самуэля не имеет никакого отношения к их дружбе, в то время как для Рихарда удивительно уже сама эта точка зрения, ибо денежная нужда Самуэля, с одной стороны, смущает Рихарда, но с другой, повышает его значение; то и другое — в сердцевине его дружбы. Здесь же причина того, что, погруженный в глубины своей неуверенности, Рихард, несмотря на меньшую скорость мышления, понимает Самуэля, вообще говоря, лучше, чем Самуэль — его, поскольку Самуэль, хоть и обладает хорошими комбинаторными способностями, но в своих суждениях о Рихарде наиболее надежным полагает движение по кратчайшему пути, не ожидая, когда фигура Рихарда успокоится и приобретет свои истинные очертания. Поэтому в их отношениях именно Самуэль — тот, кто отстраняется и говорит в сторону. Он по видимости все больше берет себе из дружбы; напротив, Рихард, со своей стороны, все больше вносит в нее, так что дружба странным и все же естественным образом сдвигается в сторону Самуэля до тех пор, пока не приостанавливается в Стрезе, где Рихард уже устает от непрерывного хорошего самочувствия, Самуэль же, напротив, так силен, что все может и даже берет Рихарда в осаду, продолжающуюся затем до Парижа, где следует последний, заранее предвиденный Самуэлем, но совершенно неожиданный для Рихарда и потому мучительно, с

желаниями смерти переживаемый им толчок, приводящий дружбу к окончательной остановке. В их дружбе Рихард более сознателен — несмотря на такое положение, которое внешне должно было бы исключать это, — по крайней мере до Стрезы, так как он отправился в эту поездку с некоей готовой, но ложной дружбой, тогда как Самуэль — с некоей только начинающейся (правда, на протяжении уже долгого времени), но истинной. Из-за этого Рихард в поездке все глубже уходит в себя, почти небрежничает, почти не смотрит, но с более сильным ощущением связи; напротив, Самуэль, чье внутреннее состояние истинно, может и должен — как того требует и его натура, и его дружба, то есть дважды мотивированно — смотреть горячо и верно и часто буквально нести Рихарда. Именно так сознателен Рихард (до Стрезы) в своей дружбе, заново принуждаемый к этому всяким мелким происшествием и всегда способный дать соответствующие объяснения, которые не нужны никому, и меньше всех — ему, так как ему вполне хватает уже проявлений его меняющейся дружбы; в отношении всего остального, что несет с собой путешествие, он осторожен, плохо переносит смену гостиниц, не понимает простых взаимосвязей, с которыми дома, возможно, не имел бы никаких затруднений, часто очень серьезен (но совсем не от скуки и даже не от желания, чтобы Самуэль как-нибудь потрепал его по щеке), испытывает сильное влечение к музыке и женщинам. Самуэль знает только французский, Рихард — французский и итальянский, поэтому в Италии во всех случаях, когда возникает потребность навести справки, Рихард оказывается в положении своего рода слуги Самуэля; хотя ни один из них не придает этому значения, тем не менее Рихард знает, что более вероятно обратное. К тому же Самуэль владеет французским очень хорошо, Рихард же обоими своими языками — несовершенно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фрагмент рукописи Кафки.

См. наст. изд. Ж. Монно. Характер Франца Кафки. С. 331.

М. Брод, Ф. Кафка

Первая дальняя поездка по железной дороге{213}

[Набросок к «Рихарду и Самуэлю»]

(Прага — Цюрих)

Самуэль. Выезд. 26 августа 1911 года, понедельник, тринадцать часов две минуты.

Рихард. Взглянув на Самуэля, что-то коротко записавшего в свой знаменитый крошечный карманный ежедневник, я снова вспоминаю старую отличную идею: чтобы каждый из нас вел дневник поездки. Я предлагаю ему это. Он вначале отказывается, потом соглашается, то и другое обосновывает, я оба раза воспринимаю это лишь поверхностно, но это и не важно, если только мы будем вести дневники... Теперь он уже снова смеется над моей записной книжкой; она — новая, квадратная, очень большая, в черном холщовом переплете — и в самом деле напоминает какую-то школьную тетрадь. Я предвижу, что носить такую тетрадь в кармане во время всей поездки будет тяжело, во всяком случае неудобно. Впрочем, я и в Цюрихе смогу, так же, как и он, купить себе что-нибудь более практичное. У него есть и вечное перо. Буду время от времени у него заимствовать.

Самуэль. На одной из станций в вагоне напротив нашего окна — крестьянки. На коленях у одной, смеющейся, спит другая. Проснувшись, она спросонок непристойно подмигивает нам: «Пошли!» Словно издеваясь над нами, поскольку нам туда не попасть. В соседнем купе — темноволосяя, героического вида, совершенно неподвижная. Далеко запрокинув голову, смотрит сквозь стекло вдаль. Дельфийская сивилла.

Рихард. Что мне не нравится, так это его навязчивые, притворные, фальшиво-свойские, почти заискивающие приветствия крестьянкам. Но вот поезд совсем отошел, и Самуэль остается один со своими чрезмерно бодрими улыбками и размахиваниями шапочкой... Я не преувеличиваю?... Самуэль зачитывает мне свою первую запись, она производит на меня сильное впечатление. Надо было обратить на этих крестьянок больше внимания. Проводник спрашивает — впрочем, очень неразборчиво, словно он уверен, что имеет дело с людьми, которые здесь уже часто ездили, — собирается ли кто-то заказывать в Пльзене кофе. Если заказ поступает, он наклеивает на окно купе по узкому зеленому листочку на каждую порцию, как в свое время в Мисдрое, когда там еще не было пристани, пароходы издали показывали вымпелами количество лодок, требуемых для высадки пассажиров. Самуэль вообще не знает Мисдроя. Жаль, что я был тогда не с ним. Там было очень хорошо. И в этот раз тоже будет замечательно. Но слишком быстро мы едем, слишком быстро все пролетает; меня сейчас охватывает такая тяга к долгим поездкам!.. Какое же это было старое сравнение, ведь в Мисдрое уже пять лет как построили причал... Кофе на перроне в Пльзене. Предъявлять свой листочек не обязательно, можно получить и без него.

Самуэль. С перрона мы видим, что из нашего купе выглядывает незнакомая девушка, впоследствии — Дора Липперт. Мила, толстый нос, белая кружевная блузка с маленьким вырезом у шеи. Первая общая забота при продолжении поездки: ее большая шляпа в бумажной обертке легко планирует из багажной сетки мне на голову... Мы узнаём, что она дочь офицера, переведенного в Иннсбрук, и едет к родителям, которых уже давно не видела. Она работает в одном техническом бюро в Пльзене, весь день, у нее очень много обязанностей, но она этому рада и очень довольна своей жизнью. В бюро ее называют «наш птенчик» и «наша ласточка». Там сплошь мужчины, а она самая молодая. О, в бюро весело! Подменяют шляпы в гардеробе, прикалывают к циферблату десятичасовую рогульку или приклеивают кому-нибудь гуммиарабиком перодержатель к папке. Нам самим предоставляется возможность принять участие в одной из таких «невинных» шуток. Она пишет своим сослуживцам в бюро открытку следующего содержания: «Увы, предсказанное сбылось. Я села не на тот поезд и нахожусь сейчас в Цюрихе. С сердечным приветом». Но она ожидает от нас как от «людей чести», что мы ничего не припишем. В бюро, естественно, забеспокоятся, начнут телеграфировать и Бог знает что еще... Она вагнерианка, не пропускает ни одной постановки Вагнера — «недавно эта Курц пела Изольду» — и сейчас как раз читает переписку Вагнера с Везендонк, она даже взяла книжку с собой, ей одолжил ее один господин, да, естественно, тот, который играет ей клавиры. У нее, к сожалению, нет особого таланта к фортепьяно, что мы, впрочем, уже знаем с того момента, как она напела нам несколько лейтмотивов... Она собирает фольгу от шоколадок и делает из нее большой станиолевый шар, который у нее тоже с собой. Этот шар предназначается для одной ее подруги, дальнейшее его применение неизвестно. Она собирает также ленточки от сигар — несомненно для украшения какого-нибудь

Подноса... Первый же баварский проводник заставляет ее кратко и весьма решительно высказать очень противоречивые и сомнительные взгляды офицерской дочке на австрийскую армию и армию вообще. Именно, она считает слабой не только австрийскую армию, но и немецкую, и вообще любую. Но разве в бюро она не бежит к окну, когда мимо проходит военный оркестр? Это ничего не значит, потому что это не армия. Да, вот ее младшая сестра, та — другая. Та усердно танцует в иннсбрукском офицерском клубе. То есть мундиры ей совсем не импонируют, и офицеры для нее — пустое место. Отчасти в этом явно повинен тот господин, который одалживает ей клавиры, но отчасти — и наша прогулка взад-вперед по перрону вокзала в Фюрте, так как прогуливаясь после сидения в вагоне, она чувствует себя очень бодро и оглаживает ладонями бедра. Рихард защищает армию, но вполне серьезно... Ее любимое словечко: «невинно»... с ускорением ноль целых пять десятых: всплеск — живо — вяло.

Рихард. У Доры Л. круглые щеки, обильно покрытые светлым пушком, но она так малокровна, что пришлось бы очень долго мять ее в руках, чтобы появился какой-то румянец. Корсаж плох, блузка на груди над его верхним краем мнется, приходится закрывать на это глаза.

Я рад, что сижу напротив нее, а не рядом с ней, и поэтому могу не разговаривать с тем, кто сидит рядом со мной. Вот Самуэль, например, тот предпочитает подсаживаться ко мне, но с удовольствием садится и рядом с Дорой. У меня же, напротив, когда кто-нибудь садится рядом, появляется такое чувство, словно меня подслушивают. В конце концов, ведь и в самом деле, твои глаза не подготавливаются заранее для встречи такого человека, и только потом приходится к нему поворачиваться. Правда, из-за моего положения визави я временами выключаюсь из разговора Доры и Самуэля, особенно во время движения поезда, — всех преимуществ одновременно иметь нельзя. Но зато я уже видел, хотя и только в отдельные мгновения, как они сидели рядом, умолкнув — естественно, не по моей вине.

Я восхищаюсь ею: она так музыкальна. Впрочем, Самуэль, похоже, иронически усмехался, когда она что-то ему тихонько напевала. Возможно, это было не совсем верно, но разве не заслуживает восхищения, когда молодая девушка, живущая одна в большом городе, так горячо интересуется музыкой? Она даже в своей комнате, которую она, впрочем, только снимает, поставила инструмент — тоже взятый внаем. Это только представить себе: такое хлопотное даже для целой семьи предприятие, как транспортировка инструмента (фортепьяно!) — и слабая девушка! Сколько доя этого нужно самостоятельности и решительности!

Я расспрашиваю ее о том, как она живет. Она квартирует вместе с двумя подругами, каждый вечер одна из них покупает в каком-нибудь гастрономе провизию к ужину, и они очень хорошо проводят время и много смеются. Услышав, что происходит все это при свете керосиновых ламп, я удивился, но говорить ей об этом не хочу. Ее явно не беспокоит столь плохое освещение, ибо если бы у нее возникла такая мысль, она с ее энергией наверняка смогла бы добиться от своей хозяйки и лучшего.

Поскольку в ходе разговора ей необходимо было продемонстрировать нам все содержимое ее сумочки, то мы увидели и медицинскую склянку с чем-то отвратительно желтым внутри. Только теперь мы узнали, что она не совсем здорова, ей даже пришлось долго пролежать в постели. И уже после того она все еще была очень слаба. Тогда сам шеф посоветовал ей — так хорошо к ней относится — приходить в бюро только на полдня. Теперь ей лучше, но она должна принимать этот препарат железа. Я сказал ей, что лучше выкинуть его в окно. Легко согласившись (поскольку у снадобья мерзкий вкус), она, однако, не принимает совет всерьез, несмотря на то что я, наклонившись к ней ближе, чем когда-либо прежде, пытаюсь изложить ей мои столь ясные как раз в этой области взгляды на природосообразное лечение человеческого организма, имея искреннее намерение помочь этой беспомощной девочке или хотя бы уберечь ее от вреда, и таким образом, по крайней мере в какие-то мгновения, ощущаю себя удачей, которая ей улыбнулась... Поскольку она не перестает смеяться, я обрываю свой монолог; задевает меня и то, что Самуэль в продолжение всей моей речи качает головой. Знаю я его. Он верит врачам и считает натуропатические методы смехотворными. Я очень хорошо это понимаю: он никогда не обращался к врачам, поэтому никогда серьезно и самостоятельно не думал о таких вещах и, к примеру, этот тошнотворный препарат совершенно не может применить к себе... Будь я с этой девушкой наедине, уж я бы сумел ее убедить. Ибо если я не прав в этом, тогда я не прав ни в чем!

Да мне с самого начала была ясна причина ее малокровия. Это бюро. Конечно, и канцелярское существование, как и все на свете, можно воспринимать в шутку, а не всерьез (поистине так эта девушка его и воспринимает, искренне и целиком заблуждаясь), но — суть? но — печальные последствия?!.. Я же, к примеру, знаю, как быть мне. И вообще, чтобы девушка сидела в бюро! даже женская юбка не создана для этого и должна везде натягиваться, чтобы длительно, часами елозить туда и сюда на каком-нибудь жестком деревянном сиденье. От этого и самая круглая попа сплющится, а заодно и грудь — об край стола... Преувеличение?.. И все же для меня девушка, сидящая в бюро, — всегда печальная картина.

Самуэль с ней уже в довольно приятельских отношениях. Он даже склонил ее пойти с нами в вагон-ресторан, куда я, собственно, вовсе не собирался идти. В этот вагон, полный не знакомых нам пассажиров, мы вошли, связанные уже все трое какой-то прямо-таки невероятной общностью. Стоит запомнить, что для укрепления дружбы надо менять обстановку. Теперь я даже и сижу рядом с ней, мы пьем вино, наши локти соприкасаются, и наша общая отпускная радость в самом деле превращает нас в одну семью.

Этот Самуэль все-таки уговорил ее, несмотря на оживленное и поддержанное ливнем сопротивление, использовать получасовую стоянку в Мюнхене для автомобильной прогулки. Пока он ловил машину, мы стояли под аркадой вокзала, и она попросила, взяв меня при этом за руку: «Пожалуйста, предотвратите эту поездку. Я не могу ехать. Это совершенно исключено. Я говорю это вам, потому что я вам доверяю. С вашим другом ведь просто невозможно разговаривать. Он такой сумасшедший!..» Мы уселись; я воспринимал все это болезненно, к тому же это точь-в-точь напоминало эпизод из кинофильма «Белая рабыня», когда в темноте незнакомые люди прямо у выхода из вокзала заталкивают невинную героиню в автомобиль и увозят прочь. У Самуэля, напротив, прекрасное настроение. Большой откидной верх автомобиля заслоняет нам обзор, и все постройки мы, собственно, видим от силы до второго этажа. Ночь. Перспективы уходящих вдаль подвальных помещений. Самуэлю этого вполне достаточно для фантастических предположений о высоте замков и соборов. Дора, сидящая в темноте на заднем сиденье, по-прежнему молчит, и я уже почти боюсь какой-нибудь вспышки; наконец, его это озадачивает, и он — по моему ощущению, несколько формально — спрашивает ее: «Ну, вы ведь не сердитесь на меня, фрейлейн? Да и что я вам такого сделал?» — и так далее. Она отвечает: «Раз уж я здесь, не хочу портить вам удовольствие. Но вам не следовало меня заставлять. Если я говорю „нет“, я говорю это не без причин. Я просто не могу ездить». «Почему?» — спрашивает он. «Этого я вам не могу сказать. Но вы же сами должны понимать, что девушке не подобает разъезжать по ночам с господами. К тому же есть и еще кое-что.

Вы только допустите, что я уже связана...» Мы, каждый про себя, с молчаливым уважением догадываемся, что это дело как-то связано с господином вагнерианцем. Ну, мне себя упрекать не в чем, тем не менее я все-таки пытаюсь ее развлечь. И Самуэль, который до сих пор обращался с ней немного свысока, кажется, сожалеет, но лишь старается еще больше говорить о поездке. Шофер, выполняя нашу просьбу, объявляет названия невидимых достопримечательностей. Шины шуршат по мокрому асфальту, как проектор в кино. Опять эта «Белая рабыня». Пустые, длинные, умытые, черные улицы. Самое яркое впечатление — незашторенные высокие окна ресторана «Четыре времени года», название которого нам откуда-то известно: славится элегантностью. Официант в ливрее склоняется перед собравшейся за столиком компанией. К одному памятнику, который мы в счастливом озарении объявили знаменитым памятником Вагнеру, она проявляет интерес. Но сколько-нибудь продолжительной остановки удостоивается только монумент свободе с его хлюпающими под дождем фонтанами. Мост через только лишь угадываемый Изар. Красивые виллы важных персон вдоль Английского сада. Людвигштрассе, Театинер-кирха, Портик полководцев, пивная «Пшор». Я не знаю, откуда они появляются, я ничего не узнаю, несмотря на то, что ведь уже не раз бывал в Мюнхене. Ворота Зендлингер-Тор. Вокзал; я беспокоился — в особенности, из-за Доры, — доберемся ли мы до него вовремя. Так мы, словно какая-то рассчитанная на это пружина, ровно за двадцать минут — по счетчику такси — прожужжали сквозь весь город.

Как мюнхенские родственники, мы усадили нашу Дору в купе прямого поезда на Иннсбрук, где некая дама в черном, которой следовало опасаться больше, чем нас, предложила ей на ночь свою защиту. Только теперь я убеждаюсь, что нам двоим можно спокойно доверить девушку.

Самуэль. Затея с Дорой полностью провалилась. Все шло чем дальше, тем хуже. Я собирался прервать поездку и переночевать в Мюнхене. И вплоть до ужина, то есть примерно до остановки в Реннсбурге, был уверен, что это получится. Черкнув на листочке пару слов, я попытался сговориться с Рихардом. Он, кажется, даже вообще не прочитал записку, думая только о том, как бы ее спрятать. Но, в конечном счете, не имеет значения: бабенка пошлая, и мне решительно не понравилась. Это только Рихард своими церемонными обращениями и любезностями возводил ее Бог весть во что. И этим, кажется, укрепил ее идиотскую жеманность, которая в автомобиле сделалась, наконец, просто невыносимой. В результате при прощании она превратилась в совершенно сентиментальную Гретхен; Рихард, который, естественно, нес ее чемодан, вел себя так, словно она его незаслуженно осчастливила, а у меня было только какое-то ощущение неловкости. Чтобы кратко сформулировать: женщины, путешествующие в одиночку или желающие еще как-то продемонстрировать свою самостоятельность, не должны в таком случае снова прибегать к обычному, а сегодня, может быть, уже и устаревшему кокетству — то привлекать, то отталкивать и из возникающего при этом смущения извлекать для себя преимущества. Потому что таких раскусывают и очень скоро позволяют оттолкнуть себя дальше, чем им это, по всей вероятности, желательно.

Мы вернулись в купе к своему багажу, который Рихард оставлял с бьющимся сердцем. Рихард производит свои знаменитые приготовления ко сну, подсовывая плед под голову и окружая лицо полой свисающего плаща, как балдахин. Мне нравится, что он бесцеремонен, по крайней мере, когда дело касается его сна, и, к примеру, не спрашивая, затемняет лампу, хотя знает, что я в поезде не могу спать. Он растягивается на своей скамье так, словно имеет какие-то особые преимущества перед попутчиками. И тут же спокойно засыпает. При этом они изволят постоянно жаловаться, что у них бессонница.

В купе подсаживаются двое юных французов (гимназисты из Женевы). Один, черноволосый, все время смеется — даже над тем, что Рихард почти не оставил ему места (так он разлегся); потом он смеется над тем, что улучил момент и занял часть лежанки Рихарда, когда тот приподнялся, чтобы попросить компаньонов не курить так много. Такие маленькие баталии между разноязыкими проходят молча и потому очень легко, без извинений и без упреков... Французы коротают ночь, передавая друг другу жестянку с печеньем, или скручивая сигарки, или поминутно выскакивая в коридор, перекрикиваясь там и возвращаясь обратно. В Линдау (они произносят «Лендо») они от души и ошеломляюще звонко для такого ночного часа хохочут над австрийским проводником. Проводники других стран действуют неотразимо комично, так и на нас подействовал в Фюрте баварский проводник со своей большой красной сумкой, болтавшейся где-то совсем внизу, у него между ног... Долго тянувшийся вид освещенного и разглаженного огнями поезда Боденского озера — вплоть до далеких огней противоположного берега, — угрюмый и туманный. Мне вспомнилось старое школьное стихотворение «Всадник на Боденском озере», и я убил порядочно времени, восстанавливая его в памяти... Вторжение третьего швейцарца. Один из них курит. Один — тот, который останется и после того, как сойдут двое других, — вначале держался незаметно, но к утру проявил себя. Он положил конец распрям между Рихардом и черным французом; сочтя неправыми обоих, он уселся между ними с альпенштоком между колен и во весь остаток ночи более не пошевелился. Рихард показал, что может спать и сидя.

Швейцария поражает своими одиноко стоящими и оттого кажущимися по-особому отважно самостоятельными домами во всех городах и деревнях вдоль всей железнодорожной линии. В Сен-Галлене даже не образуется улиц. Может быть, в этом находит выражение добрый немецкий партикуляризм каждого в отдельности, поддержанный территориальными затруднениями. Каждый дом с его темно-зелеными ставнями и обилием зеленых цветов каркаса и перил напоминает дачу. И тем не менее на каждом — вывеска фирмы, причем только одна: семья и предприятие, похоже, не разделяются. Этот обычай — разворачивать деловые предприятия на дачах — живо напомнил мне роман Р. Вальзера «Помощник».

Воскресенье, пять часов утра, 27 августа. Все окна еще закрыты, всё спит. Постоянно такое чувство, что мы, запертые в поезде, — единственные, кто в этих краях дышит скверным воздухом, в то время как страна за окнами раскрывается в том естественном процессе, который по-настоящему можно наблюдать только из окна ночного поезда, сидя под все еще не погашенной лампой. Вначале перед темными горами, между ними и нашим поездом, возникает некая особо узкая падь, потом сквозь утренний туман, как через фонарь на крыше, пробивается белесый свет, трава на лугах постепенно становится такой, словно к ней никогда прежде не прикасались, — свежей, сочно-зеленой (что меня очень удивило, ведь был такой засушливый год) и наконец, медленно преображаясь под восходящим солнцем, бледнеет... Деревья с тяжелыми, длинными игольчатыми ветвями давно уже колышутся, раскачиваясь всем стволом до самых корней.

Такие формы часто видишь на картинах швейцарских художников, и до сего дня я считал их не более чем стилизацией.

Мать выводит детей на воскресную прогулку по чистой улице. Это напоминает мне о Готфриде Келлере и воспитании, полученном им от матери.

В лугах повсюду аккуратнейшие изгороди, некоторые — из серых, заточенных, как карандаши, стволов, часто — из половинок таких

стволов. Так мы в детстве расщепляли карандаш, чтобы вытащить грифель. Такие изгородей я еще никогда не видел. Вот так в каждой стране повседневность чем-то нова, и надо остерегаться, чтобы, радостно увлекаясь такими впечатлениями, не просмотреть что-то редкое.

Рихард. Швейцария в первые утренние часы, предоставленная самой себе. Самуэль разбудил меня якобы при виде какого-то достопримечательного моста, который, однако, уже проехали прежде, чем я раскрыл глаза, и этой встряской создал, быть может, первое сильное впечатление от Швейцарии. Поначалу я смотрю на нее — чрезмерно долго — из внутренних сумерек во внешние.

За ночь я необыкновенно хорошо выспался, как и почти всегда в поезде. Мой сон в поезде — это буквально скрупулезная работа. Я укладываюсь, голову устраиваю в последнюю очередь, пробую в прологе разные положения, прикрывая лицо шапочкой или накидкой, отгораживаюсь от прочей компании, которая может смотреть на меня со всех сторон, и затем при каком-то новом, поначалу удобном положении тела меня уносит в сон. Заснуть, естественно, хорошо помогает темнота, но в дальнейшем ее почти не требуется. И разговоры могут продолжаться так же, как и прежде, однако когда кто-то по-настоящему спит, от него исходит какой-то такой призыв, которому даже далеко сидящий болтун не может противостоять. Ибо едва ли где-то еще самые крайние противоположности распорядка жизни оказываются так близко, непосредственно и поразительно сопряжены друг с другом, как в купе, и, вследствие непрерывного взаимного наблюдения, через кратчайшее время начинают влиять друг на друга. Даже если спящий и не усыпит сразу же остальных, то все же успокоит или — совершенно помимо их воли — усилит их задумчивость до желания закурить, как это, к сожалению, произошло и в нашем купе, где я, дыша воздухом ненавязчивых снов, вдыхал клубы сигаретного дыма.

Свой хороший сон в поезде я объясняю тем, что обычно мне не дает спать идущая от переутомления нервозность, порождающая во мне шум, который ночью — от всяких случайных шорохов в многонаселенном доме и на улице, от каждого прилетевшего издали трамвайного стука, каждого пьяного вопля, каждого шага на лестнице — так усиливается, что в досаде я часто перекалдываю всю вину на этот внешний шум, тогда как в поезде равномерность звуков движения (будь то непосредственно звуки работающих рессор вагона или трения колес, перестука рельс или вибрации всей конструкции из дерева, стекла и железа) создает некий постоянный уровень как бы совершенной тишины, и я могу спать, с виду точно так же, как любой здоровый человек. Эта видимость, естественно, мгновенно исчезает, к примеру, при каком-нибудь приближающемся свистке локомотива, или изменении темпа движения, или — совершенно неизбежно — при толчке остановки, который, проходя через весь поезд, проходит и через весь мой сон вплоть до пробуждения. И тогда я без удивления слышу, как выкрикивают названия мест, которые я совсем не собирался проезжать, вроде всех этих Линдау, Констанца и, кажется, еще Романсхорна, но мне от этого меньше пользы, чем если бы они мне только приснились, — наоборот, для меня это только помеха. Если же я просыпаюсь во время движения, то такое пробуждение полнее, поскольку оно происходит как бы против природы железнодорожного сна. Я открываю глаза и на мгновение поворачиваюсь к окну. Вижу я там не много, и то, что я вижу, воспринимается остаточным сознанием спящего. Тем не менее я готов поклясться, что я где-то в Вюртемберге, словно бы я определенно узнал это Вюртембергское княжество и в два часа ночи увидел какого-то мужчину, опирающегося на перила веранды своего загородного дома. За его спиной — полуоткрытая дверь освещенного кабинета, словно он вышел только проветрить голову перед сном... В Линдау был на вокзале, при подъезде и при отъезде — много ночных песен; вообще, в такой поездке в ночь с субботы на воскресенье, лишь слегка отвлекаемый сном, наметаешь с этих больших расстояний много ночной жизни, поэтому сон кажется особенно глубоким, а суэта снаружи — особенно громкой. Те же проводники, которых я периодически вижу, когда они пробегают мимо моего потемневшего окна, не хотят никого будить, они хотят только выполнить свой долг и сверхгромко выкрикивают в пустоту вокзальных пространств один слог названия станции нам, и следующие — другим. После этого мои попутчики пытаются сложить это название или же приподнимаются, чтобы сквозь вновь и вновь протираемое стекло прочесть его самим, однако моя голова уже снова опускается на скамью.

Но если ты можешь так хорошо спать в поезде, как я, — Самуэль, по его утверждению, просидел всю ночь не сомкнув глаз, — то и просыпаться надо уже только на месте, чтобы, очнувшись после здорового сна потным, с опухшим лицом, с торчащими во все стороны волосами, в белье и одежде, которые сутки не чистились и не проветривались и только вбирали в себя поездную пыль, тебе не приходилось съезживать в углу купе и ехать в таком состоянии дальше. Если бы еще были на это силы, ты проклял бы такой сон, а так — только тихо завидуешь людям, которые, как Самуэль, может быть, только периодически засыпали, но зато лучше могли за собой следить, почти всю дорогу проделали в сознании и, подавляя сон, — они в конце концов тоже смогли бы заснуть — непрерывно сохраняли ясность рассудка. А я ведь утром Самуэля предал.

Мы стояли рядом у окна, я — исключительно ради него, и в то время как он показывал мне то, что там было видно от Швейцарии, и рассказывал о том, что я проспал, я только кивал и удивлялся, как он того и желал. Еще счастье, что такие мои состояния он либо не замечает, либо неверно оценивает, так как именно в эти моменты он со мной приветливее, чем тогда, когда я этого более заслуживаю. Но я всерьез думал тогда только об этой Липперт. Мне ведь и вообще стоит большого труда составить верное суждение о новом коротком знакомстве, в особенности с женщиной. Потому что в то время, когда это знакомство происходит, я больше слежу за самим собой — тут работы хватает, — и в ней, таким образом, замечаю лишь какую-нибудь смешную часть того, что мельком уловил: словно бы увидел и тут же забыл. В воспоминаниях же эти знакомства, напротив, немедленно приобретают крупные, достойные восхищения формы, поскольку тут они безмолвны, погружены исключительно в собственные процедуры и демонстрируют свое пренебрежение фактом знакомства с нами полным забвением нашей персоны. Была, впрочем, еще одна причина, по которой мне так не хватало Доры, этой ближайшей девушки моих воспоминаний. В это утро мне было недостаточно Самуэля. Он желал совершить со мной поездку как мой друг, но это было не много. Это означало для меня, что во все дни путешествия рядом со мной будет одетый мужчина, тело которого я могу увидеть только в купальне, не имея к тому же никакого желания созерцать это зрелище. Самуэль в конечном счете, разумеется, стерпел бы мою голову на своем плече, если бы я захотел на нем поплакать, но разве при взгляде на его мужественное лицо, на его едва намеченные усы, на его захлопнутый рот — всё, я уже начинаю, — разве при взгляде на него полились бы у меня из глаз слезы облегчения?

Феликс Вельч

[О Франце Кафке][13]{214}

Из главы «Человек»

У Кафки была удивительная привычка: почти все свои рукописи он передавал на сохранение Максу Броду — правда, под нажимом последнего. Кафка охотно уступал этим настояниям Брода, так как, видимо, тоже чувствовал, что ему надо защищать свои рукописи от самого себя и что, оказавшись у Брода, они будут в самых лучших руках. Ведь очень многое, что оставалось у Кафки, он уничтожил. Свои дневники он тоже передавал другим, к примеру, Милене Есенской, и благодаря этому значительная их часть сохранилась, хоть и не все[14]. <...>.

Он, охотнее всего называвший «каракулями» свою работу над великими творениями, очень серьезно относился к моим маленьким философским опытам и постоянно употреблял в письмах грандиозное «твоя этика», к какой я тогда действительно делал некие предварительные наброски, так никогда и не дозревшие до того, чтобы их можно было опубликовать. Во время Первой мировой войны я читал ряд курсов по философии и литературе. В это время Кафка находился вне Праги, и многие его письма полны восхищения моей лекционной деятельностью: он хочет приехать в Прагу, чтобы на этих лекциях присутствовать, он даже просит меня прочесть ему частный курс, правда в следующем письме берет свою просьбу назад как слишком бесцеремонную и для меня обременительную. Мысль о моих лекциях преследует его даже во сне, и эти сны он мне потом подробно, в свойственной ему манере, описывает. Не меньше восхищался он моими трудами в качестве редактора сионистской газеты «Зельбштер», которую я возглавлял в 1919–1938 годах. <...> В это время я писал книгу «Милость и свобода», и Кафка с чрезвычайной добросовестностью вычитывал корректуру, у меня до сих пор сохранились его поправки. Это, в основном, замечания стилистического характера, так как системно-философские соображения его не задевали. <...> Предполагать неискренность, лезть, неуклюжие попытки подбодрить в случае Кафки просто нелепо. Он писал то, что думал. Все дело было в том, что малейшее положительное достижение друга казалось ему восхитительным, потому что он смотрел на него глазами друга и сравнивал со своим представлением о собственных достижениях, на которые он смотрел глазами врага.

Более тридцати лет прошло со дня смерти Кафки, а он все еще стоит у меня перед глазами как живой: стройный, высокий, утонченный... приятные манеры, спокойные движения, во взгляде темных глаз — твердость и, в то же время, теплота... обворожительная улыбка, пленительная мимика... Он был со всеми приветлив и внимателен, верен и надежен в дружбе — разве что какую-нибудь мелкую будничную договоренность мог нарушить и пропустить условленную по какому-нибудь незначительному поводу встречу, но извинялся за это с такой силой убеждения, что ему верили. Да и вообще невозможно было не верить в то, что его физические и духовные страдания и все те мелкие помехи, которые глубинное несчастье выносит на поверхность дня, помешали ему так распределить свое время, чтобы успеть на все назначенные встречи. Кажется, не было человека, которому он не внушал бы теплое чувство расположения, он был любим своими коллегами по работе и почитаем теми пражскими литераторами как немецкого, так и чешского круга, которые его знали. <...>.

Кафка был несчастным человеком, он страдал от комплекса телесной и витальной неполноценности; он был не в состоянии вырваться из-под власти отца, подавлявшей его; он не мог решиться на женитьбу и не мог так устроить свою жизнь, чтобы отдаваться писательству с той сосредоточенностью и интенсивностью, которые требовались для полного развертывания всех его творческих сил... Он был невротиком, — классический во многих отношениях случай, — и к этому неврозу в конце концов присоединился туберкулез... Он отчаивался не в будущем человечества, а «лишь» в себе самом, в своем собственном будущем. Его постоянным лейтмотивом было: «Спасение есть, но только не для меня»...[15]

Из главы «Юмор»

... Всем, лично знавшим Кафку, совершенно невозможно было не заметить этой стороны его природы, более того, не увидеть в ней существенной стороны его природы. Его глаза улыбались, юмор пронизывал его речь. Он чувствовался во всех его замечаниях, во всех суждениях, в особенности — в письмах; почти любая цитата доказывает это... несмотря на то, что его юмор нередко горек и очень часто граничит с самоиронией. Его письма полны самообвинений и самобичевания, и все же тональность их определяет юмор — им все пропитано, и он вновь и вновь возникает как защита, отделяя самомучительство от настоящего отчаяния. Юмор сквозит во всех текстах Кафки о маленьких событиях, которые он с таким удовольствием вводит в свои рассказы о детстве, о дороге в школу и т. д. Так он говорит и о себе в настоящем — с грустью, но юмористически поднимаясь над ситуацией... Эта способность с улыбкой, с юмором смотреть сверху вниз на все свои страдания поднимала его над волнами несчастья, в которых иначе он бы захлебнулся. И во всех несчастях он несмотря ни на что всегда сохранял способность дистанцироваться от них. Поэтому даже о самых печальных вещах он мог сообщить так, что это звучало почти как шутка... Конечно, это не было веселым остроумием и легким развлечением, это был какой-то серьезный юмор, и именно поэтому он мог в творениях Кафки соединяться с религией. Несовместимость этих понятий Кафка опровергает почти всеми своими сочинениями[16].

Ж. Монно

Характер Франца Кафки{215}

(Результат графологического исследования)

Почерк представляет собой очень сложное выражение человеческой природы. Всякое отклонение от школьных прописей — это симптоматический признак, определяемый индивидуальностью пишущего, и самый крохотный графический элемент есть частное выражение этой индивидуальности. Не приходится объяснять, что для ее определения маленького фрагмента текста недостаточно. Для проведения анализа требуется много страниц оригинальной рукописи. В данном случае мы имели лишь фотокопию одного документа без даты и — впоследствии — подпись. Вот что нам представлялось несомненным еще до того, как мы узнали, кто был автор текста.

Прежде всего этот почерк выдает природу вибрирующую, сверхчувствительную и трепетную, отличающуюся такой остротой восприятий, что какой-нибудь лучик света или колебание волны, отражение или малейшее прикосновение непреодолимо вызывают поток эмоций, реагирующий на все возмущения постоянным и обратимым обновлением переживаний, — природу гипернервическую, сверхэмоциональную и неуравновешенную, сжигаемую внутренним огнем и пребывающую главным образом в сфере иррационального и интуитивного: интуиция огромна и носит несколько визионерский характер.

Природа чрезвычайно артистическая; высокая культура, масса обаяния и блеска. Склонности — к поэзии и литературе, во всяком случае — интеллектуальные.

Общая направленность скорее философская; что касается интересов, то они разнообразны, присутствуют даже политические. У писавшего есть идеи, — много идей и много верных идей, так как он наделен хорошей способностью суждения. Это чрезвычайно сильная, чрезвычайно стойкая, оригинальная личность. Это — крайний индивидуалист.

Преобладающая линейность почерка (округлых форм мало) выдает склонность к усмотрению сущности явлений. Восприимчивость и образование идей связаны. Силы и импульсы трансформируются в мысль под влиянием высшей потребности в объективности и логике. Дух исключительно живой; основной род активности — абстрагирующая работа ума.

Склонность к анализу, систематическая концентрация, на которую направляется вся энергия, определяют мыслителя-дилетанта художественного типа, но — глубокого, погружающегося в отыскание сути вещей вплоть до метафизического уровня. Действительно, нажим, упрощенные начертания, сильные вертикальные пульсации этого почерка заставляют предполагать поиски вневременного.

Единственный случай более полно выписанных форм — прописные буквы, в особенности «В» (символ матери). Это говорит о том значении, которое имеют для писавшего иерархия, ценности, потребность соотносить себя со стандартами аристократической высоты, с принятыми образцами. Но эти прописные буквы незаконченны и иногда сужены, что говорит о наличии проблем в отношениях с родителями.

Когда присутствует сверхчувствительность, эмоциональная жизнь ограничивается, блокируется, она хрупка, она сводится к восприятиям и впечатлениям, с которыми писавший себя полностью идентифицирует. Бегство, мимикрия, способность приспосабливаться, прагматичная смена окраски, склонность перевоплощаться, играть разные роли, амбивалентность характера, разрывающегося между противоположными полюсами, эмоциональная жадность и щедрость, но также и невозможность установить прямой эмоциональный контакт: он всегда устанавливается не прямо, а очень сложными обходными путями, — все это составляет почти картину болезни, обусловленную эмоциональной необеспеченностью в детстве.

Это объясняет комплекс неполноценности, сверхкомпенсируемый в честолюбии, амбициозности, в желании блистать. Этим объясняются одиночество, глубокая раздвоенность, неспособность реализовать себя в повседневной жизни, определенные болезненные проявления и устремленность к недостижимому идеалу, к которому он бежит от реальной жизни. Но писавший ищет глубинные корни бытия в бессознательном. Он подвержен депрессиям. Им движут иррациональные силы, увлекая его то в бездну, то к абсолюту. А поскольку это творец, он переносит все свои проблемы в творчество. Эмоциональная неустойчивость; физическая активность, но в то же время и — хрупкость. Зато — железная воля, экстремизм, заставляющий, вынуждающий его двигаться вперед по очень прямому пути, от которого он не отклоняется. Такое формирование может подорвать жизненные силы, может породить некий «пафос». Наконец, несомненна некая инстинктивная интенциональность и, как следствие, недостаточная реалистичность и надежда постичь чистую сущность вещей.

Натали Саррот

От Достоевского к Кафке{216}

Мы привыкли слышать, что в современном романе отчетливо выделяются два жанра: психологический и ситуационный. С одной стороны — роман Достоевского, с другой — роман Кафки. Если верить Роже Гренье[17], сами события, иллюстрируя знаменитый парадокс Оскара Уайльда[18], разделяются на два эти жанра. Но похоже, что события Достоевского и в жизни, и в литературе встречаются редко. «Дух нашего времени, — констатирует г-н Гренье, — делает выбор в пользу Кафки... Даже в СССР уже не увидишь персонажей Достоевского, предстающих перед судом присяжных». «Сегодня, — продолжает он, — мы имеем дело с homo absurdus[19], не живущим, а обитающим в том времени, пророком которого явился Кафка».

Этот кризис того, что с некоторой долей иронии называют «психологизмом», беря слово в кавычки, как в губы щипцов, порожден, видимо, состоянием современного человека, задавленного механической цивилизацией, редуцированной, по выражению К. Э. Маньи, к тройной детерминированности голодом, сексуальностью и классовой принадлежностью — Павловым, Фрейдом и Марксом; тем не менее для писателей, как и для читателей, кризис, похоже, является знаменем эпохи надежности и надежды.

Канули в прошлое те времена, когда Пруст мог верить, что, «простирая свое восприятие так далеко, как только позволяет его проникающая способность», он мог бы «попытаться достичь той предельной глубины, где залегает истина, реальный мир, наше аутентичное восприятие». Сегодня все мы, наученные опытом многих разочарований, отлично знаем, что предельной глубины не существует. «Наше аутентичное восприятие» обнаружило в себе множество глубин, и глубины эти уходят в беспредельность.

То, что вскрыл анализ Пруста, было лишь поверхностным, не более того. Но эта поверхность, в свою очередь, скрывала новую глубину, и ее удалось высветить с помощью внутреннего монолога, который оправдал столь основательно возлагавшиеся на него надежды. И мощный рывок, осуществленный мчавшимся без остановок психоанализом, который одним скачком пронизывал множество глубин, продемонстрировал неэффективность классической интроспекции и заставил усомниться в абсолютной ценности всей процедуры исследования.

«Homo absurdus» явился, таким образом, голубем ковчега, вестником спасения.

В конце концов можно было бы без угрызений совести оставить бесплодные попытки, изнуряющие вчувствования и иссушающие мудрствования; современный человек, это обездушенное тело, игрушка враждебных сил, по существу не представлял собой ничего, кроме того, чем казался внешне. За невыразительным оцепенением покоя, которое поверхностный взгляд мог заметить на лице погруженного в себя человека, не скрывалось никакого внутреннего движения. Тот «шум, подобный молчанию», который любители психологизма слышали, как им казалось, в его душе, в конечном счете был именно молчанием.

Его сознание было соткано из тонких ниток «расхожих мнений, принятых под влиянием группы, к которой он принадлежал», а сами эти клише прикрывали «глубокую пустоту», почти полное «отсутствие своего я». Его «совесть», эта «невыразимая близость с самим собой»,

Была лишь зеркальным охотничьим манком. «Психологизма» — источника стольких разочарований и мук, более не существовало.

Эта успокаивающая констатация порождала тот оптимизм, то восхитительное чувство обновления, которое обычно вызывают ликвидации и отречения. Можно было перегруппировать силы и, забыв прежние огорчения, снова приниматься за дело «на новых основаниях». Более доступные и более приятные для глаз возможности, казалось, открывались со всех сторон. Многообещающее искусство кинематографа подталкивало роман вернуться после стольких бесплодных усилий к трогательной юношеской скромности, воспользовавшись новой техникой. Святая простота молодого американского романа, его немного грубоватая бодрость, как некая благодетельная инфекция, вновь привнесла толику витальности и силы в наш расслабленный на почве злоупотреблений анализом роман, которому грозило старческое иссушение. Литературные объекты смогли вновь обрести округлость очертаний, законченность, лоск и крепость прекрасных классических произведений. «Поэтический», чисто описательный элемент, в котором романист часто не видел ничего, кроме бесполезных украшений, и который весьма скупо дозировал, тщательно его фильтруя, перестал играть уничижительную роль вспомогательного средства, всецело подчиненного требованиям психологизма, и свободно расцвел почти везде. Заодно и стиль, к величайшему удовлетворению тех «людей со вкусом», которые внушали Прусту немало тревожных опасений, вновь обрел чистые контуры и элегантно сдержанность, столь трудно совместимые с гримасами, топтаньем на месте, утонченной пронизательностью или затягивающей вязкостью психологизма.

И вот, совсем близкий к нам Кафка, чье послание нам столь счастливым образом соединилось с влиянием американцев, показал, какие не исследованные еще области могут открыться писателю, освободившемуся, наконец, от печальной близорукости, которая заставляет его самым пристальным образом вглядываться в каждый объект, не позволяя видеть дальше кончика своего носа.

В конце концов и те, кто, несмотря на все эти заверения и обещания, еще сохраняли определенные сомнения и продолжали беспокойно прислушиваться, стремясь наверняка убедиться в том, что за стеной молчания не продолжает звучать какое-то эхо прежнего шума, могли вполне успокоиться.

Та частичка вселенной, охватом которой предусмотрительно ограничивался новый роман, образовывала, в отличие от бесформенного и дряблого материала, проседавшего и расплывавшегося под ударами аналитического скальпеля, некое плотное, твердое и абсолютно неразложимое целое. Сама эта твердость и непрозрачность сохраняла ее сложной и внутренне насыщенной и сообщала ей проникающую способность, позволявшую достичь не только внешних бесплодных областей читательского интеллекта, но и бесконечно плодородных «рассеянных и незащищенных областей чувствительной души». Эта частичка вызывала волшебный и целительный шок, нечто вроде эмоционального потрясения, которое позволяло единым взглядом, как при вспышке молнии, охватить весь объект целиком со всеми его деталями, возможными хитросплетениями и даже безднами — если, по случаю, таковые в нем имелись. Таким образом, здесь ничего нельзя было потерять и, казалось, все можно было приобрести.

Когда появился «Посторонний» Альбера Камю, мы были вправе считать, что все надежды сбылись: как всякое произведение, имеющее реальную ценность, роман появился как нельзя более кстати; в нем воплотились наши ожидания, в нем кристаллизовались наши слабые, нерешительные поползновения. Больше нам не нужно было никому завидовать. Теперь и у нас, и у нас тоже был свой *homo absurdus*. И он имел, даже по сравнению с героями самих Дос Пассоса и Стейнбека, то неоспоримое преимущество, что был описан не издалека и извне, как те, а изнутри, в классической технике самонаблюдения, столь милой почитателям психологизма, и мы с самого близкого расстояния, заняв, так сказать, самые удобные места, могли констатировать его внутреннее ничтожество. Как писал Морис Бланшо, «этот Посторонний относится к самому себе так, как если бы это кто-то другой его видел и о нем говорил... Он весь вовне. Кажется, чем меньше он думает и чувствует, чем менее близок самому себе, тем более он является самим собой. Это образ самой человеческой действительности, очищенной от всех психологических условностей в попытке уловить ее исключительно внешним описанием, лишенным всяческих ложных субъективных объяснений» [20]. А вот мнение К. Э. Маньи: «Камю хочет показать нам внутреннее ничтожество своего героя и, сквозь него, наше собственное ничтожество... Мерсо — это человек, с которого снято все готовое платье, прикрывающее нормальное ничтожество общественного существа, его совести... Те чувства, те психологические реакции, которые мы пытаемся в нем обнаружить (грусть после смерти матери, любовь к Марии, раскаяние в убийстве араба), у него отсутствуют: мы находим лишь отражение его собственного поведения, абсолютно схожее с тем, какое могут иметь и другие» [21].

И в самом деле, если по ходу сцены похорон его матери ему и случилось найти в самом себе какие-то из тех чувств, которые должен был — не без некоторого робкого смятения — вскрыть классический анализ, какие-то из тех мимолетных «затемненных и боязливых» мыслей, которые, как обнаружил этот анализ, «проскальзывают (среди многих иных) с потаенной быстротой рыб», то это были: удовольствие от прекрасного утра, проведенного за городом, сожаление о прогулке, от которой ему пришлось отказаться из-за этих похорон, или воспоминание о том, чем он обычно занимался в такой ранний час, и напротив, все, что имело прямое или косвенное отношение к его матери, — не только обычная печаль (можно было бы, не очень нас удивив, испытать, подобно одной из героинь Вирджинии Вулф, чувство освобождения и удовлетворения), но всё, все чувства и мысли, словно по мановению какой-то волшебной палочки, казалось, были полностью подавлены. В столь превосходно очищенном и ошкуреном сознании не осталось ни малейшего следа воспоминаний, связанных с впечатлениями детства, ни самой легкой тени тех клишированных эмоций, проскальзывание которые чувствуют даже считающие себя более всех защищенными от традиционных переживаний и литературных реминисценций.

Это состояние анестезии своей видимой глубиной почти заставляет вспомнить больных Жане [22], страдавших от того, что называется «ощущением пустоты», и бродивших, повторяя: «Все мои чувства исчезли... Моя голова пуста... Мое сердце пусто... и люди, и вещи — все мне безразлично... Я могу совершать любые поступки, но, совершая их, я уже не испытываю ни радости, ни боли... Ничто меня не привлекает, ничто не отталкивает... Я — живая статуя, мне не важно, что со мной происходит, ничто на свете не может вызвать у меня ни впечатления, ни чувства...»

Тем не менее, несмотря на такое сходство языка, между героем Альбера Камю и больными Жане нет ничего общего. Этот Мерсо, проявляющий себя в определенных отношениях столь бесчувственным, примитивным и словно бы слегка отупевшим, в то же время обнаруживает тонкий вкус и изысканную чувствительность. Сам стиль его выражений представляет его не соперником мычащих героев Стейнбека, а, скорее, наследником принцессы Клевской и Адольфа [23]. Это стиль, как выражался аббат Бремон [24], «весь усеян зимними розами».

У этого Постороннего мощный, острый мазок, богатство красок большого художника: «Не улыбнувшись, она склонила свое длинное костистое лицо»; «Я чувствовал себя несколько потеряно между бело-голубым небом и однообразием этих тонов: вязкой чернотой вскрытого гудрона, тусклой чернотой одежд и лаковой чернотой катафалка». С чувствительностью поэта он замечает нежную игру света и тени и меняющиеся оттенки неба. Он вспоминает «поток солнечного света, заставляющий пейзаж содрогаться» и «запах ночи и цветов». Он слышит «жалобу... которая медленно поднимается, словно цветок, рожденный тишиной». Вкус, руководящий выбором его эпитетов, безупречен. Этот Посторонний говорит нам о «сонном мысе», о «темном дыхании».

Но есть вещи, которые могут смутить еще больше. Ведь он, если судить о нем по деталям, привлекающим его внимание (вспомним хотя бы эпизод с «чокнутой» или, в особенности, эпизод со стариком Саламано, который ненавидит и мучает свою собаку и, в то же время, с глубокой и трогательной нежностью ее любит), способен — разумеется, проявляя осмотрительность и сдержанность, но не испытывая отвращения — заглядывать в бездны. При всей «наивности» и «необдуманности», с которыми он, как говорит Морис Бланшо, раскрывает «истинную, неизменную формулу существования человека: я не думаю, мне не о чем думать», он бесконечно более искушен, чем может показаться. Например, такое оброненное им замечание: «Все разумные существа в большей или меньшей степени желают смерти тем, кого любят» — хорошо показывает, что ему случается, причем несомненно чаще, чем кому-либо, вторгаться с достаточно нетрадиционными вопросами в запретные и опасные зоны.

Возможно, именно эти, столь очевидные противоречия и вызывают у читателя то тягостное чувство, от которого невозможно отделаться на протяжении всей книги. И только в конце, когда, не в силах более сдерживаться, герой Альбера Камю чувствует, что «в нем... что-то прорвалось», и «выплескивает... все, что у него на душе», мы чувствуем себя освобожденными вместе с ним: «...Казалось, я остался с пустыми руками. Но я был уверен в себе, уверен во всем... уверен в моей жизни и в той смерти, которая должна была наступить... Я был прав, я все еще был прав, я всегда был прав <...> Какое мне дело до чьих-то смертей, до материнской любви, какое мне дело до... жизни, которую выбирают, до судьбы, которую избирают, когда одна и та же, не оставляющая выбора, судьба должна постигнуть и меня самого, и вместе со мной миллиарды избранных... На свете нет никого, кроме избранных... И в один прекрасный день они тоже будут приговорены».

Наконец-то! Итак, свершилось. То, что мы робко предполагали, разом нашло свое подтверждение. Этот столь простой и столь страшный молодой служащий, в котором нас пригласили узнать долгожданного нового человека, в действительности оказался одним из его антиподов. Его поведение, которое временами могло напомнить упрямый негативизм обиженного ребенка, было следствием выбора, сделанного решительно и надменно, было отчаянным и трезвым отрицанием, было примером и, возможно, уроком. Его свойственное истинному интеллектуалу добровольное исступление, с которым он культивирует чистое восприятие, его вполне сознательный эгоизм — плод кое-какого трагического опыта, о котором он поведал, силой исключительной чувствительности и некоего острого и непреходящего чувства пустоты (разве он не сообщил нам, что прежде, «когда он был студентом, у него были большие амбиции», но, «будучи вынужден бросить учебу, он очень быстро понял, что все это не имеет реальной ценности») сближает Постороннего с Имморалистом Жида.

Таким образом, благодаря анализу, благодаря этим психологическим разъяснениям, которые Альбер Камю, во избежание множества хлопот, предпринял в самый последний момент, противоречия и неправдоподобия его книги объяснились, и чувство, к концу книги целиком овладевшее нами, оказалось оправданным.

Альбер Камю попал в положение весьма похожее на положение короля Лира, нашедшего пристанище у наименее благодетельствованной из своих дочерей. Тому «психологизму», который он тщательной прополкой старался искоренить и который, как сорняк, снова везде прорастал, он в конечном счете обязан своим спасением.

Но как бы ни были мы умиротворены, закрыв книгу, нам не удается избежать чувства некоторой злости на автора: мы сердиты на него, он слишком долго заставлял нас блуждать. То, как он ведет себя по отношению к своему герою, вынуждает нас несколько чаще, чем хотелось бы, вспоминать о мамашах, одевающих своих рослых — и уже взрослых — дочек в слишком коротенькие юбочки. В подобной неравной борьбе психологизм, как и природа, вновь одерживает верх.

Но, может быть, Альбер Камю, наоборот, старался доказать нам от противного, что в нашем климате невозможно обойтись без психологии. Если именно таково было его намерение, он в нем вполне преуспел.

Хорошо, скажут мне, но причем тут Кафка? Кто станет утверждать, что и для него homo absurdus тоже не более чем мираж? Кафка не занимает никакой сознательно выбранной позиции, не тревожит себя никакими дидактическими заборами, не примыкает ни к одной из партий. Ему нет необходимости предаваться какой-то прополке, она невозможна: на тех голых землях, куда он нас за собой увлекает, не может вырасти ни травинки.

И все же нет ничего более произвольного, чем противопоставлять его, как это часто сегодня делают, тому, кто был если не его учителем, то, во всяком случае, его предшественником, так же как он является предшественником почти всех европейских писателей нашего времени — не важно, знают они об этом или нет. По этим обширным территориям, к которым Достоевский открыл подходы, Кафка проложил дорогу — единственную узкую и длинную дорогу; он провел ее только в одном направлении и прошел по ней до конца. Чтобы убедиться в этом, мы на несколько мгновений должны вернуться назад и, преодолевая отвращение, окунуться в самую густую душевную муть. В келье преподобного старца Зосимы при большом стечении публики выступает на сцену и представляется старик Карамазов: «Вы видите пред собою шуга, шуга воистину! Так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы!» — он кривляется, он ломается, нечто вроде пляски Святого Витта искажает все его движения, он принимает гротескные позы, с жестокой и язвительной трезвостью он описывает униженные положения, в которые ставил себя, он употребляет в речи те одновременно смиренные и агрессивные уменьшительные формы, те слащавые и едкие словечки, которые любят столь многие персонажи Достоевского, он бесстыдно лжет и, пойманный с поличным, ничуть не смущается... Его никогда нельзя застать врасплох, он себя знает: «Представьте, ведь я и это знал... и даже, знаете, предчувствовал... только что стал говорить, и даже, знаете, предчувствовал [так как ему бывали странные предзнаменования], что вы мне первый это и заметите». Он унижается еще больше, словно зная, что этим унижает, бесчестит вместе с собой и остальных; он насмехается, он признается: «сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал... Для пикантности присочинил» — ибо, подобно больному, постоянно занятому выслеживанием в себе симптомов своей болезни, опрокидывающему взгляд в самого себя,

он себя прощупывает, он шпионит за собой. Он лезет из кожи вон для того, чтобы улажить окружающих, чтобы снискать их благоволение, чтобы их обезоружить: «Для того и ломаюсь..., чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего». И когда он крутится таким вот волчком, невольно вспоминаются те клоуны, которые, не переставая кувыркаться, сбрасывают с себя, одну за другой, все свои одежды: «не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается» — он снова ползает, извиваясь: «небольшого, впрочем, калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал», — но тут же распрямляется и жалит: «только не вашу... и вы ведь квартира неважная». Старец попытался его успокоить: «„Убедительно и вас прошу не беспокоиться, не стесняться... будьте совершенно как дома. А главное [ибо и он, и он тоже без тени негодования или отвращения исследует эту мутную гущу, которая кипит и переливается через край], не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит“». — „Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много... до натурального вида я и сам не дойду“» — и, отпустив непристойную и мальчишескую шутку, тут же вновь становится серьезен; старец верно понял его — он кривляется для того, чтобы не только соответствовать мнению, которое о нем сложилось, но чтобы еще и всех в этом мнении перещеголять: «мне все так и кажется, когда я к людям вхожу... что меня все за шута принимают, так вот „давай же я и в самом деле сыграю шута... потому что все вы до единого подлее меня“! Вот поэтому я и шут, от стыда шут, старец великий? От стыда». Мгновение спустя он падает на колени и — «трудно было и теперь решить: шутит он или в самом деле в таком умиленном?» «Учитель!.., что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Старец чуть придвинулся к нему[25]: «Главное, самому себе не лгите... Лгущий себе самому... самый первый обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия...» Будучи искусственным знатоком, старый Карамзов способен это оценить: «Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть, — вот что вы забыли, великий старец: красиво!» Подпрыгивая, он делает еще оборот и сбрасывает еще один клоунский наряд: «Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я... чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я... вас ощупывал... Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место?..»

Выбираясь из такого круговорота, трудно не удивляться доверию, которое приверженцы метода, состоящего в честной обрисовке внешних контуров объекта, должны испытывать к читателю (даруя ему, таким образом, то, в чем они — забавное противоречие — отказывают своим персонажам), чтобы воображать, что тот силой какой-то волшебной интуиции способен даже по прочтении длинного романа понять, что это всего лишь часть того, что ему открыли вот эти только что очень грубо изложенные нами шесть страниц.

Все эти странные кривлянья (на это было бы излишне обращать внимание, если бы до сих пор не находились люди, позволяющие себе, подобно г-ну Лото, всерьез рассуждать о «душевнобольном Достоевском»), эти беспорядочные прыжки и ужимки с неукоснительной точностью, без самолюбования и без кокетства, выражают во внешнем — как колебания стрелки гальванометра отражают, усиливая, самые слабые изменения тока — тонкие, едва уловимые, мимолетные, противоречивые, исчезающие движения, слабые содрогания, робкие попытки призывов и отступления, — те легкие скользящие тени, непрерывная игра которых образует невидимую ткань всех человеческих отношений и саму субстанцию нашей жизни.

Несомненно, средства, использованные Достоевским для передачи этих глубинных движений, — средства примитивные. Живи он в наше время, более тонкие инструменты исследования, которыми располагает современная техника, несомненно, позволили бы ему схватить эти движения в их зарождении и избежать всей этой неправдоподобной жестикюляции. Однако, воспользовавшись нашей техникой, он, быть может, потерял бы больше, чем приобрел. Она склонила бы его к большей реалистичности и большей тщательности в деталях, но он утратил бы оригинальность и наивную отвагу мысли; несколько потерял бы он и в поэтической мощи заклинания, и в трагической силе.

И скажем сразу, то, что выявляют все эти резкие скачки, эти кульбиты и пируэты, пророчества и признания, не имеет абсолютно ничего общего с тем обманчивым и абстрактным изложением мотивов, которое упрекают сегодня за генетическую связь с процедурой анализа. Сами по себе такие глубинные движения, подобные движениям атомов, и их непрерывные завихрения, проявляющиеся во всех этих гримасах, — не что иное как действия, и отличаются они от грубых действий первого плана, которые демонстрирует нам какой-нибудь фильм или роман Дос Пассоса, только своей деликатностью, своей сложностью, своей — употребляя любимое словечко Достоевского — «подпольной» природой.

Эти движения с разной степенью интенсивности и в бесконечном разнообразии вариантов обнаруживаются у всех персонажей Достоевского: у героя «Записок из подполья», у Ипполита и Лебедева, у Грушеньки и Рогожина и, в особенности, у Вечного мужа, у которого они точнее, сложнее, тоньше и сильнее, чем у других. И у него, как мы помним, те же тайные прыжки и замысловатые зигзаги, те же уловки и фальшивые надрывы, те же попытки сближения, и необыкновенные предчувствия, и провоцирующее поведение; это все та же изоциренная загадочная игра, в которой ненависть смешивается с нежностью, возмущение и ярость — с детской покорностью, низость — с самой настоящей гордостью, коварство — с простодушием, предельная деликатность — с предельной грубостью, фамильярность — с почтительностью; он задирает, подстрекает, нападает, он подличает и выслеживает, он убегает, когда его ищут, и не уходит, когда его гонят, он пытается разжалобить — и тут же жалит, и плачет, и выказывает свою любовь, он отдает всего себя, он жертвует собой — и спустя несколько мгновений наклоняется с бритвой в руке, чтобы убить, он говорит все тем же слащавым, чуть насмешливым и заискивающим языком, уменьшительные формы делают его речь униженной и агрессивной, он раболепно удлинняет слова свистящими словоерсами, которые в русском языке того времени означали ерничество и приторное почтение, но в отдельные моменты он важно выпрямляется во весь свой человеческий рост, он возвышается, он вознаграждает и великодушно прощает, он подавляет.

Эти конфигурации так часто повторяются в тысяче различных ситуаций во всех сочинениях Достоевского, что его почти можно было бы упрекнуть в некотором однообразии. Временами создается впечатление, что сталкиваешься с настоящей одержимостью, с какой-то навязчивой идеей.

«Все его персонажи, — пишет Жид[26], — выкроены из одного материала. Гордость и унижение, наряду с мотивами разного рода тщательных расчетов, остаются тайными пружинами их поступков, но реакции их весьма пестры». Кажется, однако, что унижение и гордость, в свою очередь, — всего лишь форма, некая пестрая окраска. Под ними скрывается другая, еще более тайная пружина, а унижение и гордость — не более чем проявления ее движений. И, несомненно, именно это исходное движение, дающее импульс всем остальным, это место, где сходятся линии действия всех сил, пронизывающих огромную бурлящую массу, подразумевал Достоевский, говоря о своей «сущности», о той «всегдашней сущности», откуда он, по его словам, черпал материал для всех своих сочинений, как бы ни были они различны по форме. Это место схождения, эту «сущность» достаточно трудно определить. Быть может, мы получим какое-то

отправлением о ней, предполагая, что, в принципе, именно ее имела в виду Кэтрин Мэнсфилд, с некоторым страхом и, возможно, легким отвращением поиняя «ужасное желание установить контакт».

Этой постоянной и почти маниакальной потребностью контакта, каких-то невозможных успокоительных объятий отмечены все персонажи Достоевского; словно в помутнении рассудка они ежеминутно пытаются любыми средствами пробиться к другому, проникнуть в него как можно глубже, чтобы заставить его утратить беспокоящую, невыносимую непрозрачность и, в свою очередь, открыться ему, раскрыть перед ним свои самые сокровенные тайны. Мимолетная замкнутость его героев, их тайные скачки, их скрытность, их противоречивость и та непоследовательность поведения, которую они иногда, кажется, увеличивают без необходимости и которой манят других, — всего лишь кокетство, попытка привлечь внимание, разжечь любопытство и заставить приблизиться к ним. Их унижение — лишь робкий, извращенный призыв, способ представить себя совсем близким, доступным, безоружным, открытым, принесенным в жертву, целиком вверившимся пониманию другого, целиком полагающимся на его великодушие: все барьеры, возводимые достоинством и тщеславием, разрушены, каждый может приблизиться и без опасений войти — доступ открыт. И их внезапные приступы гордости, когда получен невыносимый отказ, когда их призыв оставлен без ответа, когда их порыв остужен, когда путь, по которому пытались направиться их унижение, оказался закрыт, — это лишь мучительные попытки дать задний ход и, направившись по другому пути, ведущему через ненависть, через презрение, через причиненное страдание — или через какой-нибудь подвиг, какой-нибудь неожиданный и поражающий жест, исполненный дерзости и благородства, вновь установить контакт, вновь овладеть другим.

Из этой невозможности солидно стоять в стороне, на расстоянии, оставаться «себе на уме», противопоставляя себя другим или хотя бы просто сохраняя безразличие, и рождается странная податливость его героев, то необычайное послушание, с которым они в каждый миг, словно стремясь умиловить других, стремясь снискать их расположение, лепят себя по своему собственному образу, отражение которого они видят в глазах других. Отсюда же и этот импульс, поминутно толкающий тех, кто чувствует себя униженным, унижаться еще больше и заставлять других погрязать в том же унижении вместе с ними. Как замечает Андре Жид [27], «они не умеют, они не способны ревновать», они «знают ревность только как страдание», и соперничество, предполагающее ревность, порождает у них тот невыносимый антагонизм, тот надрыв, которого они стремятся избежать любой ценой; к тому же это соперничество ежеминутно разрушается, затопляется странной нежностью или тем совершенно особым чувством, которое едва ли можно назвать ненавистью и которое у них — лишь некий способ сблизиться со своим соперником, поразить его, связать его через объект любви.

Того отказа в рассмотрении, той «мудрости непонимания», о которой говорил Рильке и которая, по его словам, состоит в «приятии одиночества, ибо борьба и презрение — это способы соучастия в вещах», — такого непонимания у героев Достоевского не встречается почти никогда. Контакт непременно устанавливается. Призыв всегда оказывается услышан, и на него всякий раз следует какой-то ответ — будь то порыв нежности и прощение или борьба и презрение.

Ибо хотя для избранных, таких, как Алеша, старец Зосима или Идиот, дороги, ведущие к другим, это королевские, широкие и прямые дороги любви, в то время как другие, менее счастливые, видят перед собой только грязные и кривые пути, а некоторые способны лишь пятиться, спотыкаясь о тысячи препятствий, но все идут к одной и той же цели.

Каждый отвечает, каждый понимает. Каждый знает, что он — лишь случайное, более или менее счастливое соединение элементов, определяемых одной и той же общей сущностью, что все остальные таят в себе его собственные возможности, его собственные поползновения; из-за этого каждый судит поступки других так же, как он судит свои собственные, без отстранения, изнутри, со всеми их бесчисленными нюансами и противоречиями, не допускающими классификации, не допускающими грубого наклеивания ярлыков; из-за этого ни у кого и никогда не может возникнуть объемного видения поступков других, которое одно только и допускает злопамятность или осуждение; отсюда и то беспомощное любопытство, которое заставляет каждого непрерывно проникать в душу другого; отсюда же и эти удивительные пророчества и предчувствия, эта ясность, этот сверхъестественный дар пронизательности, который свойствен отнюдь не только героям, осененным светом христианской любви, но и темным персонажам, всем этим сладкавым и ядовитым паразитам, этим ларвам, которые без конца роют и баламутят отмели души, с наслаждением нюхая тошнотворную грязь.

Само преступление, убийство, появляющееся как итоговый результат всех этих движений, как дно пропасти, над краем которой все и всякую минуту склоняются, полные страха и влечения, для них — лишь некое последнее объятие и единственный окончательный надрыв. Но даже этот последний надрыв еще может быть заглажен публичным покаянием, посредством которого преступник вносит своим преступлением вклад в общественное достояние.

Действительно, ни в одном из сочинений Достоевского (может быть, за одним-единственным исключением) окончательного надрыва, непоправимого разъединения не происходит. Если один из двух партнеров и позволяет себе иногда сделать слишком большой прыжок в сторону и осмеливается разговаривать так отстраненно и нагло, как Вельчанинов в «Вечном муже» («игра» давно уже окончена, и он вновь стал довольным светским человеком, каким был до ее начала), короткого призыва к порядку — отказа в рукопожатии, двух с половиной слов: «А Лизавета-с» — оказывается достаточно для того, чтобы светский лоск мгновенно потускнел и слетел и контакт восстановился.

Лишь в одном-единственном из его повествований — и только оно одно поистине исполнено отчаяния — в «Записках из подполья», которые возникают словно бы на границе, в самой дальней точке всего творчества Достоевского, надрыв завершается: мы помним это безжалостное отторжение человека из подполья его товарищами, маленькими, ограниченными и пошлыми чиновниками, и молодым офицером с фамилией от животного, нечеловеческого корня — этим Зверковым, обладателем тупой «бараньей башки» и элегантных, ловких, уверенных, отстраняюще учтивых манер, который «молча рассматривал» его, «как букашку», в то время как он лез перед ними из кожи вон, напрасно обращая к ним пристыженные, смешные призывы.

Эта непреходящая потребность в установлении контакта — характерная, исконная черта русского народа, с которым так сильно связано всеми своими корнями творчество Достоевского, — способствовала тому, что русская земля стала избранной землей, настоящим черномозгом психологизма.

В самом деле, что как не эти страстные вопросы и ответы, приближения и мнимые отступления, убегания и преследования, приставания и соприкосновения, удары, ласки, укусы и объятия, — что может больше согреть, взволновать, заставить обнаружить себя и

выплеснуться наружу огромную дрожущую массу, в чьих приливах, отливах и едва осязаемых вибрациях пульсирует сама жизнь?

Под напором смятенных чувств оболочка, их заключающая, истончается и разрывается. Происходит как бы некое смещение центра тяжести персонажа снаружи внутрь — смещение, которое современный роман не устает подчеркивать.

Часто отмечалось, что несмотря на тщательное описание, которое Достоевский, отвечая требованиям времени, полагал своей обязанностью, его герои производят ирреальное впечатление (о них говорили, что они все как бы прозрачны, их видишь насквозь).

Его персонажи уже стремятся стать тем, чем все больше становятся романские персонажи теперь, — не столько полнокровными, реальными человеческими «типами», которые мы, как нам представляется, видим вокруг и в нескончаемой переписи которых, кажется, заключена главная цель романиста, сколько простыми подпорками, носителями неких, порой еще неисследованных, состояний, обнаруживающихся в нас самих.

Возможно, светский снобизм Пруста, отражавшийся с почти маниакальной навязчивостью во всех его персонажах, есть просто некая разновидность той же самой неотступной потребности в слиянии, но взросшая и взлелеянная на совершенно иной почве, в церемонном и рафинированном обществе Сен-Жерменского предместья Парижа начала этого века. Во всяком случае, творчество Пруста уже показывает нам, что сложные и летучие состояния (следовало бы сказать: «движения»), тончайшие нюансы которых он в процессе мучительных поисков сумел уловить в своих героях, это то наиболее ценное и прочное в его творениях, что продолжает жить и сегодня, в то время как их, быть может, чуточку слишком плотные оболочки — Сван, Одетта, Ориана Германтская или Вердюрены — уже отправились по направлению к тому огромному историческому музею, куда рано или поздно водворяются литературные «типы».

Возвращаясь, однако, к Достоевскому, надо заметить, что те движения, на которых сконцентрировано все его внимание — и внимание всех его героев, и внимание читателя, — порождены общей сущностью и, подобно каплям ртути, без конца стремятся преодолеть разделяющие их оболочки и слиться в одну общую массу; эти подвижные состояния, пронизывающие все его произведения, перетекают от одного персонажа к другому, обнаруживаются у всех, преломляются в каждом под другим углом и каждый раз высвечивают один из бесчисленных еще неизвестных нам оттенков, заставляя предчувствовать нечто такое, что явит нам какой-то новый унаимизм[28].

Связь между этими по-прежнему многообещающими для исследователей творениями — этим все еще животворным источником новой техники — и творчеством Кафки, которое сегодня пытаются им противопоставить, кажется очевидной. Если видеть в литературе никогда не прерывающийся эстафетный бег, то представляется, что именно из рук Достоевского, скорее чем из чьих-либо еще, принял эстафету Кафка.

Его К., у которого даже имя съезжилось до простого инициала, являет собой, как мы помним, весьма слабую подпорку. И то чувство (или пучок чувств), которое стягивает и удерживает его легкую оболочку, — что это, как не то самое, страстное и беспокойное, желание «установить контакт», путеводной нитью проходящее сквозь все творчество Достоевского? Но если героев Достоевского эта нить ведет сквозь самый братский из возможных миров на поиски какого-то взаимопроникновения, какого-то всеобщего и всегда возможного слияния душ, то все усилия героев Кафки устремлены к цели, одновременно и более скромной, и более далекой. Герой Кафки лишь хочет стать для тех людей, «которые пока так недоверчивы к нему... пусть не другом, но все же одним из сограждан», или получить возможность предстать перед судом и оправдаться перед неизвестными и недоступными обвинителями, или же сохранить, несмотря на все препятствия, некое жалкое подобие отношений с теми, кто ему ближе всех.

Но эти скромные устремления выявляют такое отчаянное упорство, такое человеческое страдание, такую нужду и такую полную беспомощность, что выходят из плоскости психологизма и оказываются в состоянии дать материал для всевозможных метафизических интерпретаций.

Однако желающим убедиться, что герои Кафки не имеют ничего общего с теми романскими персонажами, которых их создатели — в целях ли упрощения, в силу ли предвзятого мнения или дидактической озабоченности — освободили «от всех мыслей и от всякой субъективности» и представили нам как «чистый образ человеческой действительности» без примеси каких-либо «психологических условностей», достаточно перечитать подробные и тонкие анализы, которым, едва только между персонажами устанавливается самый легкий контакт, со страстной трезвостью предаются герои Кафки. Таковы «патологоанатомические вскрытия» поведения и чувств К. по отношению к Фриде, выполняемые острейшим аналитическим скальпелем поочередно хозяйкой, Фридой и самим К. и обнажающие сложные сцепления тонких шестеренок, игру многообразных и зачастую противоречивых намерений, порывов, расчетов, впечатлений и предчувствий.

Но эти моменты искренности, эти благодатные состояния так же редки, как и те контакты (любовь Фриды и К. — если можно так назвать их странные отношения — или ненависть хозяйки к К.), в ходе которых они могут возникать.

Если попытаться определить исходную точку в творчестве Достоевского, от которой «взял старт» Кафка, она несомненно обнаружится в «Записках из подполья», представляющих собой, как мы видели, последний предел, крайнюю точку творчества Достоевского.

Герой «Записок» знает, что для офицера, который взял его «за плечи и молча, — не предупредив и не объяснив, — переставил... а сам прошел как будто и не заметив», и для того же Зверкова с «бараньей башкой» он — просто вещь или «букашка»; пытаясь смешаться с толпой и шмыгая, «как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими», он испытывает «непосредственное ощущение» того, что он «муха перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха». В этой крайней точке, где герой находится очень короткое время, потому что ему нужно поскорее взять реванш и он легко, на расстоянии вытянутой руки, находит человеческие существа, с которыми всегда возможно самое тесное соединение (такова, например, Лиза, ее можно немедленно заставить страдать и ее можно так же сильно любить, как и ненавидеть); в этой крайней точке, в этом тупике, где он оказывается лишь на мгновение, — именно здесь, увеличенный до размеров непрекращающегося кошмара, находится тот безысходный мир, в котором барахтаются герои Кафки.

Нам знакома эта вселенная, где нескончаема злобная игра в жмурки, где направление движения всегда неверно, где протянутая рука «хватает пустоту», где все, к чему прикасаешься, исчезает, где тот, кого на миг задержал и с тревогой оцепылаешь, вдруг оборачивается

кем-то иным или ускользает, где призыв всегда обманчив, где ответа не получаешь — это те, кто «молча, но изо всех сил» тащат тебя к дверям и выкидывают на улицу, потому что у них «гостеприимство... не в обычае», потому что им «гостей не требуется», те, кто смотрят, не шевелясь, или в рассеянности не замечают протянутую руку, когда так и ждешь, «что вот сейчас... ударят по рукам», те, кто на вопрос, нельзя ли «как-нибудь навесить» их, когда чувствуешь себя «несколько одиноко», ограничиваются указанием своего адреса, звучащим «скорее адресной справкой, чем приглашением», это те, кто, видя, что к ним хотят подсесть, торопятся уходить, те, кто в вашем присутствии говорят о вас, как о неодушевленном предмете, и следят за вашими движениями, на которые реагируют даже лошади, «так примерно, как прослеживают глазами путь кошки», те, кто в один прекрасный день прервет с вами все отношения, как Кламм с хозяйкой: «Три раза Кламм посылает за тобой, а в четвертый раз уже — нет, и уже никогда — в четвертый раз!» — и после долгих, долгих лет, после целой жизни, проведенной в тревожных раздумьях, вы так и не сможете понять, «почему так случилось?», это те получеловеческие существа с одинаковыми лицами, чьи детские и непонятные поступки за видимой наивностью и беспорядочностью скрывают зловредную пронырливость, тупую и коварную в одно и то же время, это те загадочно улыбающиеся, замкнутые, с детским любопытством издали наблюдающие за вами люди, которые сидят «каждый на своем месте, не переговариваясь, без видимой связи между собой, связанные лишь тем, что все они уставились» на вас, которые послушно удаляются, когда их выгоняют, и тут же с механическим, инертным упрямством «неваляшек» вновь возвращаются на прежнее место; это вселенная, где надо всем — «другие», те, к которым стремятся изо всех сил, «далекие, чуждые» всему «господа», обремененные административными полномочиями, подчиняющиеся сложной и строгой иерархии, — простые шестеренки некоего таинственного аппарата, выстраивающиеся в бесконечную последовательность вплоть до той центральной шестерни, которая одна только может по неизвестным причинам предоставить вам право на существование или отказать в нем, — те функционеры, самые малые из которых имеют над вами, «ничтожным подданным, крохотной тенью, отброшенной в отдаленнейшую даль», неограниченную власть.

Эти «господа», о которых невозможно узнать даже то, как они выглядят, которых вы можете тщетно прождать всю свою жизнь там, где они должны проехать, которые с кем-то вроде вас никогда и разговаривать не станут, «сколько бы этот кто-то ни старался и как бы отвратительно он ни протискивался вперед», с которыми вы можете надеяться установить отношения не иначе как «через протоколы» (протоколов, по-видимому, никогда не читают, но они, по крайней мере, поступят «в деревенскую регистратуру»), — эти господа, со своей стороны, знают о вас только понаслышке, и знания эти одновременно точны и абстрактны, как сведения в картотеке администрации какой-нибудь тюрьмы.

Здесь, где бесконечные расстояния, как межпланетные пространства, отделяют существа одно от другого, где человеку постоянно кажется, что «все связи с ним оборваны», исчезают всякие ориентиры, ощущение пространства притупляется, движения постепенно разлаживаются, чувства распадаются (так, от любви остается лишь животное соитие, в котором любовники «яростно, с искаженными лицами» набрасываются друг на друга под взглядами безучастных зрителей, или несколько грубых, механических жестов — пародий на ласку, адресованных анонимному партнеру, подобных тем, какими Лени одаривает К., потому что он обвиняемый и потому что в ее глазах все обвиняемые красивы), слова теряют свой привычный смысл и способность воздействовать, попытки оправдаться служат доказательством вины, а одобрительные возгласы — средством «обольщения невинного»; здесь вы всё толкуете неверно, вплоть до своих собственных вопросов; здесь вы не понимаете даже своего поведения: «в итоге уже нельзя было понять, устоял он или поддался»; здесь человек, словно лишившись зеркала, уже не узнаёт своего собственного лица; здесь вы словно в стороне, на расстоянии от самого себя, вы к себе безучастны и немного себе враждебны, — здесь леденящая пустота без света и без тени. Все те тончайшие щупальца, которые в каждое мгновение протягиваются к ближайшему партнеру, прижимаются к нему, выпрямляются, расслабляются, отталкивают друг друга и вновь сплетаются, здесь атрофируются и исчезают, как органы, ставшие ненужными; тонкие и точные движения, искусные сближения и ложные отступления — здесь уже просто слепые и беспорядочные метания, однообразные судорожные рыбки животного, попавшего в ловушку; та податливость, та внушаемость, которая была тайной и жадной лаской, стала инертной покорностью вещи, бездеятельностью отчаяния перед лицом «неизбежной судьбы»; сама смерть, которой покоряются безропотно, потому что давно уже представляют собой лишь «мертвую материю», утрачивает свою трагическую неповторимость; убийство — это уже не последнее объятие и даже не последний надрыв, а всего лишь часть привычного и детально распisanного ритуала, немного тошнотворного и чуть гротескного, исполняемого чопорными, тщательно выбритыми «господами» в сюртуках и цилиндрах, причем эти господа отличаются тонкой и леденящей учтивостью и долго обмениваются любезностями, урегулировав вопросы очередности, — часть ритуала, в котором обреченный старается принимать максимальное участие и, наконец, успев еще увидеть, «как эти господа, близко наклонясь к его лицу и прижавшись друг к другу щеками, наблюдали за финалом», умирает, зарезанный, «как собака!»

Со свойственным некоторым гениям пророческим даром, породившим у Достоевского предчувствие могучего братского порыва русского народа и его необычной судьбы, Кафка, бывший евреем и живший под сенью немецкой нации, предсказал будущую судьбу своего народа и проник в те глубинные черты немецкого характера, которые привели немцев к спланированному и реализованному ими уникальному эксперименту с желтыми сатиновыми звездами, выдававшимися с вырезанием двух купонов из карточки на текстиль, с печами крематориев, на которых помещались большие рекламные щиты, указывавшие название и адрес фирмы производителя санитарного оборудования, создавшей эту модель, и с газовыми камерами, в которых по две тысячи обнаженных тел (одежда, как в «Процессе», тщательно складывалась и сохранялась: так «складывают вещи, которые еще понадобятся») корчили под взглядами прибывших для инспектирования господ в сапогах, в застегках, в ремнях и со значками отличий, наблюдавших за жертвами в застекленное окошко, к которому подходили друг за другом, соблюдая очередность и обмениваясь любезностями.

Там, за этим последним пределом, который Кафка со сверхчеловеческим мужеством перешел не вслед за ними, а раньше них, исчезают все чувства, даже презрение и ненависть, и остается только какое-то гигантское опустошенное оцепенение, какое-то решительное и полное непонимание.

Невозможно ни оставаться рядом с Кафкой, ни идти дальше. Тем, кто живет на земле людей, не остается ничего другого, кроме как повернуть назад.

Заметки переводчика

Как фрагменты, так и записи тетрадей ин-октаво по своему характеру чрезвычайно разнородны, однако в первом приближении можно разделить их на две группы. К первой относятся не всегда законченные, но художественно определившиеся формы: маленькие

рассказы, притчи, афоризмы, во второй — «начала»: мысли, образы, сопоставления, картины, словно бы выхваченные из темноты внутренней вспышкой. Записи первой группы преобладают в тетрадах ин-октаво (№ 3 и № 4 — это просто «философские тетради» Кафки), подавляющее число фрагментов относятся ко второй. Эта вторая группа особенно интересна: здесь перед нами не только сравнительно большие отрывки с уже намеченной экспозицией будущего рассказа или даже линией сюжета (записи 1.8, 1.18, 6.5, 7.4, 7.5, фрагменты 1, 2, 55, 62, 78 и др.), но и случайные «сгустки» воображения, «первотолчки» мысли — своеобразный генетический материал виртуальных художественных произведений, причем — что очень важно — еще практически не обработанный творческой волей художника, иначе говоря, не подвергшийся естественному художественному отбору и вторичному модифицирующему влиянию культурной среды. Это чистый первичный материал литературы, зарождающейся из первобытного океана жизни, и именно в случае Кафки это материал бесценный. Нет, не только потому, что Кафка — гениальный художник. Здесь важно качество его гениальности, которое Герман Брох определил как «почти мифическое» [29], проявляющееся в уникальной спонтанной непосредственности восхождения бессознательного в поэтическое высказывание: «тут... такая истинность, которой до сих пор обладал один-единственный писатель — это был Кафка». А ведь Брох писал о произведениях, в той или иной мере художественно обработанных автором, тогда как «начала» Кафки делают для нас возможной (Брох такой возможности не имел) фантастическую попытку увидеть — или вообразить само зарождение, если не сказать «самозарождение», художественного произведения. (Можно предостеречь себя радостью исследователей психологии творчества, которым впервые попадают в руки эти «начала»: где бы они еще взяли такой материал?) Конечно, не всякая попытка удастся, но попробуем. Раз мы говорим о «первотолчках», то начать надо, очевидно, с самого простого, короткого начала, еще не получившего никакого развития. Вот фрагмент 269, две строчки: «Я убежал от нее. Я бежал вниз по склону. Высокая трава мешала мне бежать. А она стояла наверху под деревом и смотрела мне вслед». Ну и что? Что, собственно, здесь рождалось? Что тут особенного записано? Двое расстались. Может быть, поссорились. Он убежал, она смотрела вслед. Зачем Кафка это записал? Что он в этом увидел? Все ясно и просто. Где тут Кафка? Странно. Ну, еще раз прочитаем, помедленнее. «Убежал». Несколько сильное выражение. Обычно, даже поссорившись, все-таки не убегают, а уходят. Может, не поссорились, а — дела позвали? Может быть, вспомнил что-то неотложное. А может, просто склон крутой, и по нему бежать легче, чем идти? Да нет, сказано «от нее», значит речь о личном. О личном? Ну, так все понятно, Кафка же три помолвки разорвал. Он убегал, ему смотрели вслед. Элементарный автобиографический мотив. Это многое объясняет. Но не очень понятно, зачем он этот мотив записал. Боялся забыть? Едва ли. Нет, автобиографические мотивы не записывают — их носят в себе, из них состоят. Да и сами по себе они нежизнеспособны и остаются только мотивами, пока не соединятся, не срифмуются с чем-то иным. Ну, и с чем же тут соединяется его бегство? «Трава мешала» — это что значит? Природа, что ли, против? А она зачем «под деревом»? Ну, вдвоем были, под деревом лучше: меньше чужих глаз. А может, никого вокруг и не было? Может, и не было, но это же всеобщий инстинкт укрытия, идущий, наверное, от Адама и... Под деревом... так, может быть, ее зовут Ева? А его — Адам. И Адам убежал от Евы, убежал от древа. А она смотрела ему вслед. Но он не поддался, устоял, убежал. Грехопадения не будет, не будет проклятия, изгнания, всей этой истории, — не будет ничего. Но Адам останется чист. Беги, Адам, беги, чистота дорогого стоит. Впрочем, это какой-то виртуальный Адам из паутины, духовно озабоченный Адам. Так что же, с улыбкой спросите вы, Кафка именно это и записал? Да, отвечу я. Виртуально. Но если вы отнесетесь к этому иначе, вы прочтете иную (альтернативную) историю.

Вернемся, однако, к реальному тексту. Вот фрагмент побольше — это несколько ограничит наш произвол в прочтении — номер 113 («Пустой город»). Ну, это фрагмент понятный — очевидный сон, на это и Брод указывает, причем необычайно резкий, явственный сон. Все выпукло, все контрастно, как бывает только во сне: наяву иррадиация смазывает границы, а слишком яркое слепит и только вызывает слезы. А тут громкие звонки пустых трамваев, громыхающих по пустым улицам. Гиперзвук. Ирреальный город, мертвый, вымерший город. Нам легко представить его, мы уже видели на экранах такие кадры антиутопий. Но почему Кафке привиделось такое кино, почему он увидел свой родной город обезлюдившим? Может быть, потому что не любил — и в этом видении бессознательно наказал город, в котором страдал? Но где же бессознательное удовлетворение, торжество, мстительная радость, наконец? «Медленно брожу, спотыкаясь», — так бродят среди руин, среди могил. Нет, он любил свой город, этот город вошел в его произведения и остался в них навсегда; и Кафка всегда оставался в своем городе, даже тогда, когда не хотел в него возвращаться, жил и умирал в других. Но если любил, то почему так увидел? А как именно? Почитаем еще раз. Звонки «освобождены от текущих надобностей» — ну да, для кого звонить? никого нет, все ушли, исчезли, сгнули. Они были, но теперь их нет. Пассаж, столики кофейни, ворота церкви — взгляд скользит, ожидая увидеть знакомое, привычное: «это мой город, мой родной город»... Нет, не мое «я» его опустошило, это сделалось помимо меня, а я брожу по его улицам и чего-то ищу, я ведь помню, как здесь все было, помню себя на этих — тогда людных — улицах, помню, как, школьниками, мы соскакивали на ходу с этих старых трамваев, помню, как сидел с родителями за одним из этих столиков у пассажа — вот за тем, маме там нравилось, — помню, как ходил потом мимо этой церкви на работу... Тянется лента воспоминаний. Тех людей, которые на ней остались, уже нет; даже если они живы, они уже не те, они другие, а те, какими они были тогда, ушли безвозвратно, исчезли, сгнули. И на пустых улицах города прошлого звонят пустые трамваи моих воспоминаний, нечувствительно проходя сквозь заполняющие эти улицы толпы новых людей, которых я не знаю, — они мне чужие, в моем городе памяти их нет. Да и того города уже нет, остались только камни и тени. Города памяти призрачны и пусты, в них тяжело возвращаться. В сновидениях всякого человека таится скрытый смысл; из видений художника смысл выплывает, как во фрагменте 215 змея — из бутылки чернил.

Возьмем теперь совсем другой, более рассудочный и более «продвинутый» фрагмент 137 («Мандат»), по характеру приближающийся к заметкам из серии «Он». (То, что здесь не «он», а «я», быть может, как раз следствие незаконченности фрагмента — так же, как и совмещение жанров афоризма и притчи.) Что это за мандат, которого герой — или авторское «я» — не может принять, потому что его характер требует иного? По-видимому, это жизнь, с которой Кафка способен жить в противоречии. «Очевидно, как и всякий», — пишет он, однако не всякий это противоречие осознает. Возможность такого осознания, способность к нему — это дар, и за него приходится платить. Как за билет в цирк-шапито. Или как за подсматривание в дырочку. И дальше из простого сравнения, из незатейливой иллюстрации вырастает интереснейшая многозначная притча. (Один второстепенный штрих: подсматривающему в дырочку слышны музыка и рычание зверей — «третья правда», — но ведь они и так слышны, значит, не нужна и дырочка? Нет, нужна. Чтобы услышать, надо находиться там, внутри, хотя бы взглядом.) Притча по-своему закончена, но кажется, что, займись Кафка ее «доводкой» для печати, он бы ее развил и, наверное, убрал «нескромные» размышления от первого лица и прямые авторские вмешательства в текст — тот автокомментарий, исчезновение которого сообщило бы притче художественную самостоятельность. Зато в своем необработанном виде этот фрагмент, словно в вечной мерзлоте времени, сохранил для нас некую промежуточную стадию развития плода воображения гениального писателя.

Среди фрагментов много интереснейших «летучих» заметок. Порой это лишь слово или несколько слов, призванных удержать, сохранить мимолетное впечатление, мелькнувшее ощущение, движение чувства, — остановить отлетающее мгновение. Часто внешние впечатления

фиксируются уже в форме начальных фраз забрезжившего на внутреннем горизонте художественного текста, и тогда в непосредственной натурной зарисовке возникает некий метафизический свет (например, во фрагментах 20 и 86). Изредка внутренняя потребность в музыке заставляет организовывать эти короткие записи ритмически (3.79; 49, 68).

Во многих фрагментах «зародыши» ненаписанных рассказов имеют необычный, зачастую парадоксальный характер (по свидетельству близких друзей Кафки, оригинальность была его естественным свойством). Во фрагменте 5 зло «бездействует от истощения», в 41-м парадокс прямо заявлен, но непонятен, в 42-м — понятен, но заострен до абсурдного звучания «подстерегаю, чтобы не встретиться». Парадокс — свернутая, «сгущенная» форма выражения мыслей и чувств. Как перелом ноги может быть «счастливейшим событием» жизни (фрагмент 87)? Ну, сам по себе перелом, наверное, не может, — речь, видимо, о том, что оказалось связано с этой травмой. Здесь, конечно, можно предполагать все что угодно, от больничного романа до пробуждения дремавших родственных чувств у близких, однако если использовать косвенные подсказки (или, точнее, косвенные улики: горько-ироничную форму всего высказывания, словцо «когда-то», указывающее на значительную биографическую отдаленность события, склонность людей, не слишком довольных тем, как у них сложилась жизнь, называть «счастливейшей» пору своего детства, а также особенности характера автора), то, сохраняя инерцию иронии, мы придем к простейшему предположению: ребенок был счастлив тем, что не надо ходить в школу. Но если это принять, то улыбка исчезает и проступает судьба: как же должен был этот ребенок ненавидеть школу и бояться ее, чтобы радоваться потере движения, потере возможности гулять, бегать, играть, чтобы радоваться своему отторжению от мира! Парадокс сюжетно энергоемкая форма. Так, например, очевиден большой потенциал развертывания фрагмента 65 («хромые ближе к полету») или фрагмента 184 (о нем мы еще вспомним). И наконец, парадокс — загадочная форма: на выборах «мне нужен ваш голос не как один из многих, мне нужен именно ваш» (фрагмент 270).

Но парадокс — форма острая, конфликтная, для художественного материала несколько перенапряженная; необычное у Кафки чаще изображается совершенно спокойно, оно появляется словно бы чувствуя себя «в своем праве», которое не может быть поставлено под сомнение. Дверка, ведущая в сад фрагмента 45, такая низенькая, что в нее надо проползать; это, естественно, должно вызывать затруднения, и они описываются. В расположенной на четвертом этаже комнате фрагмента 71 вместо окна — дверь, открытая в пустоту; жильца это не отвлекает и не огорчает. А вот герою фрагмента 85 невозможность закрыть дверь неприятна, но что он может сделать, если приползший к нему змий оказался слишком длинным? Пловец из фрагмента 159, победивший на олимпиаде с мировым рекордом, возвращается в родной город и не понимает обращенных к нему приветствий; он благодарит — не понимают и его; это никому не мешает. Вы, может быть, скажете, что как раз здесь ничего такого уж необычного нет и это самый обычный авторский прием: непонимание языка как средство выражения отчуждения — мы уже не раз встречали это у Кафки, достаточно вспомнить «Превращение», «Процесс» и «Замок». Ну, прием приемом, но есть же и содержание. А как следует относиться к тому, что пловец-рекордсмен не умеет плавать? Удивительно все же для рекордсмена. Правда, это странное обстоятельство удивляет и его самого, и он как раз собирался что-то по этому поводу объяснить, но не успел, фрагмент оборвался, и нам, увы, остается только гадать. Интересно, а сам Кафка, набрасывая этот фрагмент, знал, как его объяснить? Ответ не очевиден, хотя внимательный читатель, конечно, заметил, что в одном из последующих фрагментов можно увидеть вариант объяснения указанной странности. А вот дождь, идущий в комнате во фрагменте 239, никакого объяснения не получает, однако совсем не удивляет героя; ему неприятно только, что капли по голове стучат, но тут объяснения не требуется.

Примеры можно умножить, но можно и усилить. Кое-где необычное сгущается в более чем невероятное — в чудовищное. Мы все начитались, наслышались и насмотрелись такого, что испугать нас трудно. И все же фрагмент 147 ужасен. А ведь это всего лишь фрагмент, всего лишь набросок неосуществленного замысла. Впрочем, высказывалось и такое мнение, что «замысел каждого произведения Кафки приводит в содрогание вдумчивого читателя»[30]. Как говорится, если и не правда... Возьмите, к примеру, фрагмент 214 — ведь действительно как-то зябко читать. Причем это не тот холодок, который вызывают начало рассказа «Мучитель» (6.6) или жатва фрагмента 261, — от тех мурашек нам все-таки уже сделана прививка написанными позже, но прочитанными раньше рассказами Бредбери и Шекли, — это холод другой, и хотя он нам тоже знаком (например, по рассказу «Стук в ворота»[31]), но на него иммунитет не вырабатывается. «Кого однажды переехали колеса Кафки, для того покой в этом мире... утрачен»[32], — писал Теодор Адорно, словно комментируя фрагмент 170. Мы переходим здесь к текстам, которые представляются «наиболее кафкианскими» — если признать допустимыми такого рода степени сравнения.

Задержимся, однако, еще на одном типе фрагментов, в какой-то мере промежуточном. Промежуточном — между чем и чем? Скажем так: между построениями дня и порождениями ночи. На этой не демаркированной у Кафки границе, которая в его творчестве постоянно нарушается в обе стороны, возникают сумеречные, призрачные фигуры. Вот выходит из дома (разумеется, вечером) восхитительно отрекомендованный персонаж фрагмента 170: «некто неопределенный в движениях, одежде и очертаниях»; каково его первое действие? он колеблется. А во фрагменте 104 появляется в аллее нечто, ускользающее даже от обозначения «персонаж», которое здесь кажется слишком грубо материальным: «какая-то незавершенная фигура: лоскут дождевика, одна нога, передний край полей шляпы, перебегающий, перебегающий с места на место дождь». Контуры этих фигур, впервые встреченных нами здесь, нам уже знакомы. В них угадываются те гандхарвы из индийских сказаний, о которых упоминал Вальтер Беньямин: «недоделанные творения, существа на стадии тумана»[33]. Проницательность критика достойна восхищения, ведь Беньямин умер в 1940 году, за тринадцать лет до опубликования этого фрагмента, чуть ли не дословно подтверждающего его сравнение, — разве что у Кафки изображено существо на более продвинутой стадии, на стадии дождя. (Если хотите, это можно выразить и иначе: Кафке и после смерти удается подтвердить то, что о нем говорится правильно.)

У сумеречного света Кафки есть близкий родственник — его лунный свет, в котором возникают иные, но столь же неопределенные, изменчивые и обманчивые порождения. Лес под луной дышит, то съеживаясь, то разглаживая складки местности (фрагмент 253). Предметы меняют очертания, назначение, существование, исчезают или неожиданно возникают у вас перед носом (фрагменты 127, 259); лунный свет у Кафки — «действующее лицо» (вспомните финал «Процесса»). Заметим, отвлекаясь на минуту, что, вообще, свет у Кафки необычайно разнообразно, интересно и неслучайно участвует в его конструкциях и «деконструкциях»: градации света делят город на круги (ада?), свет может разъединить этот мир (афоризм 54 в записи 3.105), но в ясном утреннем свете мир замирает (фрагмент 162), сумеречный туманный свет падает на нечитабельную книгу (фрагмент 278), и даже когда свет уже использован, остатки его еще ложатся «поперек слов» (фрагмент 118). Пожалуй, можно было бы написать отдельное исследование на тему «Свет Кафки».

Но вернемся во мрак кафкианской ночи, где нас окружают его — или наши? — мечты, видения и сны. «Нахлынули мечты... они многое знают, они только не знают, откуда они пришли» (фрагмент 46). Но Кафка, похоже, знает. Сказочный фрагмент 93 в двух фразах набрасывает контуры психоаналитического понимания сновидений. Детали изображения явно символичны: повелитель снов сидит у зеркала (указание на источник), сидит спиной к нему (указание на бессознательный характер), голова — глубоко в зазеркалье (указание на мощь бессознательного), и, наконец, то, что приносит рассвет, тоже входит в наши сны. Однако это только описание сна, в каком-то смысле его «вид снаружи». Вход внутрь — предприятие рискованное. Из начинающегося сна можно попытаться что-то выхватить и, всмотревшись, обнаружить, например, подавляемое вожеление; его, конечно, можно оттолкнуть, но оно вернется возросшим (фрагмент 171). Во сне, когда вас не защищает даже рубашка, вы готовы приблизить к своему телу неизвестно кого, и в ваше тело могут войти (фрагмент 241). Во сне вы слышите голос, звук которого заставляет вас улыбнуться, и он зовет вас, но вы не знаете куда, и встретив знакомого, не узнаете и не хотите его, и готовы бежать от него сквозь стену, и, сделав это, попадаете в следующий, такой же проходной мир — они все сугубо-смежные, — и живете в нем, пока и этот сон не оборвется на полуслове (фрагмент 250). В этих снах — или видениях, или, если воспользоваться психоаналитическим вокабулярием, фантазмах — «материализуется» внутреннее беспокойство (фрагмент 153) и длится мгновенная смертельная боль (фрагмент 208); в этих фантазмах перед вами возникает гигантская лошадь, уходящая головой в небо (запись 3.177); во сне вы участвуете в чудовищно удачной охоте, но не разделяете радости охотников (запись 8.11), а пытаетесь вырваться из плена сновидений, оказываетесь у раскрытого окна (2.6). Что будет дальше — вдох полной грудью или?.. Текст обрывается. Что с нами? Где мы? Мы в склепе с теми, кого когда-то любили, и собираемся вернуться, хотя уже перешли протекающий там быстрый ручей (фрагмент 55)? Или мы в лодке, и над нами уже прошумели огромные крылья, и лодка уже отошла от земли, и незнакомый лодочник ждал нас и знает, куда нам плыть (фрагмент 152)? «Реализм его картин постоянно выходит за границы способности представлений, и я не смог бы сказать, что меня больше поражает: „натуралистическая“ подача некоего фантастического мира, который благодаря скрупулезной детальности изображений на наших глазах становится реальным, или уверенная смелость обращений к чуждому»[34], записывает Андре Жид в дневник свои впечатления от книги Кафки. О «телесной плоти таинственного»[35], облекающей самое сокровенное в жизни каждого, пережившего испытание Кафкой, пишет в письме Макс Броду Мартин Бубер. Тайна Кафки притягивает, в зону притяжения этого «странного аттрактора» попадают траектории все новых интерпретаций и блуждают, блуждают... «Вавилонская громада литературы о Кафке не только не устраняет, кажется, изначальную и несокрушимую загадку его образа и творчества — напротив, она сама есть, может быть, наиболее убедительное свидетельство этой неприступной загадочности»[36]. Нельзя ли что-то прояснить, сопоставив разные произведения? Не получается; Андре Жид писал о «Процессе», Мартин Бубер — о «Замке», другие авторы — о других вещах, различия есть — разгадки нет. А его приватные записи, в частности, дневники, не помогают? Нет, у нас уже был случай[37] привести их характеристику, данную Жоржем Батаем: в каждом слове — тайник. Да и само деление текстов Кафки на «творческие» и «другие» условно. «Дневник (как и письма, в чем, среди прочего, состоит феномен Кафки) не отделен от всего им написанного: пробу кафкианского письма можно брать с любой оставленной Кафкой страницы». (Прервем цитату, чтобы подтвердить: это отнюдь не преувеличение.

В одной из работ последних лет[38] общая характеристика творчества Кафки дается на основе рассмотрения всего лишь части его афоризмов, то есть буквально десятка страниц текста.) «В его словесном наследии... трудно провести (или проводить? — с видами глагола здесь тоже характерная трудность) какие бы то ни было границы»[39]. Несомненно так. И тексты книги, которая у вас в руках, соединяясь, образуют сплошной спектр, в котором тончайшие, почти нечувствительные градации переживания ведут от «инфракрасных» фотографических отпечатков окружающего до «ультрафиолетовых», проникающих сквозь сознание излучений фантазии.

Но все-таки как же понимать, как трактовать эти фантазмы, эти, по определению Юнга, визионерские переживания? «Читатель требует комментариев и истолкований; он удивлен, озадачен, растерян, недоверчив или, еще того хуже, испытывает отвращение. Ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука, но взамен этого оживают сновидения, ночные страхи и жуткие предчувствия темных уголков души»[40]. Ну, так давайте попытаемся заглянуть в них, понять, откуда все это берется: «Над происхождением визионерского материала разлит глубокий мрак — мрак, относительно которого многим хочется верить, что его можно сделать прозрачным»[41]. Однако мы сталкиваемся здесь с тем, что в принципе не поддается рационализации: этот «материал, то есть переживание, подвергнутое художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных... Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны... какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, говоря словами Ницше, „оскорбление величества рода человеческого“, с другой же стороны перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или красота, выразить которую бессильны любые слова»[42]. Переживание такого рода «снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно, в состояние помраченного духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность нерожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием»[43]. (Не правда ли, такое ощущение, что Юнг писал именно об этом томе Кафки, да еще и воспользовался образом из фрагмента 228?) Но что же получается, *ignoramus et ignorabimus* — «не знаем и никогда не узнаем»? Нечего и пытаться что-то понять? Ну, попытаться, видимо, стоит хотя бы для того, чтобы удостовериться: да, это подлинно визионерский материал, рационально он не объясняется. Положим, мы удостоверились, что, действительно, перед нами задача, противоречивая по определению: понять иррациональное, то есть, по словарю, недоступное пониманию разумом — как будем ее решать? А как в практической жизни решаются подобные задачи? Скажем, как происходит понимание исходно неясного материала в недискурсивных, «без-рассудочных» сферах, например, в музыке? Всякая неясность в музыке разъясняется повторением, но, как говаривал А. Шенберг, не таким как «я — идиот, я — идиот, я — идиот»[44]. Хорошо, а — каким? Выдающийся скрипач теперь уже прошлого века Леонид Коган в одном из интервью как-то признался, что концерт Бартока он начал понимать только после того, как тридцать раз сыграл его со сцены. Трудоемко. Возвращаясь к прочтениям Кафки, можно вспомнить и рекомендацию Теодора Адорно «вживаться в несоразмерные, непроницаемые детали, в „глухие“ места»[45]. Затратно. Но если в искусстве нет царского пути, то, очевидно, нет и парадного подъезда. А подходы есть. И один из наиболее естественных — сопоставление.

Ни великое, ни новое не возникают на пустом месте, и творчество Кафки при всей необычности — вовсе не что-то надмирное или потустороннее, а напротив, «человеческое, слишком человеческое». «Прочитанный впервые, он был ни на кого не похож... освоившись, я стал узнавать его голос, его привычки в текстах других литератур и других эпох»[46], — писал Хорхе Луис Борхес. Его сопоставления очень любопытны, и в особенности интересно, что именно услышал Борхес как созвучное Кафке, — ведь это, по существу, штрихи к

творческому портрету, краткий перечень некоторых черт, которые выделяют феномен Кафки. Какие же это черты и как они читаются — если вообще различимы — в коротких набросках и фрагментах Кафки? Первый из называемых Борхесом текстов — парадокс Зенона о невозможности движения. Мы уже имели возможность заметить, что Кафка — «парадоксов друг». Пересказав апорию «дихотомия», Борхес пишет: «Форма знаменитой задачи с точностью воспроизведена в „Замке“: путник, стрела и Ахилл — первые кафкианские персонажи в мировой литературе»[47]. Как охарактеризовать такую литературу? Быть может, так: выражение невозможности существования как форма существования. Второй текст — китайская притча IX века о единороге — существе из другого мира, приносящем счастье, но с трудом поддающемся описанию. «Это не конь или бык, не волк или олень. И потому, оказавшись перед единорогом, мы можем его не узнать. Известно, что это животное с длинной гривой — конь, а то, с рогами, — бык. Но каков единорог, мы так и не знаем»[48]. И Борхес отмечает, что незнание священного животного — одна из традиционных тем китайской литературы. Борхес считает, что это похоже на Кафку. Действительно, помимо очевидной параллели с «Замком» (ведь Кламм, внешность которого неопределенна, — тоже, в своем роде, священное животное), бросается в глаза обилие у Кафки эпизодов незнания, это один из сквозных его мотивов (ср., например, запись 5.30, фрагменты 63, 92, 152, 171, 206, 250, 262 и др.). Что здесь выразилось? Пожалуй, ощущение зыбкости, ненадежности, неверности нашей памяти, нашего зрения, нашего мира: все может обмануть, всякий лик — обернуться личиной, и все они словно бы знакомы, и в каждый стараешься пристально всматриваться, но неразстворимый осадок недоверия, осевший на дне души, застилает и глазное дно. Это ощущение, истоки которого, очевидно, в детстве, в недостатке домашнего тепла и родительской любви, связано с постоянным прорывающимся у Кафки чувством одиночества, заброшенности, богооставленности, с мечтой о любящем Отце, в которого он не позволяет себе верить, потому что это было бы слишком хорошо, но все же украдкой, втайне от себя и насмехаясь над собой, верит. Переключка с Кафкой четвертого из текстов, указанных Борхесом, стихотворения Браунинга «Страхи и сомнения» (в котором знаменитый друг и благодетель героя оказывается — или кажется — несуществующим, но герой «в последней строке спрашивает себя: „А если то был Бог?“»[49]), представляется очевидной, прямое подтверждение этому — фрагмент 64. К тому же нельзя не заметить напряженности постоянных религиозных размышлений у человека, в собственном смысле слова нерелигиозного, и Борхес в связи с третьим текстом, а именно с текстом Кьеркегора, прямо указывает черту сходства: обилие религиозных притч на современном бытовом материале. Здесь помимо отмеченных Бродом фрагментов 145 и 146 можно вспомнить запись 4.84, фрагменты 100, 109, 128, 129, 188, 295, 298 и многие другие. Наконец, еще два текста, указанных Борхесом: рассказ Леона Блуа, персонажам которого, всю жизнь запасававшимся атласами, глобусами, справочниками и чемоданами, так и не суждено выбраться за пределы родного городка, и рассказ лорда Дансени «Каркасонн», по названию места, к которому, преодолевая все преграды, стремится непобедимое войско, но которого так и не достигает, хотя иногда видит его вдаль. Это в чистом виде сюжеты рыцарского героического Поиска неизвестно чего, который то не может начаться, то не может окончиться; они вполне соответствуют выведенной Уистеном Оденом формуле типичного рассказа Кафки[50]. По этой формуле построены и все три его романа. Интересно, что в ряде записей и фрагментов Кафка сам дает несколько формулировок, относящихся к направленности, смыслу и характеру движения его героев. Так, во фрагменте 283 (рассказ «В путь») герой прямо «по Одну» отвечает на вопрос о цели своего пути: «подалее отсюда»; в записи 4.86 цель уточняется: «подалее от меня», однако двери для выхода нет; в записи 8.17 движение героя — это «скачка в гулкой пустоте», в 6.7 его девиз: «вперед, вперед, никаких остановок», а в 5.23 герой в маленькой лодке «с ничтожной осадкой» безнадежно плывет вокруг мыса Доброй Надежды. Мотивы неначавшегося пути и ускользающей цели варьируются в записях 1.19, 5.30, 6.1, фрагментах 62, 161, 188, 198, 243, 285 и других. Что они выражают? По-видимому, «несогласуемость жизни» — непреодолимое противоречие между принципиальными человеческими устремлениями и принципиальной невозможностью их осуществления, — противоречие, которое так остро чувствовал Кафка. Эти услышанные Борхесом созвучия, конечно, выявляют лишь отдельные мелодические линии в огромной симфонической партитуре Кафки. Из этих нескольких штрихов складывается штрих-пунктирный контур призрачного персонажа фрагмента 148: лишенный всякой опоры, он обречен идти по собственному отражению в воде, «судорожно цепляясь вверху за воздух».

Натали Саррот, как мы видели, также идет к Кафке от сопоставлений, но не по созвучию, а по обнаруженной ею логике преемственности в процессе смены литературных эпох, то есть демонстрирует нам еще один, историко-литературный подход к пониманию творчества писателя.

В рамках этого «вертикального» подхода, расширенного до взгляда на историю духовного формирования современного западного человека, Джон Бойтон Пристли дает нам примеры «горизонтальных срезов» — рассмотрения отличительных особенностей творчества отдельных великих писателей. Дойдя до Кафки, Пристли начинает с его гигантской, ни с чем не сравнимой славы и силы воздействия его романов: «Кафка был не столько писателем, сколько той атмосферой, в которой оказались его коллеги-писатели в конце 20-х — начале 30-х годов. За эти три неоконченных романа отчаянно дрались критические школы всех направлений, от мистиков и теологов до приверженцев психоанализа и, далее, до представляющих противоположную крайность адептов натурализма и самого свирепого национализма»[51]. Справедливость сказанного не подлежит сомнению, но точности ради следует заметить, что все это произошло несколько позже указанного времени. Далее Пристли уже непосредственно характеризует творчество Кафки и причины его воздействия на умы и души читателей.

«Технически Кафка великолепен; его манера и стиль полностью соответствуют его задаче; у него есть непрерывное, сопровождающееся постоянной потаенной изобретательностью продвижение как бы вдоль узкой грани между сном и реальностью и совершенно точно выбранный тон для рассказывания таких историй; в тех границах, которые он для себя установил, он мастер. Каковы бы ни были несообразности Кафки, они были не литературными. И тот уровень, которого он достиг в „Процессе“ и „Замке“, особенно в последнем, есть наиболее триумфальное утверждение символизма в художественной прозе.

Символизм, подлинный символизм, способный выдавать разноуровневые значения, среди которых всегда найдется такое, которое нельзя полностью уловить, — вот ключ к Кафке. Критики перессорились друг с другом из-за него; одни считают, что он описывает скитания души в поисках божественной благодати, другие — что за ним повсюду гонится тень отца, третьи находят ключ в его сексуальной жизни, тогда как четвертые, марксисты, видят его в путях неэффективной бюрократии распадающейся Австрийской империи. Никто из них не разгадал его тайну, потому что все они путают символ и аллегорию. Если бы Кафка просто создавал аллегории, он сегодня был бы уже забыт; мир ломится от непрочитанных аллегорий. Причина восхищения Кафкой интеллектуалов всех сортов в том, что он подлинно и глубоко символичен. Его создания, крадучись пробирающиеся вдоль узкой границы между этим миром и зоной кошмара, между светом сознания и тьмой бессознательного, — это символически изображенное ощущение современным человеком своего положения, независимо от того — именно этого и не уловили его критики, — какое значение придает его вещам тот или иной

человек. Его главные герои, таинственным образом попадающие в свои чуждые миры под арест или не имеющие возможности вступить в прямой контакт с властями, требующими исполнения службы, его герои, терзаемые глубокой тревогой, мучимые виной, хотя не совершали преступления, страдающие из-за отсутствия какой бы то ни было непосредственной связи с другими, из-за неосязаемых препятствий и явных противоречий, колеблющиеся между иррациональностью и предположением о более глубокой рациональности, которая остается недостижимой, — это символические изображения современного человека, пытающегося прожить свою жизнь. В той мере, в какой мы — достаточно типичные представители этого века, и до тех пор, пока у нас хватает ума, чтобы понять наше положение, и восприимчивости, чтобы вполне прочувствовать его, мы — персонажи Кафки. Но только если мы мужчины. Женщина — другое дело, о чем свидетельствуют и полезные контакты с ней в самом тексте; женщина вовлекается в ситуацию меньше, чем мужчина, она может предложить ему выход из положения; этот наполовину кошмарный, неуравновешенный, односторонний мир воплощает мужское начало. И нет ничего удивительного в том, что Кафка не мог закончить свои символические повествования. Куда ему было бросить взгляд, чтобы закончить их? Сорок лет прошло со времени написания „Процесса“ и „Замка“, а положение современного человека не стало лучше: воистину, оно намного хуже»[52].

Вот прошло и еще сорок лет. И мы можем лишь констатировать, что и сегодня конца историям Кафки не видно, и драка за него продолжается, и он по-прежнему «не укладывается в рамки того или иного известного нам художественного направления, он писатель типа Гоголя или Достоевского... Для него еще не изобретена подходящая этикетка»[53].

К творчеству Кафки есть еще один подход, который со времен первых посмертных публикаций эксплуатируется едва ли не более активно, чем иные, собственно литературные, именно подход биографический. Он охватывает исследование автобиографических мотивов в художественном творчестве писателя, изучение его дневников и писем, а также свидетельств и воспоминаний современников. (С другой стороны, личность и жизнь всякого гениального писателя, и, пожалуй, Кафки — в особенности, сами по себе вызывают огромный интерес, и его тексты, рассматриваемые под таким углом зрения, это информация «из первых рук»). Поэтому в состав настоящего тома мы включили письма к Феликсу Вельчу, отрывки из книги Вельча о Кафке и результаты графологического исследования характера Кафки. В указанном смысле наброски и фрагменты Кафки также чрезвычайно интересны. С их помощью мы можем уловить начальную фазу претворения, «закладку» автобиографических мотивов — обнимающих, разумеется, не только событийный ряд, но и его отражения в переживаниях — в художественные тексты (см., например, записи 1.8, 2.9, 4.59, 4.92, 8.6, фрагменты 2, 43, 54, 91, 114, 215, 236, 245, 269, 303 и многие другие). Среди фрагментов встречаются прямые автохарактеристики (особенно яркий пример — фрагмент 197). Некоторые портретные черты прочитываются также в главе совместного с Бродом сочинения «Первая дальняя поездка по железной дороге» и наброске к нему. Живой образ умного, ироничного, чрезвычайно привлекательного человека встает со страниц писем Кафки и воспоминаний Вельча. Трагические и в то же время светлые черты добавляются к возникающему образу тексты разговорных листков. Мы завершим портрет строками из некролога Милены Есенской, умной, сильной и трезво мыслящей женщины, которую Кафка любил и которой в свое время многое открылось в его творчестве и его душе.

«Он был застенчив, робок, скромн и добр, но он писал жестокие и мучительные книги. Он видел мир полным невидимых демонов, которые терзают и уничтожают незащитного человека. Он был слишком пронзителен и слишком мудр, чтобы уметь устраиваться в этой жизни, и слишком слаб, чтобы бороться со слабостью великодушных и добрых людей, не умеющих победить страх перед непониманием, отсутствием снисходительности, интеллектуальной ложью, людей, знающих наперед, что они бессильны и что они погибнут. Он понимал людей так, как может их понимать лишь тот, кто наделен огромной нервической чувствительностью, лишь тот, кто одинок и способен, подобно пророкам, разгадать человека, один-единственный раз взглянув ему в лицо. У него было глубокое, уникальное знание этого мира, и в нем самом был заключен глубокий и уникальный мир. Книги, которые он написал, входят в число самых значительных в новой немецкой литературе. Лишенные тенденциозности, они являются выражением той борьбы, которую ведет нынешнее поколение живущих. Эти книги правдивы, обнажены, мучительны и даже в символических изображениях почти натуралистичны. Они полны сдержанной иронии, в них отразился пронзительный взгляд человека, который увидел мир настолько ясно, что не смог этого вынести и должен был умереть, чтобы не отступить и не искать, подобно другим, спасения в каких-то иллюзиях, пусть даже самых благородных, интеллектуальных или подсознательных <...> Все его книги воссоздают ужас таинственного непонимания и те мучения, которые беспричинно обрушиваются на людей; это был человек и художник столь боязливо-чувствительной совести, что он слышал угрозы там, где другие благодаря своей глухоте чувствовали себя в безопасности»[54].

Если вам показалось, что это лишь эмоциональные преувеличения некролога, написанного бывшей возлюбленной[55], перечитайте записи 4.84, 4.91 или 5.1, фрагменты 205, 299 или 306, которые трудно назвать иначе как пророческими (и этот ряд вы легко продолжите сами).

И наконец, поскольку записи в тетрадах и фрагменты являются источником афоризмов и некоторых рассказов, мы можем попытаться использовать элементы текстологического — или, если угодно, «контекстологического» — подхода. Удобнее всего предпринять такую попытку на материале афоризмов, так как мы, следуя, как уже говорилось, Броду, воспроизвели афоризмы в составе тетрадей ин-октаво для сохранения и выявления генетических контекстуальных связей. Несколько примеров.

Возьмем афоризм № 42: «Опустить на грудь голову, полную отвращения и ненависти» — это средняя из трех фраз записи 3.84. Сам по себе этот афоризм — некая образная формула ухода. Голова, полная отвращения и ненависти, становится слишком тяжелой, человек склоняет голову на грудь — жест, отмеченный еще Беньямином[56] — горбится, опускает взгляд, отделяет себя от чего-то или кого-то, замыкается в себе — явно от бессилия, ибо ненависть всегда ищет выхода. Что добавляет контекст? Первая фраза записи 3.84 состоит из одного слова: «Вечер». Следовательно, отвращение и ненависть — это результат, итог дня, а в переносном смысле — итог прожитого. Таким образом, это слово определяет и закрепляет расширительное прочтение афоризма: речь идет об отвращении и ненависти ко всему этому миру, перед которым ты, конечно, бессилен и от которого хочешь убежать в себя. «Конечно, но что если тебя схватили за горло и душат?» Совсем иной поворот! Эта заключительная фраза записи полностью меняет и наше впечатление, и наше представление об авторе высказывания. Контекст, таким образом, с одной стороны, усиливает звучание афоризма, а с другой, снимает его крайне пессимистический характер.

Перейдем к афоризму № 102, представляющему собой, как уже указывалось, запись 4.46, в которой Кафка опустил вторую фразу: «Христос пострадал за человечество, и человечество должно страдать за Христа». Почему он ее опустил? Значит ли это, что Кафка

ободил человечество от обязанности страдать за Христа, выведя его за рамки рассуждения? По-видимому, смысл такой секуляризации в снятии формального внешнего должествования и утверждении принципиальной неизбежности для человека соучастия в страданиях этого мира, при этом сострадание выступает как нечто уже не навязываемое, а «показанное» человеку, соответствующее человеческому состоянию. Таким образом, происхождение афоризма позволяет нам увидеть, как происходит изменение и углубление его содержания; мы видим один шаг движения мысли Кафки.

Отметим первые фразы записей 3.5, 3.10, 3.152, 4.1 и 4.13, не вошедшие в афоризмы № № 1, 2, 80, 92 и 97, соответственно, и по-разному их оттеняющие. Заметим также, что в некоторых случаях общее происхождение нескольких афоризмов из одной «родительской» записи указывает на их не всегда очевидную внутреннюю связь (например, происхождение афоризмов № № 4, 5 и 6 из записи 3.14, № № 54* и 55 — из 3.105, № № 87 и 88 — из 3.180).

Завершая наши текстологические опыты, вспомним об одном текстуальном пропуске, на который взыскательный читатель наверняка обратил внимание: в афоризмах Кафки, им самим отобранных и пронумерованных (см. об этом в Мп. Д., с. 428), отсутствует афоризм № 104. Никаких соображений по поводу того, куда он делся, высказано не было. Однако теперь, имея в руках источник, мы можем попытаться найти этот исчезнувший афоризм. Прежде всего заметим, что все афоризмы выписаны Кафкой из третьей и четвертой тетрадей (записи с 3.5 по 4.74). Последовательность нумерации афоризмов за одним-единственным исключением (афоризм № 89) совпадает с последовательностью соответствующих «родительских» записей в тетрадях. И поскольку афоризм № 103 это запись 4.48, а афоризм № 105 — запись 4.53, то логично предположить, что афоризм № 104 — это одна из промежуточных записей 4.49 + 4.52. Но запись 4.50 — это и есть упоминавшийся афоризм № 89, а 4.51 — краткая запись дневникового характера. Остается два варианта: 4.49 и 4.52. Но запись 4.49 — явно первоначальный набросок, расширенный и усиленный в записи 4.50, следовательно, исчезнувший афоризм № 104 — это запись 4.52, и мы, таким образом, можем с чувством удовлетворения заполнить лакуну, зиявшую в афоризмах Кафки. Но что-то словно бы мешает. Слишком уж эта запись 4.52 конкретна, слишком обращена автором к самому себе, слишком, попросту говоря, незначительна — стал бы он такую выписывать? Ведь он отбирал придирчиво, теперь мы это видим, тетради у нас в руках. И еще такое странное совпадение: именно на это пространство записей 4.49 + 4.52 падает и единственное исчезновение афоризма, и единственное нарушение последовательности нумерации. Случайность? Нет, что-то тут не так. Но для афоризма № 104 больше нет вариантов: между записями, превратившимися в афоризмы 103 и 105, есть только одна запись, достойная стать афоризмом — и ставшая им под тем самым нарушающим последовательность номером 89. Значит, остается единственная возможность: мы вынуждены предположить, что порядок следования афоризмов был нарушен задним числом при каком-то позднейшем пересмотре подборки, а афоризм № 89 исходно и был афоризмом № 104. Но тогда, следовательно, при этом пересмотре из подборки была изъята запись, исходно бывшая афоризмом № 89, и искать мы должны именно ее. Действуем по испытанному методу: афоризм № 88 это две последние фразы записи 3.180, афоризм № 90 — запись 3.188. В промежутке 3.181 + 3.187 записи 3.181, 3.185 и 3.187 очевидно отпадают; остаются: 3.182, 3.183, 3.184 и 3.186. Любая из этих записей могла быть исходным афоризмом № 89, и одна из них, по-видимому, была им. Которая? Запись 3.184 несколько громоздка и сентенциозна, она, пожалуй, ниже общего уровня подборки. Напротив, записи 3.182, 3.183 и 3.186 афористичны и оригинальны. По уровню они не уступают афоризмам, и, выписав любую из них, Кафка, просматривая впоследствии подборку, едва ли посчитал бы, что допустил здесь ошибку. Поэтому в качестве афоризма № 89 была, видимо, взята запись 3.184, впоследствии изъятая как выпадающая из общего ряда и замененная записью 4.50 — исходным афоризмом № 104.

Подведем итог нашим комментариям словами Милана Кундеры из его статьи с замечательным подзаголовком: «Спасая Кафку от кафковедов»:

«Я вспоминаю один разговор с Габриэлем Гарсия Маркесом, состоявшийся двадцать лет назад; он сказал мне: „Именно Кафка заставил меня понять, что можно писать иначе“. Под этим „иначе“ он подразумевал выход за пределы вероятного. Не для того, чтобы, подобно романтикам, убежать от действительности, а для того, чтобы лучше схватить ее... Это он пробил брешь в стене вероятного, ту брешь, в которую за ним последовали многие, каждый по-своему: Феллини, Маркес, Фуэнтес... Рушди. И многие, многие другие»[57].

Выход за пределы вероятного комментировать трудно; неудивительно, что объяснения растянулись на восемь десятков лет — и продолжают по сей день. Они бесполезны, но не будем забывать слова Кафки из его речи о еврейском языке: «Не ожидайте от объяснений поэзии никакой помощи». Поэзию каждый слышит, чувствует и понимает сам — так, как слышит, чувствует и понимает. Поэзия необъяснима, музыка необъяснима, необъясним Кафка. К нему есть только один подход, надежный и универсальный: чтение. Кафка может нравиться и может не нравиться, но он стоит того, чтобы его читать. У Хорхе Луиса Борхеса были основания сказать во время выступления в Буэнос-Айресе в 1977 году: «Кафка все еще дает нам шифр нашего времени»[58]. Шифрограмма остается непрочитанной, у времени чертовски сложный шифр, который со временем не становится проще. И поэтому сбудется прозвучавшее четверть века назад предсказание Борхеса: «Пока люди будут читать, они будут читать Кафку»[59].

Г. Ноткин

Примечания

1

В оригинале: «Furclit vor der Nacht: Furcht vor der Nicht-Nacht».

2

Из противоречия (лат.).

3

После слов «восходит к этому страху» вставлено: «Дав совет, змея выполнила свою работу лишь наполовину, она должна еще попытаться сфальсифицировать то, чего добилась, то есть в буквальном смысле укусь себя за хвост». — Прим. М. Брода.

4 У Кафки это слово написано на иврите.

5

Итак, будем пить (лат.).

6

Мы есть.

7

В современном немецком: Kerze (свеча), Blume (цветок), Liede (беседка).

8

toit (идиш) и tot (нем.) — «мертвый»; Вьт (идиш) и Blut (нем.) — «кровь».

9

Нем.: до, пока, не; австр.: когда, как только, если.

10

Когда/если ты сюда приедешь, я дам тебе пятьсот килограммов муки (австр.).

11

См. письмо от 22 сентября 1917 г.

12

Фраза может быть прочитана двояко — см. далее по тексту.

13

Фрагмент книги: Weltsch F. Religion und Humor im Leben und Werk Franz Kafkas. Berlin, 1957.

14

Указ. соч. С. 14.

15

Там же. С. 16–19.

16

Там же. С. 78–79.

17

R. Grenier. Utility du fait divers. Temps modernes. № 17. P. 95. (Прим. автора).

18

Очевидно, имеется в виду следующий афоризм: «Природа подражает тому, что ей предлагает произведение искусства»; его приводит Андре Жид в своих лекциях о Достоевском, на которые Саррот неоднократно ссылается. (Цит. по: Жид А. Достоевский. Эссе. Томск, 1994. С. 81. Пер. А. В. Федорова).

19

Человек абсурдный (лат.).

20

M. Blanchot. Faux Pas. P. 257, 259. (Прим. автора).

21

C. E. Magny. Roman Americain et Cinema // Poesie. V. 45. № 24. P. 69. (Прим. автора).

22

Жане, Пьер (1859–1947) — известный французский психиатр.

23

Герои знаменитых психологических романов Мари Лафайет и Бенжамена Констана.

24

Бремон, Анри (1865–1933) — французский теолог, критик и историк литературы.

25

У Достоевского: «Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес».

26

Gide A. Dostoievski. [P. 1923]. P. 145. (Прим. автора).

27

Ibid. P. 185. (Прим. автора).

28

Унанимизм («единодушие») — течение во французской литературе.

29

См. Мп. Д. С. 434–435.

30

Ангаладян Р. Слова для облаков. СПб., 1997. С. 8.

31

См.: Мп. Д.

32

Adorno T. Noten zur Literatur III, Frankfurt am Main, 1965. S. 130.

33

Мп. Д. С. 392.

34

Цит. по: Guntermann G. Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. Tübingen, 1991. S. 236.

35

Ibid. S. 277.

36

Дубин Б. Атака на границу // Иностранная литература. 1999. № 4. С. 245.

37

См.: Кафка Ф. Замок. СПб.: Амфора, 1999. С. 347.

38

Седельник В. Франц Кафка и проблемы постмодернизма. В кн.: Литературоведение на пороге XXI века. М., 1998. С. 476–492.

39

Дубин Б. Указ. соч. С. 245.

40

Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество. В кн.: Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 108. Пер. С. Аверинцева.

41

Там же.

42

Там же. С. 107.

43

Там же.

44

Чередниченко Т. Традиция без слов // Новый мир. 2000. № 7. С. 194.

45

Кафка Ф. Процесс. СПб.: Амфора, 2000. С. 301. (В качестве курьеза можно заметить, что одна из двух «непроницаемых деталей», указываемых Адорно для примера, вполне «проницаема», но сказанного им это не отменяет).

46

Борхес Х. Л. Кафка и его предшественники // Литературная газета. 15 апреля 1992. С. 7. Пер. Б. Дубина.

47

Там же. Ср. также запись 3.71, представляющую собой апорию с невозможности суждения. Интересно отметить, что эта запись по существу совпадает с известным, идущим от Нильса Бора образным описанием квантовомеханического принципа отсутствия независимого наблюдателя: спектакль идет на сцене, закрытой занавесом, поэтому зритель может узнать что-то о пьесе, только пройдя на сцену и приняв, таким образом, участие в спектакле.

48

Там же.

49

Там же.

50

«О типичном рассказе Кафки можно сказать, что в нем формула рыцарского героического Поиска перевернута с ног на голову. В традиционном Поиске цель — принцесса, источник живой воды и т. п. — известна герою еще до начала странствий. Цель далека, и, как правило, он не знает заранее ни пути к ней, ни опасностей, подстерегающих его на этом пути, но всегда есть иные существа, которым известно и то и другое, и они снабжают его точными указаниями направления и соответствующими предостережениями. Кроме того, привлекательность цели является общепризнанной; достичь этой цели хотел бы всякий, но достигнута она может быть только героем по предопределению», который «всегда совершенно уверен в своем будущем успехе. В отличие от традиционного рассказа, в типичном рассказе Кафки цель специфична для самого героя: у него нет конкурентов. Те существа, которых он встречает на своем пути, иногда пытаются ему помочь, чаще — пытаются помешать, чаще всего — проявляют безразличие, и никто не имеет ни малейшего представления о том, куда ему идти... Будучи далек от уверенности в успехе, герой Кафки с самого начала не сомневается, что обречен на поражение; и точно так же, будучи тем, кто он есть, он обречен прилагать чудовищные, бесконечные усилия к достижению своей цели. Действительно, желание достичь ее уже само по себе есть доказательство не того, что он принадлежит к числу избранных, а того, что над ним тяготеет особое проклятие... Во всех прежних версиях Поиска герой знает, что он должен делать, и перед ним только одна проблема: „Смогу ли я это сделать?“... Но перед К. стоит другая проблема: „Что мне следует делать?“... Для традиционного героя определена граница Поиска... Стать героем в традиционном смысле значит приобрести благодаря своим исключительным талантам и свершениям право сказать „Я“. Но К. с самого начала „Я“, и в самом факте того, что он существует, уже заключена его вина, вне зависимости от его талантов и свершений...» (Мп. Д. С. 439 и далее).

51

Priestley J. B. Literature and western man. N. Y., 1960. P. 419.

52

Ibid. P. 420.

53

Седельник В. Указ. соч. С. 479.

54

55

Заметим, что к 1924 году Кафку и Милену если что-то и связывало, то лишь общие воспоминания. К тому же она — при несомненной душевной отзывчивости — была человеком практического склада. Вот что пишет о ней Феликс Вельч (Указ. соч. С. 22, 23): «Что помешало Милене расстаться со своим мужем, который, как ей было прекрасно известно, постоянно ей изменял и к тому же материально ее не поддерживал? Была ли она в самом деле так привязана к этому человеку, что не могла, как она писала, его оставить, — или просто не решалась выйти замуж за Кафку? Для него речь шла только о настоящем браке. Возможно, она предчувствовала, что жизнь с Кафкой — это такая задача, решение которой едва ли могло быть созвучно ее витальным задаткам. Как бы там ни было, Кафка, поняв безнадежность их отношений, прервал переписку. Вскоре после приключения с Кафкой Милена Есенская оставила мужа и вышла замуж вторично».

56

См. Мп. Д. С. 406.

57

Kundera M. In Saint Garta's Shadow. Rescuing Kafka from the kafkalogists. TLS: Times literary supplement, 1991, May 24, № 4599. P. 3–5.

58

Цит. no: Brunmayr H. Vorwort, in: Kafka — Kolloquium, Utrecht, Mai 1984, S. 5.

59

Ibid. S. 6.

60

См.: Кафка Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Малая проза. Драма. СПб.: Амфора, 2001 (далее: Мп. Д).

61

Заметим, что если Брод прав, то возраст сестры в письме указан неточно.

Комментарии

1

Большая часть текстов из наследия Франца Кафки, вошедших в настоящий том, на русском языке публикуется впервые. Переводы выполнены по изданию Kafka F. Gesammelte Werke, Bd. 1–9. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1946–1953 (это последнее, подготовленное Максом Бродом, издание собрания сочинений Кафки); в примечаниях использованы примечания и послесловия М. Брода к томам этого издания.

Нумерация записей, фрагментов и листков не является традиционной и введена в настоящем издании для облегчения ссылок. Слова в текстах Кафки, заключенные в квадратные скобки, добавлены М. Бродом.

2

В состав наследия Кафки входят восемь маленьких голубых тетрадей ин-октаво (как вспоминает М. Брод, такие тетрадки в гимназии они называли «словариками»). Эти тетради относятся к периоду 1917–1919 гг. и вначале ведутся параллельно с одиннадцатой и, затем, двенадцатой «большими» дневниковыми тетрадями ин-кварто, но с ноября 1917 по июнь 1919 года Кафка дневник не вел, и «голубые тетради» заполняют, таким образом, возникшую лауну. Однако, как отмечает Брод, в этих тетрадях почти нет «подневных» заметок, даты встречаются редко, события личной жизни и разного рода будничные происшествия везде лишь обозначены немногими словами (записанными к тому же более мелким почерком, чем как бы подчеркивается незначительность содержания), и большая часть записей — это наброски художника, фрагменты рассказов, афоризмы, размышления, небольшие законченные новеллы, а также неоконченная пьеса «Сторож склепа»[60]. То есть тетради ин-октаво — это, по существу, творческие записные книжки писателя. По этой причине М. Брод не включил их в том дневников, а перенес в том произведений из наследия.

3

1.1. В первой тетради, помимо представленных текстов, содержатся также известные рассказы — такие, например, как «Шакалы и арабы», «Мост», «Егерь Гракх», «Всадник на ведре».

4

1.3. Продолжение рассказа «Всадник на ведре».

5

1.4. Черновик письма писателю и историку литературы Паулю Виглеру, выпустившему во время войны избранные письма Бетховена и

6

1.6. набросок к рассказу «Новый адвокат».

7

1.11, 1.12. Рассказ «Воззвание».

8

1.11, 1.12. Рассказ «Воззвание».

9

1.14, 1.15, 1.17. Варианты к рассказу «Воззвание».

10

1.14, 1.15, 1.17. Варианты к рассказу «Воззвание».

11

1.16. Имеется в виду книга Ludwig Richter «Lebenserinnerungen eines deutschen Malers» («Воспоминания немецкого художника»).

12

1.14, 1.15, 1.17. Варианты к рассказу «Воззвание».

13

1.18. После записи 1.18 Kafka набрасывает первый вариант состава сборника «Сельский врач»: «На галерке», «Кастовый дух» (по-видимому, это вариант заглавия рассказа «Посещение шахты»), «Всадник на ведре», «Всадник» (возможно — вариант заглавия рассказа «Соседняя деревня»), «Купец» (возможно — вариант заглавия рассказа, опубликованного Бродом под заглавием «Сосед»). Далее следует, как отмечает Брод, трудночитаемый черновик письма неизвестному адресату (возможно, это врач-натуралист из Варнсдорфа Шнитцер); Брод уверен, что речь в письме идет о сестре писателя Оттле[61], в сельскохозяйственных экспериментах которой Kafka, подолгу гостивший у нее в Цюрау и, затем, в Плане, принимал живое участие, по крайней мере в качестве пациента-испытателя. Вот этот текст:

«У меня есть сестра двадцати семи лет, здоровая [одно слово не прочитывается], веселая, осмотрительная и все же достаточно уверенная в себе — между прочим, уже несколько лет строгая вегетарианка в недрах плотоядной семьи. До сих пор она была занята в деле родителей, однако теперь под влиянием ряда внешних и внутренних причин хочет осуществить свое старинное желание, а именно, попробовать себя в агрономии. Она хочет закончить какие-нибудь сельскохозяйственные курсы и затем подыскать себе соответствующее место. Вы, с Вашим огромным опытом и кругозором, несомненно могли бы дать хороший совет, который имел бы для нее решающее значение. Очень прошу Вас об этой дружеской услуге».

14

2.1. Брод указывает, что для датировки этой тетради, то есть определения ее в качестве второй, решающим явилось то обстоятельство, что содержащийся в ней рассказ «Доклад для академии» в ноябре 1917 года уже был опубликован (см. прим. 3.6). Помимо этого рассказа и фрагментов к нему, во второй тетради содержатся: рассказ «Сосед» (у Kafka он записан без заглавия), рассказ «Химера» (заглавие авторское) и фрагмент к рассказу «Егерь Грах» — см. Мп. Д.

Собственно запись 2.1 — вариант к рассказу «Химера».

15

3.1. Третья и четвертая тетради содержат отдельные датированные записи, благодаря этому мы знаем, что они сделаны в Цюрау, где Kafka жил у сестры, восстанавливая силы после первого легочного кровотечения. Из записей этого периода он позднее отберет и выпишет на отдельные листки те афоризмы, которые Брод опубликует под заглавием «Рассуждения о грехе, страдании, надежде и пути истинном», оставив их в то же время в корпусе текстов «голубых тетрадей» для сохранения контекстуальных связей.

16

3.5. Вторая и третья фразы записи 3.5 — это афоризм № 1 из «Рассуждений...»

17

3.6. В октябре 1917 года в редактируемом Мартином Бубером журнале «Der Jude» появился рассказ Kafka «Шакалы и арабы»; в ноябре — рассказ «Доклад для академии».

18

3.10. Вторая фраза записи — афоризм № 2.

19

3.12. После слов «В постели» идет афоризм № 3.

20

3.13. Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Железнодорожные пассажиры».

21

3.14. Афоризмы № 4, № 5 и № 6.

22

3.18. Первые две фразы записи — афоризмы № 7 и № 8.

23

3.21. Вариант рассказа «Будничное происшествие».

24

3.25. Рассказ «Правда о Санчо Пансе».

25

3.29. Афоризмы № 9 и № 10.

26

3.31. Афоризм № 11/12.

27

3.33. Рассказ «Молчание сирен».

28

3.37. Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Общество мошенников».

29

3.38. Афоризм № 13.

30

3.40. Афоризм № 14.

31

3.41. После даты — афоризмы № 15 и № 16.

32

3.42. Как поясняет М. Брод, в оригинале употреблен областной глагол «hutzen», означающий «сидеть вместе и болтать обо всем на свете».

33

3.44. Афоризм № 17.

34

3.46. Афоризм № 18.

35

3.48. Афоризмы № 19 и № 20.

36

3.49. Блюэр, Ганс (1888–1955) — немецкий писатель, прославившийся своим антисемитизмом; Таггер, Теодор (1891–1958) — австрийский писатель. Оба автора упоминаются и в «Дневниках» Кафки.

37

3.51. Афоризмы № № 21, 22, 23, 24 и 25.

38

3.53. Афоризмы № № 26, 27 и 27*.

39

3.58. Афоризмы № № 28, 29 и 29*.

40

3.65. Афоризм № 30.

41

3.70. Афоризмы № № 31, 32, 33 и 34.

42

3.73. Афоризмы № № 35, 36 и 37.

43

3.75. Афоризм № 38.

44

3.77. Афоризм № 39а.

45

3.81. Афоризмы № 39б и № 40.

46

3.83. Афоризм № 41.

47

3.84. Вторая фраза записи — афоризм № 42.

48

3.89. Афоризмы № № 43, 44 и 45.

49

3.91. Афоризм № 46.

50

3.93. Афоризм № 47.

51

3.96. Афоризмы № 48 и № 49.

52

3.101. Афоризм № 50.

53

3.103. Афоризм № 51.

54

3.105. Афоризмы № № 52, 53, 54, 54*, 55, 56, 57 и 58.

55

3.108. Афоризм № 59.

56

3.110. Афоризмы № № 60, 61 и 62.

57

3.112. Афоризм № 63.

58

3.114. Афоризм № 64/65.

59

3.118. Вайс, Эрнст (1884–1940) — австрийский писатель.

60

3.119. Афоризм № 66.

61

3.120. Кернер, Йозеф (1888–1950) — немецкий ученый-литературовед. В. Мель, как полагает Брод, — коллега Кафки по работе.

62

3.122. Пфоль — один из начальников Кафки, Пршибрам — соученик.

63

3.126. Афоризм № 67.

64

3.127. «Ф.» — Фелица Бауэр; они с Кафкой еще помолвлены, разрыв произойдет в конце декабря.

65

3.128. Афоризм № 68.

66

3.130. Афоризм № 69.

67

3.136. Афоризм № 70/71.

68

3.139. Афоризм № 72.

69

3.141. Афоризм № 73.

70

3.143. Афоризм № 74.

71

3.145. Афоризм № 75.

72

3.146. Баум, Оскар (1883–1940) — писатель, друг Брода и Кафки.

73

3.147. Афоризмы № № 76, 76*, 77 и 78.

74

3.150. Афоризм № 79.

75

3.152. Вторая фраза — афоризм № 80.

76

3.154. Афоризм № 81.

77

3.158. Афоризм № 82.

78

3.160. Рассказ «Прометей».

79

3.166. Афоризм № 83.

80

3.169. Афоризм № 84.

81

3.173. Афоризм № 85.

82

3.175. Афоризм № 86.

83

3.180. Афоризмы № 87 и № 88.

84

3.188. Афоризмы № 90 и № 91.

85

4.1. После слов «ты подавляешь себя» идет афоризм № 92 — до слов «Создавались все новые...»

86

4.5. Начинаются записи 1918 года. Кафка по-прежнему живет в Цюрау (периодически выезжая в Прагу для продления отпуска по болезни) и пытается немного работать в садах Помологического института под Прагой.

87

4.7. Ленц, Якоб (1751–1792) — немецкий писатель.

88

4.8. Афоризмы № 93 и № 94.

89

4.9. Кафка в это время ведет переписку с издательством Курта Вольфа по поводу книги «Сельский врач».

90

4.10. Афоризмы № 95 и № 96.

91

4.13. После слов «с позитивным» идет афоризм № 97.

92

4.18. Афоризм № 98.

4.22. «Мгновение» — название журнала Кьеркегора (см. «Нева», 1993, № 3).

4.27. Афоризмы № 99 и № 99*.

4.43. Брод полагает, что здесь у Кафки описка и вместо «интуиция» должно было быть «интенция», а вся запись связана с работой их общего друга философа Феликса Вельча «Опыт и интенция», вышедшей в 1918 году.

4.44. Афоризмы № 100 и № 101.

4.46. Афоризм № 102 (вторая фраза в афоризм не вошла).

4.48. Афоризм № 103.

4.50. Афоризм № 89.

4.53. Афоризм № 105.

4.54. Афоризм № 106 (после даты).

4.55. Афоризм № 106*.

4.71. Афоризмы № 107 и № 108.

4.73. Афоризм № 109.

4.74. Афоризм № 109*.

4.75. Брод указывает, что записи с 4.75 по 4.80 представляют собой обсуждение работы Кьеркегора «Страх и трепет», а записи 4.81 и 4.82 — критику Кьеркегора; кроме того, двумя страницами раньше Кафка выписывает в тетрадь термины Кьеркегора «рыцарь бесконечности» и «рыцарь веры», сопровождая их следующей записью: «Задняя мысль Авраама — Значение — Один и тот же голос посылает его туда и возвращает обратно».

4.79. В первоначальной редакции эта запись была сделана от первого лица, она начиналась: «Моя духовная нищета» и т. д.

4.88. К рассказу «Посейдон».

4.95. Брод сообщает, что к четвертой тетради приложен листок с наброском ходатайства в защиту некоего бедного, всеми покинутого слабоумного — по-видимому, с целью уберечь его от военной службы. Вначале идут сведения о его родственниках, о дяде, мяснике из Зааца, о другом дяде из Оберклее, о сестре, которая «не в счет», об отсутствии родителей. Далее следует такой текст: «Он ненормален, дело дошло даже до ковыряния в глине, поэтому он был признан негодным; да и по возрасту его уже не должны были брать. Он

напрашивался, не понимая на самом деле, что то шел. Писать и считать он не умеет, о самостоятельной торговле мясом или овощами не может быть и речи, поэтому руководство не может брать на себя такую ответственность. Возможно, однако, что он был бы в состоянии помогать своим родственникам при закупках скота, его получении, перегоне и т. д. В таком плане возможно, видимо, и его участие в овощной торговле: он мог бы забирать овощи, толкать тележку и т. п. Однако всякая самостоятельность исключена, о чем могли бы задуматься и его родственники, правда, тогда им пришлось бы взять ответственность на себя». Брод замечает, что этот набросок ходатайства уже пропитан атмосферой «Замка», хотя отрывки из начала романа Кафка прочтет ему только в 1922 году.

110

5.15. Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Новые лампы».

111

5.30. В конце пятой тетради Кафка указывает книги, которые собирается прочесть или только что прочел. Вот этот список: «Смерть в Венеции», «Исповедь» Августина, «Сумма» (журнал Франца Блея), «Буря» Келлера, «Кардинал Рец», письма Ван Гога, «Сорок лет из жизни одного умершего», «Путешествия в Абиссинию» Бейкера, Эмин-паша, Ливингстон, «Воспоминания о Сезанне» Бернара.

112

6.7. В конце шестой тетради вновь приведен список заглавий рассказов, запланированных для сборника «Сельский врач». Он ближе к составу действительно опубликованной позднее книги, чем первый план. Это следующие заглавия: «Сон», «Перед Законом», «Императорское послание», «Короткое время» (очевидно, вариант заглавия рассказа «Соседняя деревня»), «Листок из прошлого», «Шакалы и арабы», «На галерке», «Всадник на ведре», «Сельский врач», «Новый адвокат», «Братоубийство», «Одиннадцать сыновей». Брод указывает, что шестая тетрадь содержит записанный «совершенно невозможным, почти не поддающимся расшифровке индивидуальным стенографическим кодом Кафки» набросок письма — очевидно, ответа на приглашение к участию в одном из тех проавстрийско-патриотических движений, которых в то военное время расплодилось множество; некоторые из них, возможно, рождались в искреннем порыве, но в большинстве это были назойливые карьеристские импровизации. Брод реконструирует набросок ответа следующим образом: «Поблуждав, Ваше письмо, наконец, попало ко мне; мой адрес: Поржич, 7. Прежде всего я благодарю Вас за тот интерес, который выражен в Вашем письме, — он меня искренне радует. Речь несомненно идет о полезном или даже необходимом деле. Гарантией этого — равно как и будущего — служат те добрые имена, которые стоят в Вашем списке. Тем не менее я должен воздержаться. Дело в том, что я не способен чувствовать в каком-то едином великоавстрийском духе и, разумеется, еще менее — быть в нем единомышленником этого духовного лица. Такая перспектива меня отпугивает... Но, к счастью, это не нанесет никакого ущерба Вашему объединению, напротив: я к этому органически непригоден, мои личные связи незначительны, какого-либо существенного влияния я не имею. Таким образом, вы вскоре пожалели бы, что привлекли меня... Если же из этого художественного объединения образуется — что, впрочем, неизбежно — некий союз с членскими взносами и тому подобным, я с удовольствием вступаю... Не обижайтесь на меня за этот, для меня вынужденный, отказ». Шестая тетрадь содержит также оригинальную рукопись рассказа «Когда строилась Китайская стена» (заглавие авторское).

113

7.1. Основной объем седьмой тетради занимают варианты и наброски неоконченной пьесы «Сторож склепа».

114

8.1. Ср.: заметка V из серии «Он». (Мп. Д).

115

8.7. Брод указывает, что этот текст — записанная Кафкой автобиография еврейского актера Исаака Леви (упоминания о нем есть в «Дневниках» Кафки; см. также: Брод М. О Франце Кафке. СПб.: Академический проект, 2000. Гл. 4). Актер рассказывал ее в течение многих вечеров, зачастую весьма сумбурно; Кафка, слушая, делал записи и затем набросал связный рассказ, стараясь как можно точнее воспроизвести стиль Леви. Помимо интереса к личности рассказчика, Кафкой при написании этой работы двигало еще и желание помочь несчастному, запутавшемуся в жизни и в самом себе актеру преодолеть тяжелый душевный кризис. В тетради содержится начало черновика и значительно более полная, однако тоже неоконченная, чистовая рукопись жизнеописания актера; далее идут еще несколько заметок, а затем — древнееврейский вокабуляр, из семидесяти страниц тетради пятьдесят пять заняты этими штудиями иврита.

«Трефное» — нечистое, запрещенное; «хазер» — свинина; Пурим, Иом Кипур — еврейские религиозные праздники; «Леха Доди» — гимн, которым встречают наступление шабата; Бал-Чуве (Вал-Чува) — обратившийся грешник, принявший покаяние.

116

8.9. По-видимому, свидетельство уже начавшейся внутренней работы над будущим «Замком»; ср. также запись 5.28.

117

23. Рудольфинум — дворец искусств на набережной кронпринца Рудольфа в Праге.

118

47. Сравни: фрагмент 44.

119

77. набросок письма Францу Верфелю; обсуждаемая пьеса «Швайгер» написана в 1922 г.

РАШИ (Рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105) — автор классических толкований Священного Писания; в традиционной иудаике тексты Ветхого Завета и Талмуда обычно сопровождаются его комментарием.

120

113. Брод полагает, что это видение навеяно центральной площадью Милана.

121

123. Здесь в рукописи Кафки помечено, что он выкинул притупившееся перо, которое давало слишком толстую линию и вставил в ручку новое, «острое перо».

122

129. Из предварительных набросков к «Замку». На вложенном в тетрадь листке обозначен год: 1920.

123

140. Вариант афоризма № 26.

124

146. Брод полагает, что в этом фрагменте можно увидеть грубую травестию темы «Израиль и мирная миссия Израиля в отношениях между народами», а в предыдущем явно обрисована картина сионистского строительства в Израиле. «Во всяком случае, — пишет Брод, — оба фрагмента тематически связаны». Ср. также фрагмент 150.

125

150. Рассказ, опубликованный Бродом под заглавием «Общество».

126

156. Вариант афоризма № 99*.

127

157. Вариант афоризма № 106*.

128

164. Перед фрагментом в рукописи идут рассказы «К вопросу о законах» и «Рекрутский набор» (см. Мп. Д.); эти вещи и следующие далее фрагменты тематически относятся к кругу «Китайской стены».

129

168. Фрагмент II к рассказу «Когда строилась Китайская стена».

130

169. Афоризм № 76 с одним пунктуационным отклонением (скобки).

131

177. Афоризм № 54*.

132

182. Брод предполагает, что упомянутые в записи оконные витражи указывают на определенную пражскую синагогу.

133

197. Брод обращает внимание на любопытное родство этих само-объяснений с теорией К. Г. Юнга, которой Кафка не знал.

134

244. Вариант к легенде «Перед Законом».

135

246. Афоризм № 29*.

136

251. Макс Брод комментирует: «31 декабря 1914 года Кафка записывает в дневник: „Писал незаконченное: „Процесс“, „Воспоминания о дороге на Кальду“, „Деревенский учитель“, „Младший прокурор“ и начала более мелких. Закончил только „В исправительной колонии“ и одну главу „Сгинувшего““. Из этой заметки следует, что все указанные вещи писались в период с августа по декабрь. Рассказ „Младший прокурор“, очевидно, остался неоконченным, но, во всяком случае, написано было больше, чем сохранилось на отдельных неупорядоченных листках; их осталось очень много, и из них удалось извлечь и составить приведенный фрагмент. Начало рассказа отсутствует».

137

259. Ср. фрагмент 171.

138

283. Рассказ «В путь».

139

288. Далее в тетради следует рассказ «Мастер пост-арта», из чего можно заключить — и это подтверждается рядом содержащихся в той же тетради маленьких заметок, — что фрагмент относится к 1923 году.

140

291–293. Варианты начала рассказа «В нашей синагоге».

141

294. Рассказ «В нашей синагоге» (заглавие М. Брода).

142

296. Брод замечает: «Как в некоторых текстах, написанных до начала войны 1914 года, Кафка описал сцены, которые мы пережили только во время войны, так и этот фрагмент производит впечатление некоего визионерского пророчества депортации евреев при Гитлере». Ср. также фрагмент 299 и Примечания к Мп. Д.

143

310. Далее в рукописи следует неозаглавленный рассказ «Исследования одной собаки».

144

316. Оригинал этого фрагмента вместе с большим количеством оставшихся в Берлине рукописей Кафки был захвачен гестапо и, очевидно, погиб. Случайно сохранившуюся копию Макс Брод нашел у эмигрировавшего из Германии гамбургского антиквара Й. Халле.

145

В последний, особенно мучительный период болезни, когда туберкулез захватил уже и гортань, Кафке, находившемуся в санатории в Кирлинге под Веной, стало трудно говорить, и врачи порекомендовали ему разговаривать как можно меньше. Выполняя рекомендацию, Кафка общался с персоналом, а также с Дорой Димант и Робертом Клопштоком (студентом-медиком, оставившим свои занятия в Берлине, чтобы вместе с Дорой ухаживать за Кафкой) в основном, посредством записок, зачастую очень лаконичных: остальное угадывалось по ситуации. Брод опубликовал лишь небольшую часть этих разговорных листков, сохраненных Клопштоком, опустив очень многое, относящееся к физическому состоянию больного. Несколько записок, не вошедших в собрание сочинений, приводятся Бродом в его биографии Кафки (№ № 98–106). В примечаниях использованы пояснения, данные Броду Клопштоком. Брод замечает, что эти последние строки, вышедшие из-под пера Кафки, свидетельствуют о силе духа, добросердечии и фантазии, не покидавших его до самого конца.

146

1. Пилы неоднократно появляются в заметках и письмах Кафки как реальный источник шума и как символ вторжения внешнего мира.

147

6. Очевидно, о косой подрезке стеблей цветов.

148

27. Берлинское издательство «Die Schmiede», в котором как раз в это время была набрана последняя, составленная Кафкой, книга рассказов «Мастер пост-арта», прислало ему книги для чтения.

149

28. Р. — Роберт Клопшток.

150

29. Относится к корректуре сборника «Мастер пост-арта»; Кафка выправлял ее до последних дней жизни.

151

39. О соседке Кафки во время его пребывания в клинике профессора Хайека в Вене.

152

42. О корректуре книги.

153

43. Заметка относится к методике фармакотерапии: после того как одно лекарство не дало эффекта, по необходимости переходят к другому. Кафка всегда отрицательно относился ко всяким лекарствам и видел в них медленно действующие яды.

154

47. Роберт Клопшток свидетельствует: «К этому времени телесно Кафка, который в буквальном смысле слова голодал, поистине напоминал призрак. Когда он кончил держать корректуру, что должно было не только потребовать от него чудовищного напряжения сил, но и явиться потрясающей духовной встречей с прошлым, у него долго лились из глаз слезы. Я впервые был свидетелем такого душевного волнения Кафки. Он всегда отличался сверхчеловеческим самообладанием». Брод замечает, что в действительности Кафка успел выправить лишь гранки начала книги.

155

58. Стакан упал на пол и разбился.

156

59. Кафка вспомнил о стихотворении Гете и попросил Дору прочесть его.

157

62. Йогурт.

158

66. Муха в комнате.

159

75. Аглая — в древнегреческой мифологии младшая из граций, аллегория блестящей красоты.

160

77. Возможно, в связи с записью разговорного листка № 10.

161

82. «Венский лес» — название санатория, в котором Кафка был раньше.

162

85. Запись относится к дням, проведенным в Праге после пребывания в Берлине и до отъезда в санаторий «Венский лес». Кафка тогда почувствовал первые симптомы заболевания гортани. Клопшток сообщает: «В эти дни он писал „Жозефину“ и однажды вечером, закончив последнюю страницу рассказа, сказал мне: „Кажется, я вовремя начал изучать звериный писк. Я только что закончил об этом рассказ“... В тот же вечер он сказал мне, что чувствует в горле какое-то забавное жжение, когда пьет некоторые жидкости, в особенности фруктовые соки, и высказал озабоченность, не поражена ли и гортань».

163

91. Дядя писателя Зигфрид Леви, врач; приезжал в Берлин осматривать Франца.

164

92. Очевидно, это ответ на вопрос, понимала ли Кафку его первая возлюбленная.

165

97. После визита врача.

166

100. По-видимому, речь идет о Рудольфе Леонхарде, главном редакторе издательства «Шмиде». Пшор — сорт пива.

167

Брод, отсылая читателя к четвертой главе своей биографии Франца Кафки, кратко замечает, что этой речью 18 февраля 1912 года Кафка предварял выступление еврейского актера из Восточной Европы Исаака Леви в актовом зале Пражского еврейского совета (см. также примечание 8.7 к «голубым тетрадам»). Оригинальная рукопись речи утрачена, но, к счастью, сохранилась копия, сделанная женой Макса Брода Эльзой. Опубликовано Бродом в приложении к 6-му тому собрания сочинений Кафки.

168

Брод и Вельч были в это время в Италии, в Порторозе, совмещая отдых с работой над книгой «Восприятие и представление».

169

Кафка вместе с директором своего агентства и непосредственным начальником был в Вене на международном конгрессе по организации спасательных работ и промышленной санитарии.

170

По-видимому, речь идет о перипетиях отношений Кафки с Фелицей Бауэр, в достаточной мере известных Броду, и Вельчу (16 сентября 1913 года Кафка написал ей: «нам нужно расстаться»).

171

Кафка в дневнике (а за ним и Брод в его биографии) называет этот датский курорт «Мариенлист».

172

Вайс, Эрнст (1884–1940) — австрийский писатель.

173

Речь идет, очевидно, о книге, взятой в университетской библиотеке, где работал Вельч.

174

Фелица Бауэр, в это время также находившаяся в Мариенбаде.

175

Лангер, Георг (1894–1943) — кузен М. Брода, примкнувший к хасидизму и долгое время живший в Венгрии, «при дворе» знаменитого раввина из Бельцов.

176

Heimann M. Politische Voraussetzungen... Die Neue Rundschau. Juni 1917.

177

Оттла (Оттилия, 1892–1943) — младшая сестра Франца.

178

Брод комментирует: «Имеется в виду визит к врачу и первая констатация болезни Кафки. После этого он взял на службе отпуск, разорвал помолвку и длительное время провел в деревне Цюрау, где его сестра Оттла тогда пыталась самостоятельно (вдали от родителей) вести хозяйство в принадлежащем зятю имении. Сельское окружение воспроизведено в романе „Замок“, исходный визуальный образ которого восходит еще к видовой открытке из Фридланда (от 1.02.1911 г.)».

179

Врач, лечивший Кафку в Праге.

180

Профессор Фридль Пик, первым констатировавший у Кафки туберкулез — см. прим. 11.

181

Немцова, Божена (1820–1862) — чешская писательница; Брод считает, что влияние ее романа «Бабушка» («Babicka», 1855) сказалось в «Замке».

182

Weltsch F. Organische Demokratie. Leipzig, 1918.

183

Роберт Вельч, двоюродный брат Феликса, был в это время на фронте.

184

Racowilzowd H. Laska a smrt Ferdinanda Lassalea. Prag, 1912.

185

Зауэр, Август (1855–1926) — историк литературы.

186

Ординарный профессор Пражского университета; см. ниже прим. 22.

187

Лидия Хольцнер руководила одной из женских школ в Праге.

188

Очевидно, имеется в виду теолог и философ Йозеф Шнитцер (1859–1939).

189

Уже упоминавшийся профессор Цукеркандль, дальний родственник Клемансо. Феликс Вельч писал Кафке 17 октября 1917 года: «Беседовал с гофратом Цукеркандлем о тебе! Он превозносил тебя как писателя до небес. Его теща на каком-то курорте услышала от одной знакомой дамы о писателе Франце Кафке, которого обязательно надо прочитать. Теща пожелала иметь книгу и получила ее. В результате гофрат тоже прочел четыре страницы и пришел в восторг: „Но я должен его знать, раз он выпускник нашего университета!“»

190

Движение либерально-революционно настроенных писателей.

191

Корнфельд, Пауль (1889–1942) — австрийский писатель и драматург.

192

«Der Mensch» («Человек») — ежемесячный журнал, выходивший в 1918–1919 годах.

193

Немецко-еврейское образовательное общество для взрослых.

194

Кафка вспоминает эпизод с потерянной в день визита к Вельчам сумкой, которая потом нашлась в квартире его сестры.

195

Пелагий (Морган, 360–420) — британский монах и теолог, отвергавший учение о первородном грехе и объявлявший природные силы человека достаточными для достижения блаженства. С пелагианством боролся, в частности, упоминаемый в письме Блаженный Августин.

196

Fromer L. Salomon Maimons Lebensgeschichte. Munchen, 1911. Книга вышла в издательстве Georg Muller Verlag в той же серии, что и упомянутая в письме «Исповедь».

197

Вальтер Фюрт — член кружка молодых литераторов, собиравшегося в предвоенные годы в кафе «Арцо».

198

Оскар Краус, профессор философии Пражского университета, у которого учился Вельч.

199

В апреле 1918 года в журнале «Ди нойе рундшау» была опубликована статья Феликса Вельча «Органическая демократия».

200

Речь идет о правке книги Вельча «Милость и свобода» — см. воспоминания Вельча.

201

Соответственно, немецкий и чешский общественно-политические клубы в Праге.

202

Район Праги.

203

«Selbstwehr» («Самозащита») — еврейский еженедельник, редактором которого был Вельч (см. его воспоминания).

204

Wichtl F. Freimauerei. Zionismus. Kommunismus. Spartakismus. Bolschewismus. Hamburg und Wien, 1920.

205

Известная, впоследствии разоблаченная, фальшивка.

206

3 июня 1920 года в газете «Weltbühne» была опубликована рецензия Петера Пантера (Курта Тухольского) на рассказ Кафки «В исправительной колонии».

207

Один из фантастических «жизненных планов» Кафки состоял в том, чтобы стать переплетчиком в Палестине.

208

В газете «Prager Abendblatt» 14 июня 1922 года была опубликована рецензия Макса Брода на спектакль.

209

Ратенау, Вальтер (1867–1922) — германский промышленник, государственный и политический деятель.

210

Двоюродная сестра Вельча; жила в то время в Берлине.

211

Буссе, Карл (1872–1918) — немецкий поэт, историк литературы.

212

«Velhagen und Klasings Monatshefte» — ежемесячник издательской и книготорговой фирмы «Вельхаген унд Клазинг».

213

Первая глава и набросок к «роману двумя перьями», задуманному Кафкой и Бродом во время совместной отпускной поездки 1911 года в Швейцарию, Италию и Францию. Согласно замыслу, герои, которым авторы приписали некоторые свои черты, должны были во время аналогичного путешествия серьезно поссориться и ощутить свою разность, но под влиянием совместно пережитой опасности вновь сблизиться и «объединить усилия для нового оригинального предприятия в сфере искусства». Основу текста должны были составить действительные путевые заметки Брода и Кафки. Друзья увлеклись идеей, однако Кафка быстро остыл, и несмотря на усилия Брода дальше первой главы дело не продвинулось; частично она была опубликована в 1912 году в журнале «Гердер-Блеттер», целиком — в приложении к 4 тому собрания сочинений Кафки, а набросок к роману — в приложении к 5 тому.

214

С философом и литератором Феликсом Вельчем (1884–1964) Кафку познакомил Макс Брод еще во время учебы в университете осенью 1904 года. С тех пор и началась эта дружба, которой каждый из них оставался верен всю свою жизнь. Они часто встречались вдвоем, болтали, ездили за город, ходили в кино и в театры и даже принимали участие в спиритических сеансах; у обоих была юмористическая жилка, и их беседы нередко проходили очень весело — Кафка не раз отмечает это в дневниках и письмах. Кроме того, на протяжении ряда лет происходили еженедельные встречи «четверки» (Кафка, Брод, Вельч и Баум), на которых участники читали отрывки из своих новых сочинений; Кафка, вначале только слушавший, примерно с 1910 года тоже «выступает» на этих встречах. Кафка становится своим человеком в доме Вельчей (они читают ему личные письма, он им — «Приговор»), Способствовало взаимопониманию и сходство жизненных обстоятельств друзей: Вельч тоже рвался заниматься любимым делом (философией), а вынужден был работать библиотекарем. Публикуемые письма свидетельствуют о том, что дружбе не помешали ни женитьба Феликса, ни то, что Франц после 1917

года часто и надолго уезжал из Праги. Последняя их встреча состоялась за месяц до смерти Кафки, в конце апреля 1924 года, когда Вельч приехал в санаторий Кирлинг навестить умиравшего друга. Через тридцать лет Вельч напишет небольшую книжку «Религия и юмор в жизни и творчестве Франца Кафки», фрагменты которой публикуются в настоящем томе.

215

Перевод результатов графологического исследования выполнен по тексту: Monnot J. Analyse graphologique, in: Carrouges M. Kafka contre Kafka. Paris, 1962. P. 169–172.

216 Перевод эссе выполнен по тексту: Sarraute N. De Dostoievski a Kafka, in: Sarraute N. L'Ere de soupcon. Paris, 1956. P. 7–52.